

Блонский П. П. Память и мышление. — 1935

Блонский П. П. Память и мышление / Наркомпрос, Гос. науч.-исслед. ин-т психологии. - М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. - 213, [1] с. - (Психологические исследования / под ред В. Н. Колбановского ; т.3). - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 209-212.

Обложка

П. БЛОНСКИЙ

ПАМЯТЬ
И
МЫШЛЕНИЕ

ОГИЗ • СОЦЭКГИЗ • 1935

НАРКОМПРОС
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
под редакцией В. Н. КОЛБАНОВСКОГО
ТОМ III

П. П. БЛОНСКИЙ

ПАМЯТЬ И МЫШЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1935 — ЛЕНИНГРАД

Книга П. П. Блонского «Память и мышление» представляет собой оригинальное теоретическое исследование проблемы памяти, опирающееся на результаты экспериментальных работ, произведенных психологами и самим автором.
Автор излагает историю проблемы памяти в ее связи с мышлением, подвергает критике идеалистические и механистические теории памяти и пытается рассмотреть память под углом зрения диалектико-материалистической концепции развития намечая различные качественные ступени памяти в истории органического мира и человечества.
Сложная проблема «память и мышление» в значительной мере получает решение в данном труде, который стимулирует психологическую мысль в плодотворном для науки направлении.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема «память и мышление», вероятно, вставала у всякого, внимательно изучавшего психологию, когда в обычных систематических курсах психологии он наталкивался на разрыв, существующий между главами о памяти и главами, посвященными мышлению. И тем не менее до сих пор в специальной психологической литературе эта проблема как таковая не подвергалась систематическому исследованию. Предлагаемая работа пытается поставить эту проблему, наметить ряд относящихся сюда психологических вопросов и дать посильное решение некоторым из них. Она не претендует на исчерпывающее решение проблемы и является лишь первым подходом к ней.

В своем исследовании я сосредоточивался преимущественно только на тех видах памяти и мышления, в которых особенно ярко выступает связь между памятью и мышлением. Вот почему, с одной стороны, я сравнительно мало останавливался на моторной памяти (памяти-привычке), а с другой стороны, имел в виду главным образом мышление, достигшее уже известной степени развития, а не самые первые и не самые последние стадии его. Полная история памяти и мышления — это уже другая тема, притом настолько грандиозная, что явно превосходит мои силы.

Свое исследование я стремился строить на эксперименте и историко-лингвистических данных. Но общеизвестно, как слабо обстоит дело еще и сейчас в психологии с экспериментальным изучением мышления. Поэтому приходилось обращаться к самонаблюдению в большей мере, чем это было бы желательно. Но таково состояние проблемы на сегодняшний день.

Основная мысль, красной нитью проходящая через всю книгу, та, что проблема «память и мышление» разрешается лишь на почве диалектического рассмотрения ее. Не случайно диалектик Гегель, несмотря на его идеализм, понял значение этой проблемы так, как не удалось это понять эмпирикам-психологам. Но его идеализм был виной тому, что решение им проблемы оказалось неудовлетворительным и прошло бесплодным для психологии. Проблема может быть разрешена только на почве диалектического материализма, и необходимо использовать имеющиеся по этому вопросу указания Маркса, Энгельса и Ленина. Автору в своем исследовании постоянно приходилось обращаться к философским работам основоположников марксизма и находить в них ключ к решению вопроса. В противоположность ошибочным и бесплодным идеалистическим конструированиям психологических

процессов ленинская теория отражения является основой того, как надо исследовать данную проблему. Только при полном проведении ее проблема может быть разрешена.

Диалектико-материалистическое исследование проблемы неизбежно приводит к тому, что память и мышление оказываются не бесплодными, произвольно идеалистически конструируемыми явлениями, как это имеет место у Гегеля, но имеют реальную историю, обусловленную общественными закономерностями и прежде всего производственными отношениями. Пора психологии стать на почву материалистического понимания истории.

Поскольку автор сознательно строго ограничивал себя темой «память и мышление», проблема генезиса памяти и мышления во всем об'еме стояла вне его исследования. Роль труда в истории человеческого мышления и речи гениально выяснена Энгельсом. Исследование моторной памяти (память-привычка) легко обнаружило бы, какую огромную роль играл труд уже на самых первых этапах истории человеческой памяти. В пределах данной темы автор стремился, по мере своих сил, вскрыть, как изменится человеческая память под влиянием определенных производственных отношений и как именно они приближают память к мышлению.

Нет сомнения, что в работе, исследующей столь слабо разработанный в специальной психологической литературе вопрос, имеются недостатки, помочь устранить которые — дело критики. Но мне кажется, что при оценке работы надо сравнивать ее не только с желательным нам совершенством, но и с тем, что имеет психология на сегодняшний день.

I. ОЧЕРК ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТИ

1. Проблема памяти в античной психологии. Проблема памяти — ровесница психологии как науки. Уже Аристотель посвящает ей специальный трактат «О памяти и воспоминании». По его определению, память есть «обладание образом, как подобием того, чего он образ». Это определение тесно сближает память с воображением: «Память, даже на мысли, не бывает без образа» (по Аристотелю, «и думать невозможно без образа»). Внешние тела, действуя на органы чувств, вызывают психические изменения, которые могут не исчезнуть, даже когда уже нет налицо вызвавших эти изменения тел. Остается «как бы отпечаток», «как бы картина». Но нарисованное животное может быть рассматриваемо и как животное, и как изображение, подобие, копия. Так и образы в нас могут быть рассматриваемы и безотносительно, сами по себе (тогда они — предмет непосредственного созерцания или воображения), и по отношению к другому как подобие его, и тогда они — об’екты памяти. Вот почему память не простое обладание образом, но такое, когда этот образ сознается как подобие, копия того, что воспринималось раньше1.
«Память относится к бывшему». Но «поэтому всякая память связана с временем». Из этого следует, что только те животные обладают памятью, которые воспринимают время, причем орган памяти — тот же, что и орган восприятия времени. Это — общий «(первый» орган ощущения (proton aistheticon, sensus communis), мы бы сказали, выражаясь более современными терминами, центральный орган ощущения, локализируемый Аристотелем в сердце2.
Помнить — значить обладать образом и сознавать, что этот образ — копия аффицировавшего раньше предмета. Этот образ не всегда имеется налицо. Иногда его приходится искать. По Аристотелю, воспоминание есть такое искание образов. Возможность воспоминания основывается на том, что одно определенное движение происходит после другого определенного движения: «Когда мы вспоминаем, мы возбуждаем у себя какое-нибудь из прежних движений до тех пор, пока не возбудим то, после которого оно обычно бывает. Поэтому мы охотимся в определенной последовательности, начиная думать с того, что есть налицо сейчас или с чего-нибудь другого, притом сходного, или противоположного, или смежного. Вследствие этого происходит воспоминание ведь движения в одном случае те же самые, в другом — совпадающие, в третьем — частично имеющие общее». Легкость воспоми-

нания зависит от чистоты повторений: «Ведь привычка есть уже как бы природа»3.

В то время как память присуща многим животным, воспоминание присуще только человеку: вспоминать — значит как бы умозаключать («как бы какой-то силлогизм»), так как вспоминающий делает вывод, что он раньше видел, слышал или испытал нечто в таком же роде. Воспоминание есть как бы своеобразное искание, которое бывает только у тех, кто способен обдумывать, но обдумывание — умозаключение, силлогизм4.

Память предполагает существование образа, «как бы отпечатка». Поэтому памяти нет у того, кто находится в состоянии сильного изменения — возрастного (очень молодые и старики) или под влиянием аффекта. Также нет хорошей памяти ни у очень быстрых, ни у очень медлительных: «Ведь у одних больше, чем нужно, воды, а другие — тверже нормы». Плохая память также у карликов и у тех, у кого верхняя часть тела больше, так как у них большая тяжесть на центральном органе ощущений (и памяти) — сердце. Вообще же, по мнению Аристотеля, обладают способностью помнить скорее медлительные субъекты, а лучшей способностью вспоминать — быстрые и способные к учению. Однако не владеют своими воспоминаниями те, которые очень легко приводятся в движение образами (например «меланхолики», психически больные)5.

В учении Аристотеля о памяти есть немалая доза материализма, правда, половинчатого и далеко еще не развитого. Аристотель вплотную подходит к материализму, уча, что то, что производит ощущение, находится во-вне6. Отсюда его утверждение, что образы — «как бы отпечаток», «как бы картина»7. Эти материалистические положения дали Аристотелю возможность, выражаясь современным языком, подойти к проблеме памяти с точки зрения физиологии (центральный орган восприятия как орган памяти; индивидуальные особенности памяти, об’ясняемые индивидуальными соматическими, мы бы сказали сейчас, пожалуй, конституциональными особенностями). Характерно, что, наделяя памятью не только людей, но и многих животных, он отказывает в ней бесплотным, «бессмертным». Заслуживает большого внимания, хотя прямо не высказанная, но in nuce подразумеваемая Аристотелем, мысль, что память есть отношение, именно отношение к образам, как к копиям, «подобиям» прежних впечатлений.

Ряд только что отмеченных положений Аристотеля прочно вошел в последующую историю античной психологии, конечно подвергаясь при этом различным изменениям. Из них наибольшую популярность приобрел стоический вариант: «Когда человек рожден, то ведущая часть души имеет как бы лист бумаги, очень подходящий для записи. На него человек записывает каждую отдельную мысль (ennoia). Первичный способ записи — через ощущения, так как, ощущая что-либо, например белое, по удалении его, имеют память. А когда оказывется много однородных памятей, тогда, говорим, имеют опыт: ведь опыт есть множество однородных образ-

ных представлений (phantasia). Из мыслей одни возникают естественным путем вышеуказанными безыскусственными способами, а другие — уже через наше обучение и образование». Это приобревшее колоссальную популярность место является как бы развитием положения Аристотеля: «Итак, из ощущения, как сказано, возникает память, а из памяти, когда она многократно бывает об одном и том же, опыт, так как многочисленные памяти суть единый опыт»8.

Наряду с аристотелевской — более или менее материалистической — концепцией памяти античная психология знает и иную — идеалистическую — концепцию, связанную с платонизмом. Наиболее систематически представил эту концепцию неоплатоник Плотин в трактате «Об ощущении и памяти». Плотин указывает, что отрицание тезиса, что ощущение существует в душе в качестве оттисков, или отпечатков, последовательно влечет за собой отрицание тезиса, что память есть обладание выученным и полученными ощущениями при условии, что отпечаток пребывает в душе. Поэтому Плотин начинает с критики теории отпечатков: если бы эта теория была верна, тогда мы не могли бы воспринимать ни расстояние, ни величину, так как отпечаток не находится на расстоянии во-вне и по размерам не равен самому предмету; наконец, тогда мы воспринимали бы лишь тени и образы вещей, т. е. получилось бы, что вещи совсем не то, что мы воспринимаем. Так как нет подобных отпечатков, нет и памяти как обладания ими: «Если ощущения не оттиски, то как может память быть удерживанием того, что совершенно не вложено?».

Сущность теории самого Плотина хорошо выражена следующим положением его: «И ощущение, и память — некая сила». Что память сила — это подтверждается фактами: чем с большей силой внимания мы воспринимаем, тем лучше помним; вспоминая, мы делаем усилие; упражнение увеличивает силу памяти, как и всякую другую силу; у слабых стариков слабеет и память.

Идеалист Плотин настолько считал материю лишенной силы, что отрицал за ней даже силу сопротивления: материя — лишь «приемник» видов (eidos), форм. Материя есть как бы воск, на котором отпечатываются приходящие извне «виды»; она — как бы зеркало, отражающее их. Тела являются соединениями этой материи и видов (эйдосов, форм), и силу Плотин приписывает этим «видам», душе, вообще идеальному миру. Душа воспринимает только «виды» тел, но не как отпечатки, а заставляя как бы светиться находящиеся в ней самой понятия. Вот почему Плотин считает ощущение не пассивной аффекцией (pathos), а суждением: ощущения — это те же мысли, только затемненные. Не входя в детали ярко идеалистической теории познания Плотина, следует однако отметить тесную связь ее с учением Платона о знании как воспоминаниях души из доземного ее существования в идеальном мире: внешние предметы, поскольку они — отражение его, лишь будят эти воспоминания в душе, являясь, по выражению Плотина, лишь «вестниками». Античный идеализм делает познание, в сущ-

ности говоря, внутренним процессом, ростом энергии самой души. Плотин не устает повторять, что душа есть деятельность и активность, ее представления не «впечатление», но активные понятия и деятельности, благодаря которым мы познаем вещи. Аффинируются только органы («вид» воспринимаемого тела отражается в органах), а душа свободна от аффекции. И мышление, и представление, и восприятия, и память — деятельности, активности единой силы — души.

«То, во что оканчивается ощущение, уже больше не существуя, есть образ». С другой стороны, когда «раскрывается» мысль, она, в виде представления (doxa), низводится из интеллектуальной области в область воображения, так как представление — тот же образ. Образы, представления — предметы памяти. Воображение, владея образом уже исчезнувшего ощущения, «помнит». Памятью же является и восприятие низведенных в качестве конкретных представлений в область воображения мыслей. Память отличается от ощущения и ума: могут быть люди с хорошими ощущениями или умные, но с плохой памятью, и наоборот. Чтобы было ощущение, необходим телесный орган, но память, оперирующая с образами, уже не нуждается в нем. Тело лишь мешает или содействует памяти, но необходимо для нее: «Помнить — дело души»9.

У Аристотеля материалистическое учение об отражении об’ективного мира выявлено уже в значительной степени. Еще сильнее выступает эта тенденция у стоиков и эпикурейцев. Но они проигнорировали активистические моменты у Аристотеля и преувеличили пассивистические: так например стоики отбросили его учение о воспоминании как искании и об ощущении как суждении, придав в то же время его метафоре «как бы отпечатки» буквальное толкование, отбросив «как бы». Вместо того чтобы преодолеть половинчатость Аристотеля и органически соединить его материалистическое учение памяти с его активистическим учением о воспоминании, они развили его материализм дальше в духе «метафизического» материализма, «основная беда которого есть неумение применить диалектику к Bildertheorie, к процессу и развитию познания» (Ленин), и снятие слепка они представили как «простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт»10. Этим была облегчена возможность идеалистической критики, настаивающей на активности памяти. Но идеалистические теории памяти односторонне раздули эту сторону памяти и, ошибочно представляя материю совершенно бездеятельной, бессильной, оторвали память от материи, об’явив ее «делом души», черпающей в конце концов посредством воспоминания знание из самой себя. Так идеализм привел в болото мистицизма орфико-пифагорейской религии11.

2. Проблема памяти в новой философии. У Платона и неоплатоников проблема памяти и воспоминания не только психологическая, но, в первую очередь, философская проблема, так как она теснейшим образом связана с общей проблемой знания и истины: истинное знание есть воспоминание об идеальном мире. Точно так

же и у Аристотеля, стоиков и эпикурийцев проблема памяти тесно связана с общей философской проблемой опыта. Философской остается эта проблема и в новое время. Философы XVII—XVIII вв. ТО и дело занимаются этой проблемой, особенно те из них, которые придают опыту большое значение. Гоббс, Локк и французские материалисты XVIII в. — вот те писатели этого времени, у которых мы найдем наиболее интересные страницы о памяти.
Во Гоббсу, внешнее тело, действуя на наши органы чувств, вызывает в них движение, которое по нервам передается к мозгу и, встречая там сопротивление, идет по нервам обратно наружу. Это обратное движение («усилие») есть ощущение. Оно не исчезает вместе с предметом, но сохраняется, лишь становясь слабее. Такое слабеющее ощущение есть представление. «Через наши чувства, число которых соответственно нашим органам чувств равняется пяти, мы замечаем предметы, вне нас находящиеся, и это замечание является нашим представлением предметов. Но мы так или иначе замечаем также наши представления. Ибо, когда представление одной и той же вещи повторяется, мы сознаем, что оно повторяется. Это значит, что мы сознаем, что мы раньше имели уже то же представление. Но ведь это равносильно представлению вещи в прошлом, а для ощущения это невозможно, ибо может быть ощущение только настоящих вещей. Поэтому это замечание наших представлений должно быть рассматриваемо как своего рода шестое чувство, только внутреннее (а не внешнее, как остальные чувства). Это шестое чувство называется памятью». «Опыт есть только память». «Мы из воспоминания делаем предвидение, или ожидание, или презумпцию будущего»12.
Наиболее оригинальным в учении Гоббса является его определение представления и памяти. Выражаясь современным языком, представление, по Гоббсу, есть ослабевающая двигательная реакция в нервно-сенсорном аппарате на внешний толчок, а память — сознание этой реакции, «своего рода шестое чувство», то, что Земон впоследствии назовет «мнемическим ощущением».
По Локку, память есть «сила оживлять в душе идеи, которые после своего запечатления исчезли или как бы улеглись в стороне, скрывшись из виду». «Память, так сказать, арсенал наших идей». «Но так как наши идеи суть актуальные восприятия души, которые перестают быть чем бы то ни было, когда перестают быть предметом восприятия, то это нахождение наших идей в складе памяти означает только то, что душа во многих случаях обладает способностью оживлять раз бывшие в ней восприятия, с присоединением к ним добавочного восприятия, что она их раньше имела. В этом смысле говорят, что идеи находятся в памяти, между тем как на деле они нигде не находятся...» Оригинально в этой концепции памяти только что приведенное утверждение, что идеи после того, как они перестали быть предметом восприятия, «на деле нигде не находятся». Но тогда как происходит оживление их и что под ним понимать? Надо признаться, что Локк на это не дает ответа. Но значение Локка в истории проблемы памяти

не так состоит в разработке проблемы памяти с специально психологической точки зрения, как в том, что он дал знаменитую критику учения о врожденных идеях. Эта критика в наисильнейшей степени подчеркнула значение опыта: «Восприятие — первый шаг к знанию, путь для всего его материала... Восприятие — первая деятельность всех наших умственных способностей, путь, которым все наши знания входят в нашу душу»14. Но тем самым сильно повышается и значение памяти как основы опыта.

Но тут-то идеализм и подстерегает эмпиризм, нащупывал его самое слабое место. Лейбниц писал: «Память снабжает души некоторым видом последовательности, который имитирует разум, но должен быть отличаем от него. Это — когда мы видим, что животные, имея восприятие чего-то, что их бьет и о чем они раньше имели подобное восприятие, ожидают себе, при помощи представления их памяти, того, что было с ним соединено в этом предшествующем восприятии, и возбуждаются чувствами, подобными тем, которые они тогда имели. Например: когда показывают палку собакам, они вспоминают о боли, которую та им причинила, и с криком убегают... Люди действуют, как животные, поскольку последовательность их перцепций определяется принципом памяти, уподобляясь врачам-эмпирикам, имеющим голую практику без теории, и мы только эмпирики в трех четвертях наших действий. Например ожидая, что завтра будет день, поступают, как эмпирик, потому что это до сих пор так бывает. Лишь астроном судит об этом разумом. Но познание необходимых и вечных истин — то, что отличает нас от простых животных, и делает нас имеющими разум и науки»15. Надо отличать простую «память фактов» от «познания причин». Конечно тот путь, который намечал идеализм, и в частности Лейбниц, не мог удовлетворить, так как он вел к богу как основе существующего. Но что от памяти, которой обладают и животные, и от основанного на ней опыта их до науки, которой так гордится человек как своим специфическим человеческим достижением, дистанция огромного размера — это несомненно. Было бы неправильно думать, что понимание этого — привилегия только идеалистов. Идеалисты лишь пользовались слабым местом тогдашнего материализма — отсутствием диалектического перехода от памяти к мышлению. Они пользовались этим для того, чтобы там, где «метафизический» материализм видел неверно лишь постепенное непрерывное изменение, лишь простое нарастание сложности, создать по опровержении этого такую непроходимую пропасть между памятью и разумом, чтобы разум и наука оторвались от материального мира и чувственного опыта и обратились бы к богу и поповщине.

Но и материалисты XVII—XVIII вв., по крайней мере наиболее талантливые из них, сознавали разницу между основанным на памяти опытом и научным знанием. Как материалисты они разрешали эту проблему без бога и поповщины. Так, Гоббс, проводя разницу между научным и опытным знанием, придает огромное значение для научного познания речи как «самому благородному

и одновременно самому полезному приобретению для человека». Хотя речь бывает и источником заблуждений, но в то же время она дает научное знание: «Первый принцип знания — это то, что мы имеем такие-то и такие-то восприятия; второй принцип, — что мы даем такие-то и такие-то названия или имена вещам, которые вызвали наши восприятия; третий принцип, — что мы соединяем эти имена таким образом, чтобы получить верные предложения; четвертый и последний, — что мы соединяем эти предложения таким образом, чтобы они привели к заключениям и чтобы верность заключения была очевидна»16.
Даже французский материализм XVIII в., пожалуй, прямолинейней всех связывающий мышление с восприятием и памятью, порою не удовлетворяется этой прямолинейностью. Тот самый Ламеттри, который писал, «что способность ощущать одна производит все интеллектуальные способности, что у человека, как и у животных, она делает все; что наконец при помощи нее все объясняется», все же считает недостаточным для приобретения ума одной только способности ощущать: «Основная масса представлений у людей коренится в их взаимном общении». Общение с людьми и в частности воспитание — необходимое условие приобретения ума.
Через всю философию XVII—XVIII вв. проходит знаменитый спор рационалистов и эмпириков. Этот спор наталкивал на проблему отношения между памятью и научным мышлением, или разумом. Но, не умея применять диалектику к процессу развития познания, философия обычно впадала в дуализм, который тщетно пытались преодолеть. Гоббс писал: «Есть два рода знания: одно — не что иное как ощущение или знание первичное (original) и воспоминание о нем; другое называется наукой или знанием истины предложений и производится от разума. Но оба вида знания суть опыт: первое является благодаря воздействию на нас внешних предметов; опыт второго рода получается вследствие употребления названий. А так как всякий опыт есть только память, то и всякое знание (в конце концов) является памятью». «Существует знание двух видов: знание фактов и знание следствия одного утверждения на основании другого. Первое — не что иное как ощущение и память и есть абсолютное знание. Последнее называется наукой, и оно условно»17. Аналогичный дуализм характерен и для рационалистов: стоит вспомнить только «память фактов» и «познание причин» Лейбница. Была лишь иная, противоположная расценка: эмпирическое знание, основанное на памяти, не считалось абсолютным знанием, таковым признавалось лишь познание разумом необходимых и вечных истин. Спор переносился скорее в плоскость сравнительной оценки памяти-опыта и разума-науки, нежели в плоскость преодоления этого дуализма.
Те попытки преодоления, которые делались, были немногочисленными и слабыми. С интересующей нас в данной книге точки зрения суть их можно формулировать примерно так: память при-

суща и животным, разум и наука — только человеку; значит для объяснения последних надо искать причину, которая, так сказать, была бы специфична как раз для человека. Идеалисты пользовались этим, чтобы наводнить свои трактаты поповщиной — ссылками на бога, божественное откровение и т. п. Материалисты, как это мы видим на примере Ламеттри, апеллировали к социальному общению, воспитанию и т. п. Но это выглядело скорее как обращение к внешним причинам, нежели как попытка понять внутреннюю связь между памятью и научным мышлением с точки зрения процесса развития познания. Гоббс апеллировал к речи, но это выходило у него скорее не возвышением, подъемом, но падением, ибо ощущение и память у него — абсолютное знание, а наука — знание условное. Бесспорно, эти апелляции тогдашнего материализма к социальному общению и речи заслуживают огромное внимание со стороны исследователя проблемы отношения между памятью и мышлением, но все же этот материализм, именно потому что он был еще метафизическим, механистическим материализмом, эту проблему разрешить не сумел. Ему нехватало диалектики.

Диалектический подход, правда, с ярко идеалистической точки зрения, дает Гегель. То, что старая психология рассматривала как силы или способности души, которая таким образом является лишь агрегатом их, Гегель рассматривает как ступени саморазвития духа, его возвышения. Если речь идет о духе как таковом, «духе в его понятии», то таких ступеней в основном три: чувство, представление и мышление. Чувство («приятное или неприятное расположение духа») «представляет собой простую, но определенную аффекцию единичного субъекта, в которой еще не положено различие субъекта и содержания». Это «смутное брожение духа в себе» — очень неразвитое, но в то же время очень богатое состояние, и в чувстве содержится, правда в смутном виде, больше, чем сколько выступает на последующих ступенях развития. «Впервые предметом обладают только в представлении». Первый этап здесь — созерцание. «Созерцание есть непосредственное представление, где определенные чувства превращены в оторванный от субъекта предмет, свободный от единичного субъекта и вместе с тем существующий для него». «В созерцании чувство становится объективным».

«Созерцание, перенесенное вовнутрь я, является не только образом, но становится представлением вообще. Воспринятое внутрь созерцание не соответствует вполне непосредственному созерцанию; оно освобождается от своей пространственной и временной зависимости и изымается из нее. Оно представляет собою снятое, т. е. и несущее, и сохраненное наличное бытие... Снятие особого времени созерцания делает его постоянным, снятие особого пространства делает его всеместным. Далее, конкретное созерцание сохраняется в своих многообразных определениях или в своем единстве, но вместе с тем оно освобождается от пут своей единичности».

Гегель различает три основных ступени представления — воспоминание, воображение и память. «Как вспомянутое или сделанное всеобщим созерцание, представление относится к непосредственному ощущению, подобно тому как постоянное и всеобщее относится к единичному». Воспоминание сводится к тому, что единичное созерцание, данное сейчас, подводится под созерцание, сделанное уже всеобщим, т. е. под представление. «Благодаря данному сейчас созерцанию или представлению в воспоминании возникает образ предшествовавшего ему, которое было таким же, как теперешнее. Это предшествовавшее является постоянным и всеобщим; под него я подвожу теперешнее единичное созерцание». Чем развитее человек, тем более живет не непосредственным созерцанием, а воспоминанием, даже и в актах созерцания, так что он редко встречает совершенно новое; скорее субстанциональное содержание большинства новых идей ему уже известно. Точно так же образованный человек удовлетворяется преимущественно своими образами и редко чувствует потребность в непосредственном созерцании. Наоборот, любопытный народ вечно бежит туда, где можно поглазеть на что-либо. В воспоминании представление прошлого созерцания и теперешнее созерцание входят друг в друга; передо мной только то, что я уже имел это созерцание, что оно уже мое. Воображение же как воспроизведение представления вообще вызывает образы и представления в отсутствии соответствующего им созерцания. В качестве деятельной силы оно может приводить сохраненные образы и представления в различные связи друг с другом, причем эти связи отличаются от тех, которыми представления обладали, будучи созерцаниями. Различные способы этих связей «в весьма переносном смысле» называются законами ассоциации идей (на самом деле это не законы, а субъективная связь интеллекта, и не идеи, а образы). Обычное сознание в бодрственном и здоровом состоянии непосредственно различает образы от созерцаний. Иначе — во сне, необычных состояниях, сумасшествии. Гегель различает три ступени воображения: воспроизводящее, ассоциирующее и творческое (фантазия). Воспроизводящее воображение дает представление вообще, в противоположность созерцанию. Ассоциирующее воображение выделяет общее содержание образов, и так возникают общие или абстрактные представления, состоящие из общих признаков. Но настоящие общие представления, не абстракции, а понятия или идеи, создаются только творческим воображением, фантазией. Так, высшая сила воображения, поэтическая фантазия, отбрасывает случайные и произвольные обстоятельства наличного бытия, выдвигает внутреннюю и существенную его сторону и придает ей образную форму. «Произвольное соединение внешнего наличного бытия с представлением, которое не соответствует ему и отличается от него по содержанию, соединение, в котором это представление должно означать наличное бытие, превращает представление в знак». Именно память, по Гегелю, притом продуктивная память свободно

соединяет созерцание и представление: уже не созерцание лежит в основе представления, но, наоборот, представление лежит в основе созерцания; ценность наличного бытия заключается уже (в той связи, которую производит продуктивная память) только в том, что дает ему дух, как утверждает Гегель.
Так как благодаря продуктивной памяти определением чувственного наличного бытия сделано представление, то оно уже может стать отнесением представлений к другому представляющему существу. Отсюда начинается теоретическое общение этих «представляющих существ», людей между собою, и «высшим созданием продуктивной памяти является язык». Память имеет дело с словами, сохраняя, воспроизводя и «механически» владея ими. Поэтому она — более высокая ступень развития, чем воображение: «Скорее память вовсе уже не имеет дела с образом, происходящим из непосредственной, не духовной определенности интеллекта, из созерцания, а воспроизводит бытие, составляющее продукт самого интеллекта», слова.
«В учении о духе и в систематизации интеллекта положение и значение памяти и понимание ее органической связи с мышлением составляют один из самых трудных пунктов, до сих пор мало обращавших на себя внимания», — замечает очень правильно Гегель. Действительно, как мы видели, до него занимались скорее противопоставлениями памяти и мышления, опыта и рациональной науки, чем установлением органической связи между ними. Память в качестве способности, присущей и животным, резко противостояла такому исключительно человеческому достижению, как наука.
Именно потому, что Гегель прежние силы и способности стал рассматривать в данном случае как ступени саморазвития одного и того же духа, он, в противоположность своим предшественникам, обратил очень большое внимание на понимание органической связи памяти с мышлением и сделал этот вопрос одним из основных вопросов психологии. Но для понимания этой связи оказалось необходимым произвести более тщательный, чем это делалось раньше, анализ того, что обычно понимается под памятью. Так, понимаемая память у Гегеля распалась на «воспоминание», «воображение» и «память», причем все это рассматривалось как последовательные ступени развития. В высшей степени характерно для Гегеля, что под «памятью» он понимает только то, что мы сейчас называем вербальной памятью, и притом понимает ее не только как воспроизводящую память, но именно в самую первую очередь как творческую, продуктивную память. «Высшим созданием продуктивной памяти является язык». В этом смысле на этой стадии язык не орудие, а продукт памяти.
Но нет мышления без слов: «Поэтому желание мыслить без слов, как это пытался однажды сделать Месмер, есть неразумное предприятие, едва не приведшее Месмера к безумию, по его собственным словам». По Гегелю, мышление может возникнуть лишь из наполненного своими продуктами интеллекта, т. е. из памяти,

продуктами которой являются слова, необходимые для наших мыслей. Уже в слове Gedächtniss (память) выражаются непосредственное родство и связь между памятью и мышлением (Denken). Если материалист Гоббс только намечал, что речь, слова составляют как бы звено от памяти к науке, но не видел в этом органической связи и движения, то диалектик Гегель, установивший огромную роль памяти для языка и понявший, что нет мышления без слов, смог понять и то, что между памятью и мышлением существует органическая связь, и то, что есть движение, переход от памяти к мышлению, так как относятся они друг к другу, как две смежные ступени развития одного и того же процесса — процесса познания18.

3. Проблема памяти в современной психологии. Пожалуй нигде влияние Гегеля не было таким слабым, как в психологии. И до сих пор психология игнорирует те интересные мысли, которые, будучи засыпаны идеалистической шелухой, хранятся в психологии Гегеля. И до сих пор психология конструируется обыкновенно как эмпирическая психология, находящаяся, сознательно или бессознательно, под влиянием эмпирической философии. Поскольку эмпирическая психология в борьбе против метафизической спиритуалистической психологии пускала в ход оружие, взятое у английских (отчасти и французских) материалистов, в нее проникал в известной мере материализм, но материализм механистический. Настроенным отчасти материалистически, но в духе механистического материализма, представителям эмпирической психологии гегелевская психология, сконструированная в духе диалектического идеализма, конечно импонировать никак не могла. Зато очень импонировал своим детерминизмом и возможностью материалистических интерпретаций ассоцианизм. Развившийся в среде английских эмпириков второй половины XVIII в. (Гартли, Пристли, Юм), ассоцианизм становится в XIX в. господствующим течением в психологии. Джемс Милль, Бэн и Джемс — наиболее видные представители его.

По Бэну, «основные действия ума суть: 1) сознание различия, 2) сознание сходства и 3) удержание в уме, или память. Всякое собственно умственное отправление содержит в себе одно или несколько из этих действий и ничего больше». Различение — проявление общего закона относительности. Процесс отождествления, основанный на сходстве, называется также законом ассоциации (или воспроизведения) по сходству и служит очень важным средством восстановления или воспроизведения в уме. Наконец умственная способность запечатления или удержания в уме, называемая памятью, имеет две степени: а) она означает, во-первых, устойчивость или сохранение психического возбуждения после исчезновения вызвавшей его причины; б) собственная, высшая стадия памяти состоит в воспроизведении, в форме идеи, прошлых, теперь уже исчезнувших впечатлений посредством одних лишь умственных факторов. В этом и состоит настоящая память — способность, известная нам только в связи с животной организа-

цией — мозгом и нервной системой. «Удерживающая способность духа (память) называется также ассоциацией по смежности». По Бэну, «явления удержания, за исключением немногих, сводятся к проявлению одного принципа, называемого законом смежности, или «ассоциацией по смежности»... Принцип смежности можно формулировать так: действия, ощущения и чувства, возникающие одновременно или в непосредственной преемственности, стремятся соединиться или связаться так, что, как только одно из них впоследствии появится в уме, и остальные бывают готовы восстановиться в виде идей»19. Приблизительно в том же духе определяет память и Джемс, оказавший исключительно сильное влияние на современную американскую психологию: «Память есть ассоциирование какого-либо наличного в настоящее время в уме образа с другими, которые известны нам, как относящиеся к прошлому»20. Изучение памяти сводится таким образом к изучению законов ассоциаций.

Уже почти с самого начала (Гартли, Пристли) ассоциативный процесс понимался рядом авторов материалистически как соответствующий нервный процесс. По мере развития взгляда на нервную систему как на систему связей почти сама собой напрашивалась параллель между ассоциациями и нервными связями. Знаменитый невролог Мейнерт эту чрезвычайно популярную концепцию так формулировал еще в 1869 г., говоря об «анатомии полушарий мозга как носителей жизни представлений»: «Если одна клетка возбуждается посредством репродукции, то это возбуждение распространяется по соединяющим волокнам на выведенную однажды вместе с ней из состояния равновесия клетку, представление которой также по этому волокну снова переносится к порогу сознания»21. Зависимость репродуцируемых представлений друг от друга он представляет осуществляемой посредством нервных волокон. Такое представление стало общераспространенным. Оно давало как бы наглядный ответ на вопрос, каким образом возобновляется запечатленное когда-то.

Во второй половине XIX в. эмпирическая психология становится экспериментальной психологией, и наряду с проблемой восприятия проблема памяти становится той проблемой, над которой усиленно работает экспериментальная психология. Эпоху создает здесь вышедшее в 1885 г. экспериментальное исследование Эббингхауза «О памяти». Эббингхауз исходит из ассоциационизма. В основу своего учения о памяти он кладет «всеобщий закон ассоциации», который формулирует так: «Если какие-либо любые психические образования однажды наполнили сознание одновременно или в близкой последовательности, то затем возвращение некоторых членов прежнего переживания вызывает и представления об остальных членах, причем нет нужды в том, чтобы были налицо первоначальные причины». «Общую способность души к этому называют памятью... Репродукция и память относятся между собой примерно так, как работа и энергия». О этой точки зрения ставится экспериментальное изучение памяти. Оно ставится как

изучение ассоциаций. Так например ставятся такие проблемы: «1) возникновение ассоциаций через одновременное нахождение их членов в душе и повторение их (испытывание и выучивание — Erfahren und Lernen), 2) судьба ассоциаций... их пребывание и исчезновение (удержание и забывание), 3) процесс репродукции»22. В соответствии с этим общим принципиальным взглядом на память были выработаны и многочисленные технические приемы экспериментального изучения проблемы памяти. Многочисленнейшие исследования памяти, наполняющие психологические журналы различных стран, и до сегодняшнего дня обыкновенно ведутся в этом же духе даже теми, которые в других своих работах заявляют себя критикующими ассоциационизм.

Ассоциативная экспериментальная психология с самого начала с особенной энергией занялась изучением проблемы выучивания и забывания. Проблема репродукции выступила на передний план несколько позже, причем, если можно так выразиться, совершенно затмила проблему воспоминания. Уже Эббингхауз настаивал на изучении именно репродукции, каковой термин «обозначает в самом общем виде процесс возвращения представлений раньше бывших налицо переживаний», и противопоставлял репродукцию воспоминанию, «когда ранее бывшие налицо и сейчас возвращающиеся в качестве представлений содержания сопровождаются в то же время также сознанием их раньше бывшего переживания и может быть еще представлениями определенных побочных обстоятельств»23. Столь обобщенная и пожалуй упрощенная проблема подверглась энергичному изучению главным образом посредством так называемого «ассоциативного эксперимента».

Интересна судьба трех вышеназванных проблем Эббигхауза. В то время как работы над проблемами выучивания, удержания и забывания, несмотря на то, что чуть ли не с самого начала многие исследователи их работали с явно выраженной практической установкой на педагогику (например Мейман), в общем оказались мало практичными, ассоциативный эксперимент со времен Юнга нашел широкое практическое применение в психопатологии (психоанализ) и действительно дал немало материала по памяти психопатов.

Экстраординарное обыкновенно привлекает к себе внимание. Нет поэтому ничего удивительного в том, что патологические явления памяти не раз заинтересовывали исследователей, но собранный соответствующий материал представляет собой скорее груду фактов простых эмпирических наблюдений, еще необъясненных мало-мальски удовлетворительной теорией. Как и во время обобщающего труда Рибо «Болезни памяти» (1881 г.), мы и сейчас далеки от понимания патологических явлений памяти. Тем понятней увлечение ассоциативным экспериментом, когда оказалось, что он пробил некоторую брешь в столь загадочной проблеме памяти, в частности репродукции, у психопатов. Однако эта брешь с тех пор все же не расширяется, и надежды на ассоциативный эксперимент поблекли.

Ассоцианистское понимание памяти как связи — чрезвычайно широкое понимание, толкающее на очень большие обобщения, и уже у Бэна (и его предшественников) мы видим, как говорится, без особого различения, вместе об ассоциациях представлений, чувств и движений. Память как ассоциация представлений и привычка как ассоциация движений относятся таким образом к одной и той же проблеме — проблеме ассоциаций. А постановка экспериментального изучения памяти как выучивания, сохранения и забывания толкала на то, чтобы распространить это изучение со слов на движения, тем более что обычно в экспериментальной практике «слова» были всего-навсего лишь бессмысленными слогами (для того чтобы, с целью уравнять положение испытуемых, элиминировать смысл слов), т. е. по существу изучаемая память была памятью на речевые движения, а не на мысли и представления.

Это отождествление памяти и привычки менее всего затрудняло представителей американской «психологии поведения». Два обстоятельства особенно сильно облегчали им это. «Мышление, собственно говоря, есть речевой процесс», и речь и мышление трактуются как «открытые и скрытые речевые навыки»; по мнению крупнейшего представителя психологии поведения Уотсона, «мышление, в узком значении этого слова, если включить в него обучение, есть процесс, протекающий по методу проб и ошибок, — вполне аналогично ручной деятельности». С другой стороны, бихевиоризм скептически относится к существованию образных представлений так, как они обычно понимаются в психологии. Все это облегчает возможность крайне широкого понимания памяти:

«В нашем понимании память — это общий термин для выражения того факта, что после некоторого периода неупражнения в известных навыках функция не исчезает, а сохраняется как часть организации индивида, хотя она может вследствие неупражнения претерпевать большие или меньшие нарушения» (Уотсон)24.

Вполне последовательно было поэтому развить экспериментальное изучение выучивания, сохранения и забывания движений, а так как результаты одинаково поставленных проблем не могли в основном не совпадать, то это еще более укрепляло во мнении, что память и привычки, в сущности, одно и то же, и например Пьерон в коллективном «Трактате психологии», представляющем собою как бы сводку воззрений современных виднейших французских психологов, трактует в одной и той же главе «привычку и память». В американской психологии соответствующие проблемы объединяются в одну общую проблему «выучивания» (Lear--ning), и например в коллективном труде современных виднейших американских психологов «Основы экспериментальной психологии» фигурирует очень большой отдел «Learning» там, где раньше в изданиях подобного рода занимал бы место отдел «Память». Симптоматичен с этой точки зрения и тот факт, что в обзорном американском журнале «Психологический бюллетень» еще в 1930 г. фигурирует обзор «Память», а уже в 1934 г. в том же журнале

тот же автор озаглавливает очередное продолжение этого отдела как «Выучивание и удерживание вербальных материалов». Такое широкое понимание памяти дало возможность сблизить ее с условными рефлексами, и еще Леб ставил знак равенства между «ассоциативной памятью» и условными рефлексами в учении Павлова. Возможность сведения памяти к условным рефлексам казалась и легкой (посредством элементарного рассуждения: память то же, что привычка, но привычка то же, что условные рефлексы), и соблазнительной, так как рассчитывали таким образом получить простое физиологическое объяснение памяти.

Но даже такое расширенное понимание памяти не могло остановить исследователей в их все возрастающих обобщениях. Еще в 1870 г. Геринг выступил с статьей «О памяти как всеобщей функции организованной материи». Впоследствии этот взгляд развил Земон в ряде работ, особенно в книге «Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens». Сущность мнемических явлений он видит в том, что «они, рассматриваемые как репродукция прежних явлений, наступают без полного возвращения условий, которые были необходимы для вызывания этих прежних явлений, их предшественников». Земон устанавливает два главных мнемических закона. Первый — закон энграфии: «Все одновременные возбуждения внутри организма образуют связный совместный комплекс возбуждения, который в качестве такового действует энграфически, т. е. оставляет связный и постольку образующий единое целое комплекс энграмм». Второй — закон экфории: «Экфорически действует на совместный комплекс энграмм частичный возврат той энергетической ситуации, которая раньше действовала энграфически». «Ассоциация, кратко выражаясь, есть результат энграфии, проявляющийся в случае экфории»25. С точки зрения столь широкого понимания наряду с индивидуально приобретаемой мнемой, «которую мы также могли бы назвать областью высшей памяти», в «мнеме» заключаются мнемические протекания развития зародыша, регенерации, регуляции, периодических процессов, инстинкта. Все эти явления — также мнемические.

Казалось, уже почти достигнуты самые широкие обобщения, и оставалось лишь сделать самый последний шаг — найти мнемические явления и в мире неорганическом (например гистерезис) Но... в 1928 г. выходит книга крупнейшего французского психолога и психопатолога П. Жане «Эволюция памяти и понятия времени». В этой книге в самом резком противоречии со всем вышеописанным течением психологии Жане заявляет: «Память предстала пред нами как особое действие, специальное действие (action), изобретенное людьми в их прогрессе, и в частности действие, совершенно отличное от простого, автоматического повторения, составляющего сущность привычек и тенденций». Основываясь главным образом на психопатологических фактах, он проводит резкую разницу между «реминисценцией», состоящей в restitutio ad integrum, и «воспоминанием», и только последнее счи-

тает памятью. Животные «имеют привычку, которая вполне достаточна и которая не есть память». «Память есть социальная реакция при условии отсутствия. Действительно, память — человеческое изобретение». «Память — человеческая, она существует только у людей, и даже не у всех... У ребенка имеется память, только начиная с трех или четырех лет... Так же, как есть эпоха в начале жизни, когда нет памяти, будут, и это печально, эпохи в конце жизни, когда у нас больше не будет памяти... Есть тьма болезней, во время которых теряют память»26.
И вот в конце нашего обзора истории проблемы памяти мы стоим перед прямо противоположными утверждениями: с одной стороны, память — «всеобщая функция организованной материи», с другой стороны, «память — человеческая, она существует только у людей, и даже не у всех». Что означает это противоречие? Как преодолеть его?
На почве эмпирической психологии это неразрешимо. Представители ее либо сводили все виды памяти, игнорируя своеобразие их, к чему-либо одному (так поступали ассоцианисты), либо, игнорируя связь их, ограничивались лишь противопоставлением. Иначе и быть не могло в недиалектической психологии. Но и диалектический идеализм Гегеля не случайно не удовлетворил психологию: поставив нужный вопрос о связи и взаимных переходах между памятью и мышлением, он не решил его, подменив изучение реального процесса, протекающего в реальных исторических условиях, идеалистическими конструкциями саморазвития духа. Решение вопроса дает только диалектический материализм, и только ленинская теория отражения ставит эту проблему с головы на ноги.

II. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПАМЯТИ

1. Основные виды памяти. Разногласия между исследователями памяти можно конечно объяснить субъективными причинами: теории различных исследователей с различной степенью совершенства, соответственно квалификации исследователей, отражают одно и то же явление — память. Но разногласия настолько велики и в то же время настолько велика квалификация многих из этих исследователей, что пожалуй закрадывается подозрение, в субъективных ли несовершенствах исследователей только причина их разногласий.

Наш обзор истории проблемы памяти показывает, что с самого начала научной разработки этой проблемы память рассматривается в теснейшей связи с воображением, а объектом памяти считаются образы. Так рассматривала память античная психология. Такого же взгляда на нее, полностью или частично, придерживается ряд представителей новой психологии. Условимся называть память, имеющую дело с образами, образной памятью. Тогда мы можем сказать, что многие исследователи изучали, исключительно или преимущественно, образную память, и именно с изучения этой памяти началась история проблемы памяти. Но совершенно ясно, что те, которые изучают выучивание движениям, изучают совершенно другой вид памяти. Если первые исследователи сближали память с воображением, то эти сближают память с привычкой. Условимся эту память называть, как это нередко делают, моторной памятью (la mémoire motrice).

Техника экспериментального изучения так называемой механической памяти обычно состоит в предъявлении тем или иным способом бессмысленного вербального материала, который испытуемым известное количество раз вербально повторяется. Правда, не всегда, не во всех случаях давался вербальный материал, и не всегда испытуемый вербально повторял. Но огромное большинство исследований производилось именно так, и именно на них были получены все основные положения экспериментальной психологии памяти. Ясно, что такие исследования были, собственно говоря, исследованиями выучивания определенных речевых движений, поскольку влияние смысла тщательнейшим образом элиминировалось. Понятно поэтому, что эти исследования принципиально мало чем отличались от исследований например выучивания ручным движениям. Речь идет все о той же моторной памяти, памяти-привычке.

Но именно эту память устраняет из своего исследования Жане, и не ее он считает памятью в подлинном смысле этого слова. Наоборот, то, что Жане понимает под памятью, во многих отношениях прямая противоположность привычке. Если пользоваться общепринятыми терминами, то память у Жане больше, чем на что-либо иное, похожа на то, что обыкновенно называют логической памятью, являясь как бы своеобразной разновидностью ее.

Таким образом когда различные исследователи изучали память, то одни изучали главным образом или даже исключительно образную память, память-воображение, другие — моторную память, память-привычку, а третьи пожалуй логическую память, память-рассказ или память-мышление, как иногда интерпретировали эту память. Неудивительно, что, изучая совершенно различные виды памяти, исследователи приходили к различным результатам, думая однако при этом, что все они изучают одно и то же.

Еще большая неразбериха получалась, когда один и тот же исследователь или компилятор (чаще всего так поступали именно авторы учебников или сводных работ о памяти) в одной и той же работе, при этом не отдавая себе в том отчета, смешивал воедино подобные различные, порою даже противоположные результаты.

Моторная память, или память-привычка, образная память, или память-воображение, логическая память, или память-рассказ (на уточнении терминологии мы пока не останавливаемся), — вот три основных вида памяти, как они устанавливались из анализа истории проблемы памяти. Так например Аристотель изучал главным образом образную память, Уотсон — память-привычку, а Жане — память-рассказ. Наряду с этими тремя основными видами памяти некоторыми исследователями называется еще один вид памяти — аффективная память, память чувств. Особенно Рибо настаивал на существовании этой памяти, хотя не было недостатка и в тех исследователях, которые отрицали ее. Откладывая разбор дискуссии по этому вопросу до одной из следующих глав, допустим пока в виде предположения существование и этого — четвертого — основного вида памяти.

Итак разногласия между исследователями памяти объясняются в значительной степени тем, что они исследовали различные виды памяти. Таким образом противоречия исследователей в этом отношении являются отражением реальных противоречий в самой изучаемой ими действительности — памяти, отражением тех противоречий, которые реально существуют между различными видами памяти.

Но что представляют собой эти виды памяти? Диалектик Гегель, как раз разбирая проблему представления, указывал на то, что способности представления или силы души, о которых учит обычная психология, на самом деле являются рядом ступеней развития представления. Нельзя ли попробовать применить эту точку зрения и к видам памяти? Не являются ли различные виды памяти лишь различными ступенями развития памяти?

2. Основные виды памяти как генетически различные «уровни» памяти (предварительная гипотеза). Даже самый беглый обзор онтогенетического развития человека показывает, что вышеупомянутые четыре основных вида памяти появляются в онтогенезе далеко не одновременно. Бесспорно, позже всех других видов памяти развивается память в понимании Жане, которую, не гонясь пока за точностью терминов, условимся называть памятью-рассказом, или логической памятью. По утверждению Жане, эта память имеется у ребенка, начиная только с трех или четырех лет. Когда заканчивается развитие этой памяти, мы не знаем, но педагогический опыт показывает, что развитие этой памяти продолжается еще в юношеском возрасте.

По данным Штерна, первые зачатки свободных воспоминаний наблюдаются только на втором году жизни, и пожалуй было бы осторожнее всего именно с этим связывать начало выступания образной памяти. Даже если проявить уступчивость и допустить участие «образов» в «припоминании» в виде так называемой связанной памяти, когда ребенок припоминает что-либо, ассоциированное с данным наличным стимулом, то, по Штерну, такое припоминание фигирирует только с 6 месяцев. С другой стороны, если считать для человека наиболее характерной образной памятью зрительную память, то, судя по тому, что эйдетические образы после полового созревания сильно ослабевают, правдоподобно предположить, что во всяком случае уже в юношеском возрасте образная память не прогрессирует.

Аффективная память наименее изучена, и еще даже не улеглась дискуссия о том, существует ли она. Поэтому здесь наши предположения могут быть особенно гадательны. Однако кое-какие предположения, правда, довольно неопределенные в смысле сроков, можно попытаться сделать. Если ребенок плачет или испугался после чего-либо, то здесь его плач и испуг — непосредственный результат действия данного стимула. Но если он плачет или испугался перед чем-нибудь, только от одного вида его, причем нет оснований предполагать здесь унаследованной инстинктивной реакции, то пожалуй наиболее правдоподобно предположить, что вид данного стимула оживил его прежнее чувство, т. е. что здесь имеет место аффективная память. Такие аффективные реакции до непосредственного действия данного стимула почти не изучены, в частности относительно сроков появления их. Но во всяком случае они уже несомненно имеются у шестимесячного ребенка, даже, кажется, раньше.

«Самый первый сочетательный рефлекс вырабатывается уже на первом месяце жизни ребенка. Он состоит в следующем: если ребенка взять на руки в положении кормления, то он прявляет комплекс пищевых реакций без всякого при этом специального воздействия на пищевую зону... Если взять ребенка в вертикальном положении и поднести его к раскрытой груди матери с выдавленной каплей молока на ней, пищевой реакции нет. Если же ребенка берет в положении кормления сотрудник (мужчина),

ребенок начинает делать сосательные движения. Очевидно, что самым ранним и первым сочетательным рефлексом является возникновение пищевых реакций в положении кормления. В течение первого месяца этот рефлекс вырабатывается у всех нормальных кормящихся грудью детей, так как при грудном кормлении имеются все необходимые для его выработки внешние условия»27.
Если считать, вместе с Лебом, условные рефлексы «ассоциативной памятью», притом конечно моторной, то можно с достаточной правдоподобностью предположить, что моторная память начинает развиваться раньше всякого иного вида памяти. С другой стороны, педагогический опыт показывает, что младший школьный возраст — возраст, наиболее благоприятный для обучения ручному труду, танцам, катанию на коньках и т. п. На основании этого можно предположить, что, начиная с полового созревания, моторная память во всяком случае не прогрессирует.
Учение о врожденных идеях, все равно, будет ли это понятие или представление, отвергнуто. Но существование врожденных движений, притом связей движений (инстинктивные движения), несомненно. Если стать на точку зрения тех, кто, подобно Земону, расширяет понятие памяти за пределы приобретаемого в жизни индивидуума опыта, то можно говорить о наследственности инстинктивных движений, как о той моторной памяти, которой индивидуум обладает уже при рождении.
Так или иначе, в онтогенетическом развитии раньше всего выступает моторная память и может быть затем, но вскоре, аффективная память, несколько позже — образная память и гораздо позже — логическая память.
Но пожалуй самое яркое подтверждение того, что эти виды памяти — различные «уровни» ее, можно видеть в той последовательности, с какой расцвет функционирования одной памяти сменяет такой же расцвет другой памяти. Простое наблюдение показывает, что именно раннее детство является возрастом максимально интенсивного приобретения привычек. Оно же обнаруживает гегемонию так называемого «образного мышления», проще и точнее говоря, воображения — воспроизводящего и продуктивного (фантазия) — в дошкольном возрасте. Наконец в школьном возрасте, и чем старше он, тем больше, на первый план выступает логическая память. Этот яркий факт дает основание предполагать, что виды памяти — на самом деле различные уровни, лучше говоря, различные ступени развития памяти.
Приблизительно ту же последовательность в развитии памяти дает рассмотрение филогенеза ее. Та память, о которой говорит Жане, конечно принадлежит только человеку. Пускаться в предположение о существовании образов у животных вообще довольно рискованно, тем более для автора как не зоопсихолога. Однако можно предположить, что образы имеются у животных, видящих сны. Торндайк слишком далеко заходит в своем скептицизме, утверждая, что здесь простое нервное внутреннее возбуждение: для этого поведение например собаки, лающей, ворчащей, махаю-

щей хвостом и т. п. во сне, слишком выразительно. Г. Эргард рассказывает: «Как известно, существуют собаки, которые во сне «охотятся». Моя собака при этом лает высокими тонами и двигает или стучит ногами. Это случается всегда тогда, когда ее перед этим водили гулять в лес... Если она несколько дней не была в лесу, то я могу ее побудить «охотиться» во сне тем, что я только вызову запах леса искусственным запахом сосновых игл»28. Таким образом у высших млекопитающих с некоторой вероятностью можно предположить существование образов, а стало быть и образной памяти. Но если даже отнестись к этому скептически, то по отношению даже к самым диким племенам человеческим, когда-либо виденным, никто не станет отрицать у них существование развитой образной памяти, пожалуй даже в большей степени, чем у культурного человека. Образная память несомненно в филогенезе появляется раньше логической и поражала своей силой у так называемых первобытных племен не раз путешественников. Возможно, хотя и сомнительно, что она имеется, пусть еще в слабой степени, и у высших млекопитающих.

С гораздо большей уверенностью можно утверждать, что моторная и аффективная память в филогенезе появляется очень рано. Как в этом убеждают опыты Иеркеса, повторенные в более уточненной форме Гекком, эти виды памяти имеются уже у дождевых червей. Опыты состояли в том, что червяку, доползшему до определенного места, нужно было обязательно свернуть или вправо, или влево, так как дальше нельзя было прямо ползти. При этом на одной стороне, если червяк поворачивал туда, он получал электрический удар. В первых опытах червяк одинаково часто сворачивал то вправо, то влево, но затем, примерно после 80—100 опытов, ясно обнаружилось, что в ту сторону, где получался электрический удар, он сворачивал гораздо реже, и в конце дрессировки, после 120—180 опытов, на 20 сворачиваний в сторону без электрического удара приходились максимум 1—3 сворачивания в обратную сторону. Эти опыты решительно опровергают ранее пользовавшееся авторитетом мнение, что у червей, в отличие от высших животных, отсутствует «ассоциативная память». Больше того: наиболее простым объяснением возможности подобной дрессировки червей посредством боли является предположение о существовании у них аффективной памяти. В данном случае проще и правдоподобнее всего предположить, что дождевые черви запоминали боль, причем запоминали, разумеется, не в виде представлений — мыслей или образов, а единственное, что остается предположить, — в виде чувства, т. е. аффективной памяти29.

Что касается моторной памяти, то, если доверяться авторитетным зоопсихологам, ее можно обнаружить даже у protozoa. Описывая соответствующие опыты над paramaecium, Гемпельманн говорит о «выучивании путем упражнения» у этого животного и заключает: «Физиологические изменения, необходимые для выполнения соответствующей совокупности движений, протекают вследствие частого повторения все быстрее. Должен конечно после каж-

дого протекания реакции оставаться, сохраняться, «энграфироваться» след, остаток, благодаря чему облегчается следующее протекание. Мы стало быть, имеем дело с мнемическим процессом в смысле Земона!»30.

Таким образом и в филогенезе мы имеем все тот же ряд: моторная память — аффективная память — образная память — логическая память в смысле Жане. Каждый из членов этого ряда следует в определенной последовательности за другим.

Так, на основании онтогенетических и филогенетических данных удалось установить, что основные виды памяти являются как бы членами одного и того же последовательного ряда: и в филогенезе и в онтогенезе они развиваются в определенной последовательности друг за другом.

Чем ближе к началу этого ряда, тем в меньшей степени имеет место сознание, и даже, наоборот, активность его мешает памяти. Инстинктивные и привычные движения обычно совершаются автоматически, без участия сознания, а когда мы на автоматически совершенные привычные движения направляем сознание, то этим производство таких движений скорее затрудняется. Даже очень опытный танцор может сбиться, думая, как ему двигать ногами. Дискуссия о том, существует ли аффективная память, как мы увидим, в сильной степени возникла потому, что произвольная репродукция чувств трудна, почти невозможна, тогда как непроизвольно они то и дело репродуцируются.

Как образная, так и логическая память лежат уже в сфере сознания. Но и здесь их положение по отношению к сознанию различно: вряд ли кто станет оспаривать, что в логической памяти сознание принимает гораздо большее участие.

Таким образом можно предположить, что различные виды памяти последовательно один за другим, развивающиеся, находятся на различных уровнях сознания, относятся к различным ступеням развития сознания. Это еще раз укрепляет нас в предположении, что виды памяти не что иное, как различные уровни памяти, или, точнее и правильнее, различные стадии развития памяти, различные ступени его.

Понятие «уровень», введенное в неврологию английскими невропатологами (Джексон, Хед) и отсюда перенесенное некоторыми исследователями (в том числе и мною) в психологию, нельзя признать вполне удовлетворяющим. Еще менее может удовлетворять как будто более распространенное среди генетических психологов, особенно немецких (Шторх, Вернер), понятие «слой». Эти понятия слишком статические, механистические. Они не внушают идеи движения, перехода. А между тем движение, переход несомненно имеют место.

Память-привычка — моторная память. Не случайно условные рефлексы, считаемые некоторыми одним из видов этой памяти, а другими интерпретируемые как вообще ассоциативная (моторная) память, собственно говоря, являются предметом физиологии, а не психологии: здесь есть движение, но не сознание. С другой

стороны, та память, о которой говорит Жане, очень походит на мышление. Так, установленный выше ряд памяти имеет своим началом движение без участия сознания, а концам — мышление.
История изучения памяти показывает, что это изучение началось со сближения памяти и воображения, да и сейчас в обычных курсах психологии обе эти функции оказываются часто смежными, близко родственными друг другу. И в этом есть большой смысл: именно образная память есть, так сказать, типичная память, память как таковая. Память в понимании Жане не воспроизводит факт, а рассказывает о нем, и это так же похоже на воспроизведение воспринятого факта, как книга похожа на тот предмет, который является ее темой, например, как книга о сражении похожа на сражение. С другой стороны, привычка не воспроизводит в сознании, а просто повторяет снова то же движение, и это так же можно назвать воспоминанием, как повторную порцию кушанья можно назвать воспоминанием о первой порции его.
Таким образом в нашем ряде различных видов или «уровней» памяти каждый из них обладает своеобразными особенностями, отличающими его от других, но в то же время между ними существует связь и взаимопереходы.
3. Тема исследования. Вопрос об отношении между памятью и привычкой привлекал к себе большое внимание исследователей, и разбор его проник даже в современные курсы психологии, которые обычно уделяют ему известное место. Совершенно иначе обстоит дело с вопросом об отношении между памятью и мышлением. Если раньше, в предыдущие столетия, этот вопрос привлекал внимание, правда, скорее философов, и преимущественно поскольку он был связан с вопросом об отношении между простым опытом и научным познанием, то в современной психологии он не пользуется даже и таким вниманием. Господствовавшая эмпирическая психология, находящаяся под сильнейшим влиянием эмпирической философии, не была склонна, судя по сравнительно небольшому количеству работ, да и не могла по своим узким эмпирическим философским установкам заняться как следует проблемой мышления. То философское направление, которое, по словам Энгельса, «чванясь одним лишь опытом, относится с суеверным презрением к мышлению»31, не давало эмпирической психологии ни желания, ни возможности исследовать мышление.
Любые курсы эмпирической психологии более или менее содержательны, пока речь идет об ощущениях, восприятии, внимании и памяти, но чем ближе к мышлению, тем они становятся все более бессодержательными. Проблема психологии мышления как бы уступалась представителям так называемой «философской психологии», где она трактовалась в духе старомодной идеалистической болтовни.
Эмпирическая психология обрывалась на памяти, да и ту изучала далеко не до конца. Для этой психологии характерно, что как раз та память, которая ближе всего стоит к мышлению, ею наименее изучалась. Наоборот, самая элементарная с генетической

точки зрения память, память-привычка, моторная память (включим сюда и вербальную, т. е. моторную память речевых движений), пользуется максимальным вниманием современных представителей эмпирической психологии. Так стало быть даже главу. о памяти они дорабатывают не до конца, застревая скорее на первых разделах ее. С такой главой о памяти и с почти совершенно не разработанной главой о мышлении эмпирическая психология конечно не могла не только разрешить, но даже правильно поставить вопрос об отношении между памятью и мышлением. Точно так же не могла ни решить, ни правильно поставить этот вопрос идеалистическая, так называемая «философская психология», усилия которой под влиянием ее идеалистических установок были направлены скорее на то, чтобы между памятью и мышлением создать непроходимую пропасть.

А между тем мы видим, что память, поднимаясь в связи с развитием все на более и более высокую ступень сознания, тем самым все более и более приближается к мышлению в конце концов настолько близко, что даже в повседневной речи в этих случаях promiscue употребляются слова «вспомнил» и «подумал», да и специалист-исследователь теряется в своем анализе, где кончается в таких случаях память, а где начинается мышление. Тем настоятельней становится вопрос об отношении между памятью и мышлением, и попытку подойти к решению этого вопроса представляет данное исследование. Надо подчеркнуть, что на данной стадии разработки этого вопроса речь может итти только конечно о попытке подхода к решению вопроса, а не о полном решении его. На это данное исследование не претендует.

III. ПАМЯТЬ И ЧУВСТВО

1. Что помнится дольше всего? Я предлагал студентам в аудиторной обстановке написать «первые пришедшие им в голову воспоминания» из текущего года и, когда они уже написали, предлагал еще раз сделать то же, но уже из жизни до института. Так было собрано мною 224 воспоминания.

Воспоминания из текущего года распределялись так (в %):

Неприятные	38
Новые	24
Приятные	19
Прочие	19

Сразу бросается в глаза, что воспоминаний об эмоционально индиферентных событиях было только 19%: огромный процент воспоминаний (81%) относился к эмоционально пережитым случаям, так как «новое» в той или иной степени также эмоционально действует (поражает, удивляет и т. д.).

Обращает внимание также и то, что среди воспоминаний об эмоционально подействовавших событиях наибольший процент приходится на воспоминания о неприятном: их было почти столько же, сколько всех остальных из этой группы, и вдвое больше, чем воспоминаний о приятном.

Келлер давал испытуемым прочитывать бессмысленные слоги и спустя некоторое время давал снова читать такие же слоги, среди которых были и новые и показанные раньше. В своих отчитываниях испытуемые характеризовали новое как «несимпатичное», «отталкивающее», «трудное», «раздражающее», «несвязанное с знакомым». Отсюда Келлер делает вывод: «Суждение чуждости приобретает характер какого-то защитного рефлекса»[32]. Опыт Келлера наталкивает на обобщение, что вообще в восприятии нового, по своему содержанию эмоционально индиферентного, пусть хотя бы в малой степени, есть момент неприятного волнения. Если так, то воспоминания о новом еще больше увеличат процент неприятных воспоминаний (в группу «новое» я включал воспоминание только об эмоционально индиферентном новом).

Воспоминания из лет до института распределялись так (в %):

Неприятные	64
Приятные.	19
Новые	9
Прочие	8

Это более давние воспоминания, и в них процент об эмоционально индиферентном резко уменьшился (всего 8%). Но сильно уменьшился также процент воспоминаний о новом, которые сравнительно с воспоминанием о приятном или неприятном были воспоминаниями о менее эмоционально действующем (в группу «новое» я включал воспоминания только о таком новом, которое нельзя было причислить ни к приятному, ни к неприятному).
С другой стороны, очень возрос процент воспоминаний о неприятном.
Первые воспоминания детства конечно самые давние воспоминания, и, анализируя их, можно получить убедительный ответ на вопрос, что помнится дольше всего. Собранные мною 190 первых воспоминаний детства у студентов педагогических высших учебных заведений (в том числе и учителя) распределяются так (в %):

Загадочные и новые	18
Смерть	16
Сильные испуги и страхи	16
Сильные наказания и обиды	15
Несчастные случаи в семье ребенка	11
Несчастья с близкими	6
Разлука	4
Счастливые моменты	6
Прочие	8

Только 8% воспоминаний об эмоционально индиферентном. Но, при известном желании, можно оспаривать в сторону уменьшения даже этот небольшой процент: все эти «прочие» воспоминания относятся к очень раннему детству (1—3 года), и возможно предположить, что события, кажущиеся нам, разбирающим эти воспоминания, совершенно не эмоциональными, на малютку действовали эмоционально33.
Так или иначе, можно считать вполне обоснованным следующий вывод: дольше всего помнится сильно эмоционально возбудившее событие.
При дальнейшем анализе поражает ничтожный процент воспоминаний о приятных событиях: всего 6%. Но к этим воспоминаниям обычно присоединяется меланхолическое чувство, и их можно назвать грустными воспоминаниями о потерянном счастье детства. С другой стороны, в группе воспоминаний о загадочном и новом довольно большое место занимает загадочно-странное, пугающее и т. п.
Таким образом можно считать вполне обоснованным вывод: дольше всего помнится неприятное. При предположении, что загадочное и новое до известной степени относится сюда же, 86% всех первых воспоминаний детства таковы, и даже без этого предположения по самому скромному подсчету таких воспоминаний 68%.
А если скинуть со счетов «прочие» воспоминания, так как трудно решить, какой характер имели соответствующие события для малютки 2—3 лет, и если принять во внимание элегический харак-

тер воспоминаний о счастливых моментах, то можно было бы говорить даже о 100%.

Так или иначе несомненен вывод: дольше всего помнятся сильные эмоциональные впечатления, притом неприятные.

Насколько общепризнано в современной психологии, что сильные эмоциональные впечатления хорошо запоминаются, настолько резко расходится с господствующими взглядами утверждение, что лучше всего запоминаются сильные неприятные впечатления. Сейчас в очень большом ходу как раз противоположная фрейдистская теория, что как раз именно неприятное вытесняется из памяти.

В ряде работ, особенно в «Психопатологии повседневной жизни», Фрейд приводит ряд примеров, анализ которых «каждый раз обнаруживает в качестве мотива забвения неохоту вспомнить нечто, могущее вызвать тягостные ощущения». Но, как известно, примерами, особенно такого рода, какие приводит Фрейд (не поддающиеся повторной проверке отдельные казусы, весьма поверхностно описанные), можно доказать что угодно. Насколько же вообще Фрейд был плохо знаком с соответствующим фактическим материалом, видно из того, что вопреки тому, что есть в действительности, он утверждал, «что в самых ранних воспоминаниях детства обыкновенно сохраняются безразличные и второстепенные вещи, в то время как важные, богатые аффектами впечатления того времени не оставляют (не всегда конечно, но очень часто) в памяти взрослых никакого следа»34. На самом деле как раз наоборот. Поскольку фрейдистская теория «вытеснения» неприятного находится в вопиющем противоречии с вышеприведенным мною фактическим материалом, она должна быть решительно отвергнута, тем более что обосновывается она фрейдистами не путем систематического исследования, а примерами, т. е. ненаучно.

Со времен Эббингхауза принято думать, что экспериментально-психологические исследования доказали, что приятное запоминается лучше неприятного35. Действительно ряд экспериментальных исследований делает такие выводы. Но как раз то обстоятельство, что вопрос об отношении между аффективным тоном и удержанием, по словам современного обозревателя, является вопросом, «теперешнее экспериментирование над которым было необычайно активно»36, показывает, как далек этот вопрос не только от решения, но даже от правильного ведения опыта: не дальше как в 1933 г. Юнг резко критикует методику подобных экспериментов, а Кейзон — обычно делаемые выводы37.

Шаблонные экспериментальные исследования с запоминанием слов приятного и неприятного содержания ничего решающего по данному вопросу сказать не могут. Юнг правильно указывает на обычное смешивание в подобных экспериментах действительного переживания того или иного чувства с «холодным познавательным» пониманием приятного и неприятного: «Если намереваются экспериментировать над прочувствованным приятным, то пусть будет продумана аффективная методология и в частности основательность того, насколько очевидно, что действительно прочув-

ствованное переживание является фактором в данной экспериментальной ситуации». Но даже если не считаться с этим справедливым указанием, другое замечание мне кажется еще более убийственным: разве стимулы, подобные примененным в таких опытах словам, можно считать действительно сильными приятными и неприятными стимулами? Такие сильные стимулы в лабораторной обстановке конечно не применяются: такие стимулы, как смерть матери, сильнейший ожог, сильно покусавшая собака и т. п., имеют место в жизни, а не в лаборатории. Наконец мне кажется, против выводов из подобных лабораторных экспериментов говорит и то, что они не имеют обыкновенно дело с длительным запоминанием: под последним в лаборатории понимают не то, что в жизни. Где мы имеем в лаборатории воспоминание через 20—30 и более лет, какие дают нам первые воспоминания детства? Когда я собирал первые попавшие в голову воспоминания о вчерашнем дне, воспоминаний о приятном было в полтора раза больше, чем о неприятном, но когда речь шла о воспоминаниях из текущего года, воспоминаний о приятном было вдвое меньше, чем о неприятном, а среди первых воспоминаний детства воспоминаний о приятном было очень мало, но и те оказались при ближайшем рассмотрении неприятными.

Насколько современные исследователи тенденциозны, ярко показывает «закон эффекта» Торндайка. Этот закон формулирован Торндайком так: «Из различных ответов на одну и ту же ситуацию те, которые сопровождает или за которыми вскоре следует удовлетворение воли животного, при прочих равных условиях будут более прочно связаны с ситуацией, так что при повторении ее они будут более охотно повторяться; у тех же, которые сопровождает или за которыми вскоре следует неудобство для воли животного, при прочих равных условиях их связи с этой ситуацией ослабевают, так что при повторении ее они менее охотно повторяются. Чем больше удовлетворение или неудобство, тем больше усиление или ослабление связи»38. Experimentum crucis у Торндайка был следующий: испытуемому давали набор бумажных полосок различной длины (3—27 см), и он должен был определить длину каждой. Сначала шла серия 50 пред'явлений полосок, причем испытуемому не говорили, правильно он определяет или нет; затем шло 7 серий, где экспериментатор говорил после каждого определения, правильно оно или нет; наконец шла серия опытов, когда экспериментатор ничего не говорил. Контрольная группа испытуемых проделывала то же, но с той разницей, что здесь экспериментатор ничего не говорил ни в одной серии опытов. В результате больший успех имел место в экспериментальной группе.

Этот experimentum crucis на самом деле не имеет никакого отношения к «закону эффекта», как его формулировал Торндайк, подчеркивающий аффективный момент, и Rexroad правильно указывает, что подобные эксперименты доказывают совершенно другой закон — «закон знания результатов»39.

Что касается роли удовлетворенности или неприятности (annovance), то в своей недавней работе, вышедшей в 1932 г., Торндайк сам исправляет свой закон указанием, что эксперименты не подтвердили первоначальной формулировки закона: он сохраняет прежнюю формулировку для удовлетворенности, но неприятности не оказывают «такого однообразного (uniform) ослабляющего действия»40. Как раз влияние неприятности на выучку расшатывает «закон эффекта» даже в той интерпретации экспериментальных данных, которой придерживается сам Торндайк.

Но дело не в частичных поправках к этому закону. Дело в том, что если не смешивать его с законом знания результатов, то закон эффекта, утверждающий, что, «чем больше удовлетворение или неудобство (discomfort), тем больше усиление или ослабление связи», не только не соответствует действительности, но извращает ее максимально. В качестве experimentum crucis для опровержения этого закона я предлагаю использовать известный опыт Куо: крыса находится в ящике, в котором к пище ведут четыре дороги — одна самая длинная; другая, на которой крыса получает электрический удар; третья с задержкой на 20 секунд и четвертая — самая короткая. В результате крысы быстро оставляли дорогу с электрическим ударом, позже — дорогу с задержкой, еще позже — длинную дорогу и так выучивались самой удобной дороге41. Что доказывает этот опыт? Крысы запомнили быстрее всего самую неприятную дорогу, где их ожидала боль, вообще запоминали дороги пропорционально связанным с ними неприятностям, и самая удобная дорога была та, которой они выучились позже всех других. Насколько тенденциозны сторонники «закона эффекта», демонстрирует их nec plus ultra натянутая интерпретация этого опыта: деятельности, сопровождаемые успехом, охотнее повторяются, поэтому они больше повторяются и в результате лучше усваиваются. Но ведь в этом опыте выход по удобной дороге был усвоен в последнюю очередь!

Другим примером того, как мешает современной психологии непризнание того, что при прочих равных условиях лучше всего запоминается неприятное, может служить работа К. Левина и Цейгарник: «Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen», открывшая серию аналогичных работ (Овсянкина, Биренбаум, Гоппе) под руководством Левина же и повторенная с некоторыми изменениями Шлоте. Факт, установленный Левиным и Цейгарник и подтвержденный Шлоте, бесспорен: запоминание нерешенных заданий лучшее, чем решенных. Но при чтении этих работ поражают невероятная сложность и абстрактность даваемых объяснений, апеллирующих то к Gestalt psychologie, то к детерминирующей тенденции Аха, тогда как под руками самое простое объяснение: неприятное (неудавшееся) запоминается гораздо лучше приятного (удавшегося).

Эббингхауз обосновывает положение, что «ассоциирующая сила приятно окрашенного чувства должна считаться решительно большей, чем неприятно окрашенного», ссылкой и на простое наблю-

дение: он сочувственно цитирует Жан Поля, что «надежда и воспоминание — розы из одного ствола с действительностью, только без шипов», и указывает, что, «поскольку человеческие мысли выбирают определенный исходный пункт, они предпочитают направление на приятное»42. Но последнее утверждение относится не к памяти, а к мышлению, а розовая окраска воспоминаний о прошлом имеется обыкновенно у тех, кто плохо чувствует себя в настоящем (например старики, неудачники и т. п.). Нет недостатка в мрачных воспоминаниях, но (и в этом Эббингхауз прав) мы предпочитаем о них не думать, однако это скорее уже мышление, а не память. Ссылаться на простое наблюдение вообще надо с осторожностью, но если надо это делать, то нельзя не признать, что неблагодарность — распространенный порок, да и злопамятство нередко встречается. Но самое поразительное то, что, когда мы судим какого-либо человека, мы обыкновенно очень сильно помним его проступки и столь же сильно забываем положительные поступки его.

Сторонники теории тенденции забывать неприятное видят в этой тенденции полезное для жизни приспособление — охрану от болезненных переживаний. Очень сомнительно, чтобы такое забывание было всегда выгодно. Легко вообразить, какая судьба ждет животное, забывающее то, что причиняет страдание: оно обречено на быструю гибель, как ультранеосторожное. Именно на памяти о страдании основывается осторожность.

2. Судьба пережитого чувства. Как показывает анализ первых воспоминаний детства, не все эмоциональное одинаково хорошо запоминается: лучше всего запоминается при прочих равных условиях неприятное. Но и не все неприятное одинаково запоминается: максимально хорошо запоминается при прочих равных условиях то, что вызвало страдание, страх или удивление. «Внимание, когда оно возбуждается внезапно и сильно, постепенно переходит в удивление, а это последнее — в изумление и оцепенение. Последнее душевное состояние близко примыкает к ужасу»43. К. Бюллер констатирует, что в самом раннем детстве удивление в сущности есть только меньшая степень страха. Таким образом с генетической точки зрения удивление родственно страху. Значит, при прочих равных условиях наиболее запоминается то, что вызывает страдание и страх.

В свою очередь Герсон, стоя на генетической точке зрения, сближает страх с болью44. Характерно, что в ранних воспоминаниях детства фигурирует в огромном большинстве случаев ретроспективный страх, страх после случившейся беды, например после укуса собаки или падения с высоты, а не перед нею. Так с генетической точки зрения страх сближается с болью, вообще с страданием, будучи сначала переживанием после него и лишь затем — перед ним. Если стать на ту точку зрения на боль и вообще на неприятное чувство, которую я обосновывал в другой своей работе («Психологические очерки»), исходя из факта, что всякое чрезмерно сильное возбуждение болезненно и что неприятное чувство по своим

физиологическим проявлениям однородно с болью, то «боль с объективной точки зрения можно определить как сильное нервное возбуждение, сильный распад нервного вещества», а «недовольство вероятно, есть не что иное, как слабая диффузная боль»45. Если эти предположения правильны, тогда можно сделать обобщающий вывод: максимально хорошо запоминается то, что вызвало очень сильное нервное возбуждение.

Здесь следует сделать одну оговорку. Когда мы говорим, что нерв «проводит» возбуждение, это надо представлять как проведение по нервному пути диссимиляции, распада нервного вещества. Значит чрезмерно сильное возбуждение вызывает чрезмерное распадение, т. е. уже ликвидацию возможности возбуждаться. Отсюда потеря сознания и беспамятство. Таким образом сделанный вывод действителен лишь при известном максимуме возбуждения, но не свыше его. С этой оговоркой можно принять, что запоминание прямо пропорционально силе возбуждения (по крайней мере поскольку речь идет об эмоционально действовавшем впечатлении).

Какова же судьба пережитого чувства? Если это очень сильное чувство, то иногда, раз возбудившись, оно может полностью или частично остаться, продолжаться неопределенное количество времени, иногда даже всю жизнь, в хронической форме. Как иногда вызванная ушибом опухоль может остаться на долгое время, так бывает и здесь. Кто не знает, как под влиянием очень сильно или неоднократно повторно переживаемой эмоции иногда изменяется характер субъекта: ужасное наказание может сделать человека боязливым, сильное несчастье — меланхоличным и т. д. Парадоксально, но правильно выражаясь, можно сказать о таком человеке, что он все время помнит свое чувство, потому что никогда его не забывает, и именно потому, что все время помнит его, никогда не вспоминает его, так как вспомнить можно только то, что в данный момент не помнят. Обычно однако остающееся чувство слабеет, как оставшаяся на всю жизнь или на много лет опухоль от ушиба обычно меньше и слабей первоначальной.

Но такие случаи сравнительно экстраординарные. Несравненно чаще бывает, что после пережитого испуга или страдания эти эмоции проходят, но при действии того же или однородного с ним стимула снова возбуждаются, притом с необычной легкостью. Первые воспоминания детства дают богатый материал, иллюстрирующий это: испугалась крика пьяного, «и сейчас их боюсь»; напугала собака, и «я и сейчас больше всего на свете боюсь собак»; напугал акробат, и «прошло много лет, но до сих пор я не была в цирке, каждый раз пережитое мешает»; ночью в квартире кошка выбила окно, и «позднее, до 12 лет боялась кошек, по ночам вскрикивала» и т. д. Я предпочел бы не говорить в подобных случаях о «сохранении» чувства в «глубинах подсознательного» и т. п. Эти фигуральные выражения мало помогают действительному объяснению и скорее вносят неясность и сбивчивость в него. Нет, чувство, очень сильное в первый момент, но затем, когда

субъект успокоился, ослабевшее, а затем вовсе умершее, не существует: его нет. Поэтому придумывать для него где-то какой-то склад нет нужды. С несравненно большим основанием можно предположить другое: подвергшийся очень сильному возбуждению соответствующий нервный орган, продуктом деятельности которого являются данные эмоции, стал после этого более возбудимым, вещество его стало легче соответствующе диссимилироваться. Это допустить тем правдоподобней, что подобное явление имеет место не только в мозгу, но и в других органах.

Из трех чувств (страдание, страх и удивление), которые наиболее хорошо запоминаются, не все запоминаются одинаково. О запоминании удивления как чувства вообще лучше не говорить: запоминается удивившее впечатление, а чувство удивления по своему характеру не таково, чтобы возбуждаться при однородном стимуле, так как удивление есть своеобразная эмоциональная реакция именно на новое. Боль и страдание довольно часто воспроизводятся в виде страха, что не удивит нас ввиду генетической связи страха с болью. Поэтому легко возбуждающееся в данных случаях при действии однородного (по существу, если вдуматься, в ослабленном виде того же) стимула чувство — обычно чувство страха.

Анализ первых воспоминаний детства дает возможность установить еще один факт. Вот несколько воспоминаний об испугавшем: испугался, когда смотрел в открытое окно, и «я и сейчас чувствую какое-то неприятное чувство, когда приходится смотреть из окна вниз», испугался зеленого червяка, и «теперь неприятное чувство при виде зеленого червяка сохранилось»; напугал врач, и «до сих пор сохранилась неприязнь к врачам». Был испуг, он прошел, и теперь его нет при встрече с однородными напугавшему стимулами, но нет и равнодушного отношения к этим стимулам: они вызывают неприятное чувство.

В «Диалектике природы» Энгельс писал: «Процесс органического развития как отдельных индивидов, так и видов путем диференцирования является поразительнейшим образцом рациональной диалектики»46. Дифференцирование нервной системы, мозга конечно влечет за собой диференцирование переживаний. Эмоциональная жизнь развитого взрослого несравненно разнообразней и диференцированней, чем у ребенка. Неприятное чувство, простое неудовольствие, как и простое довольство, — наименее диференцированное чувство, из которого диференцируются разнообразнейшие неприятные и приятные чувства. Из ретроспективного самонаблюдения, а также из опроса нескольких взрослых людей я выяснил, или точнее, подтвердил тот довольно известный факт, что стимулы, когда-то вызвавшие определенное чувство (боль, испуг, огорчение, радость, горе, любовь и т. д.), могут вызвать впоследствии слабое и недиференцированное чувство того же качества, т. е. неприятное или приятное. Вот несколько примеров: «С. сильно напугал меня ложным известием о смерти моего сына, и с тех пор мне очень неприятно видеть его, хотя он хороший

человек»; «и сейчас мне неприятно брать в руки книгу, на переводе которой я срезался», «после операции я не люблю теперь ножей», «мне очень приятно смотреть на карточку N. N., с которым мы провели много счастливых дней». Во всех этих примерах, а привести их можно было бы множество, вызывается не прежнее определенное чувство, а более элементарное с генетической точки зрения недиференцированное приятное или неприятное чувство.

Уже в вышеприведенных различных воспоминаниях можно заметить следующий общеизвестный, но тем не менее очень поучительный факт: испугала определенная собака, но с тех пор субъект стал бояться вообще собак; причинял боль операционный нож, но не любят и столовых ножей. Получается своеобразная генерализация чувства. Эта генерализация выражается в том, что чувство как бы хуже стало различать стимулы, как бы смешивает данный стимул с похожим на него. Чувство не только само стало менее диференцированным: оно оказалось менее способным диференцировать стимулы.

Чувство стало менее диференцированным и стало хуже различать, менее специализированно, более неразборчиво реагировать. Но с генетической точки зрения это значит, что чувство стало более примитивным: это не прежнее чувство, но другое, того же рода, но находящееся на низшей стадии развития.

Все вышеизложенное дает возможность ответить на вопрос о судьбе пережитого чувства. Возбужденное чувство (или эмоция) длится некоторое время, иногда очень продолжительное (в ослабленной хронической форме), но чаще всего сравнительно непродолжительное, постепенно слабея, пока вовсе не утихнет. В последнем случае его уже нет, и ни в каком вместилище — настоящем или метафорическом, материальном или духовном — оно не находится. Но соответствующая нервная организация, результатом деятельности которой было данное чувство (или эмоция), подвергшись очень сильному возбуждению, может стать после этого более возбудимой, т. е. способной возбуждаться более слабыми стимулами подобного рода. При соответствующе слабых стимулах конечно и возбужденное чувство может быть более слабым сравнительно с прежним. Чаще всего так именно бывает, так как в жизни очень сильные впечатления, притом того же самого рода, встречаются конечно лишь в исключительных случаях. Но дело не только в том, что новые возбуждения бывают (не обязательно конечно) более слабыми. Разница не только в степени силы, но и качественная. Именно в ряде случаев возбуждается менее диференцированное чувство, притом менее диференцированным раздражителем. Как неврологически объяснить это — тем ли, что данная нервная организация возбуждается более диффузно, тем ли, что в процессе участвуют лишь генетически более первичные части ее или чем-нибудь иным, — как не специалист, я уклоняюсь от ответа на этот вопрос. С психологической точки зрения так или иначе имеет место в данных случаях более примитивное чувство.

В ряде других случаев возбуждается прежнее чувство или генетически родственное ему. Впрочем и вышеупомянутое примитивное чувство так же можно рассматривать как генетически родственное. Из всего можно заключить, что во всех этих случаях имеет место известный процесс развития или деградации.

В вышеприведенных воспоминаниях опрошенные отдавали себе отчет в том, почему и сейчас они боятся собак, не любят кошек и т. д. Но далеко не всегда воспоминания о пережитом сохраняются настолько, чтобы в свете его были понятны теперешние фобии, антипатии и симпатии. В таком случае они кажутся непонятными, «беспричинными». Иногда удается однако восстановить воспоминание настолько, что эти непонятные чувства становятся объясненными. Одна из моих испытуемых «беспричинно» не любила толстых веревок. После моих разъяснений возможной причины этой антипатии, когда я затем попросил ее вспомнить приключения из своего раннего детства, она сразу же ответила: «Да, теперь я поняла в чем дело: я вспомнила, что когда мне было 5 лет, меня в игре повесили, и я чуть не задохнулась». Иногда удачно собранный анамнез, а иногда и ассоциативный эксперимент помогают выяснению. В психопатологической литературе опубликовано немало подобных объяснений кажущихся непонятными фобий, антипатий и симпатий.

Экстраординарность ряда подобных случаев состоит только в очень сильной эмоции, создающей жизненные неудобства. Студент А. был сильно напуган внезапной глазной болезнью, которую он принял за порчу глаза, и несколько лет после этого он не мог читать анатомию глаза в учебниках, до того ему было неприятно, и это причиняло большие неудобства при подготовке к экзаменам. Анализ первых воспоминаний детства выясняет, какую огромную роль в самом раннем детстве играет испуг при падении, и, возможно, столь распространенные среди взрослых фобии упасть, создающие столько неудобств при нахождении на высоте или в открытом месте, объясняются действительно бывшим испугом при падении тогда.

Иногда наблюдается постепенный рост количества случаев, вызывающих данную фобию. Сначала боязнь быть на вышке без перил, затем стал бояться вообще смотреть с высоты, затем — переходить узкий мостик без перил, даже не на высоком месте, затем — переходить всякий мост и т. д. Такая тенденция чувства к генерализации уже разобрана нами выше. Понятно, что генетический анализ столь широко генерализированной эмоции в особенности труден, так как трудно узнать, какой стимул был начальным. Интересно, что подобные «непонятные» фобии не обязательно развиваются вскоре после данного события. Нередко они возникают гораздо позже, даже через много лет, но, по имеющимся у меня фактам, в таких случаях всегда имеет место развивающаяся невропатия (вот почему они так часты в сильной форме именно у психопатов). Субъект А. 26 лет обрезался так, что истекал кровью и вызывали скорую помощь. Через 3 года он заболе-

вает нервным расстройством и между прочим начинает бояться порезов. Подобные случаи подтверждают наше предположение, что дело в подобных случаях не «в сохранении чувства», а в большой возбудимости соответствующей нервной организации.
Вышеописанные экстраординарные случаи привлекают наше внимание как необычной силой «непонятной» эмоции, так и тем неудобством, какое получается от этого в жизни. Но, сосредоточивая внимания на этих случаях, мы не замечаем, какую огромную роль, притом полезную, играют таким же образом происшедшие, но гораздо менее сильные антипатии и симпатии, фобии и гнозические чувства (так условимся называть чувства, возникающие при встрече со знакомым предметом), образующие в своей совокупности наш аффективный опыт, о котором к сожалению так мало упоминается в психологической литературе, но который играет исключительно большую роль во всем нашем поведении. Что, в сущности представляет собой осторожность, как не прежний, только ослабленный страх, причем часто генерализированный? Что такое антипатия, как не генерализированное прежнее чувство, первоначально порою гораздо более диференцированное? Наконец первичная реакция узнавания — чувство, а не интеллектуальный процесс: достаточно для этого понаблюдать, насколько эмоционально узнавание у младенцев 2—4 месяцев. Мне случилось дважды в жизни пережить «déjà vu». Оно не было у меня интеллектуальным познанием, что я уже видел эту ситуацию. У меня оно было глубоким, грустным и приятным чувством давно и хорошо знакомого чего-то, что не мог вспомнить, но что чувствовалось как знакомое. Это было именно чувство. Узнавание в своей первичной основе есть чувство.
Повседневно и повсечасно, я бы сказал, повсеминутно аффективный опыт, богатый, но смутный, руководит нашим поведением.
3. Проблема аффективной памяти. И тем не менее еще и сей час спорят, существует ли аффективная память. Этот спор был особенно интенсивным в 1908—1910 гг., когда шла полемика между Рибо и Кюльпе.
Рибо защищал существование аффективной памяти самыми разнообразными аргументами — психологическими, фенологическими, патологическими и пр. «Единственный критерий, позволяющий на законном основании утверждать, существование аффективного воспоминания, это — что оно может быть узнано, что оно носит метку уже испытанного, уже перечувствованного и что следовательно оно может быть локализировано в прошлом времени». Но разве мы не сравниваем наши теперешние чувства с прошлыми? Говорят, что любовь не испытывается дважды одинаково, но «как могли бы это знать, если бы в памяти не оставалось аффективных следов». «Нет сожаления без сравнения», но «закон контраста, господствующий в жизни чувств, предполагает аффективную память».
Вторая группа психологических фактов, доказывающая существование аффективной памяти: «Во всяком комплексе, составляю-

тем воспоминание, аффективный элемент появляется первым сначала расплывчатый, смутный, лишь с какой-то общей меткой: печальной или радостной, ужасающей или агрессивной. Понемногу он определяется появлением интеллектуальных образов и достигает законченной формы». В этих воспоминаниях «аффективное прошлое воскресло и узнано раньше об'ективного прошлого, которое является додатком».

С физиологической точки зрения неправдоподобно, чтобы репродуцирование касалось только образов, т. е. чтобы в нем участвовали только те нервные процессы, которые соответствуют репродуцированию образов, а остальные бы, в частности имеющие отношения к чувствам, не участвовали: воспоминание стремится восстановить весь комплекс прошлого, в области памяти господствует закон реинтеградации, а отрицание аффективной памяти противоречит этому закону. «Нервные процессы, когда-то принимавшие участие в сейчас возрождающемся физиологическом комплексе и соответствующие аффективным состояниям... стремятся также быть вовлеченными в возрождение, следовательно возбуждают аффективную память». Конечно надо отдавать себе отчет в том, что «аффективный образ» не то, что например зрительный образ.

В психопатологии можно найти много материала в пользу аффективной памяти и аффективного воображения, например воображаемая боль, сочувствие, внушенное чувство, фобии, ностальгия. Выражаясь физиологически, «нервные центры и примыкающие к ним пути могут начать действовать под влиянием внутренних, известных или неизвестных причин; функциональная цельность этих центров — необходимое и достаточное условие для возрождения аффективных образов, которые при известных условиях становятся галлюцинаторными».

Наконец аффективной памятью объясняется ряд фактов из индивидуальной и социальной жизни, например консолидация характера или эволюция чувства, со временем нарастающего, убывающего, забываемого или снова восстанавливаемого.

Таковы основные аргументы, приводимые Рибо в пользу существования аффективной памяти47.

Но существование аффективной памяти признается далеко не всеми психологами. Многие отрицают ее, указывают, что когда мы вспоминаем о каком-нибудь приятном, интересном, ужасном и т. п. событии, то воспоминание — образ или мысль, а не чувство, т. е. интеллектуальный процесс. Это воспоминание (образ или мысль) о происшедшем вызывает у нас то или иное чувство, которое таким образом является не воспроизведением бывшего чувства, а совершенно новым чувством; чувство как таковое не воспроизводится.

В 1908 г. на международном конгрессе в Гейдельберге Кюльпе сделал доклад о своих экспериментах по воспроизведению чувств. Он провел 7 испытуемых через 4 серии опытов. Первая серия опытов состояла в том, что у испытуемых вызывали ощущения с аффективным тоном (уколы, цвета, звуки). Затем их просили воспро-

извести образ этих ощущений и определить при этом, аффективный ли или только интеллектуальный характер имеет этот образ. Вторая серия опытов состояла в том, что испытуемые должны были воспроизвести в памяти приятные или неприятные случаи, как действительно пережитые в прошлом, так и ожидаемые в будущем. В третьей серии опытов испытуемые должны были представить эмоции, например гнев, радость, печаль и т. д. Наконец в четвертой серии опытов предъявлялись портреты неизвестных им людей с очень эмоциональным выражением лица, и испытуемые должны были по симпатии переживать те же чувства.
Оказалось, что четверо испытуемых не могли представить удовольствия или страдания, двое иногда могли, а у одного получились неопределенные результаты. Но и из тех, кто мог представить чувство, одному было трудно различать действительное и представленное удовольствие, но он считал, что случайно ему удалось воспроизвести представленное чувство. Другой же с усилием представлял аффективный тон звука, но это представление казалось ему как бы периферическим, как бы данным извне.
Все испытуемые могли представлять физическую боль и отличать ее от неудовольствия. Многие часто наблюдали, что удовольствие или неудовольствие, связанное с представлением чувственного впечатления, имеют ту же интенсивность, как и чувство, связанное с предыдущим ощущением.
Оживание удовольствия и неприятности у некоторых происходило так: или чувство на самом деле оживало, или это было простым знанием без соответствующей интуиции, «чувствоподобным», «как бы галлюцинаторным» и т. п.
Таким образом опыты Кюльпе ставят под вопрос существование представления чувства (Gefühlsvorstellung). Дискуссия об аффективной памяти, усиленно ведшаяся в 1908—1913 гг., не дала определенных результатов, как и не дали таких же результатов и изредка впоследствии предпринимаемые соответствующие эксперименты. В чем же дело? Почему так неудовлетворительно обстоит дело с проблемой аффективной памяти и до сегодняшнего дня?
Те эксперименты, которые предпринимают в связи с этой проблемой, обычно состояли в том, что испытуемые должны были воспроизвести то или другое чувство. Чаще всего это им не удавалось. Отсюда, мне кажется, можно сделать только тот вывод, что произвольное воспроизведение чувств почти невозможно, по крайней мере для многих. Возможно ли непроизвольное воспроизведение чувств, — этот вопрос подобными экспериментами конечно не решается.
Воспроизведенное чувство в свою очередь ставилось под вопрос, есть ли это действительное чувство или «представление чувства», «аффективный образ», и если оно оказывалось не последним, а действительным, реальным чувством, то это считали опровержением существования аффективной памяти, так как исходили из предположения, что воспроизведенный образ, сознаваемый как образ чего-то прошлого, сейчас не воспринимаемого, кардинально

отличается от актуального восприятия объекта. В случае воспроизведения чувств, обычно не находят той разницы, какая существует в интеллектуальной памяти между восприятием и представлением, образом, и отсюда заключали, что в данном случае вообще нельзя говорить о памяти. Такое заключение однако неправильно. Максимум, что можно заключать, это — то, что воспроизведение чувств отличается от воспроизведения восприятий: в последнем воспроизведенный образ отличен от восприятия, воспроизведенное же чувство так не отличается от прежде пережитого чувства; если там образ — только копия восприятия, то здесь воспроизведенный страх не образ страха, а страх.

Но ведь и при воспроизведении привычных движений воспроизведенное движение — движение, а не образ движения, и это относится не только к ручным, ножным и т. п. движениям, но и к речевым: вспомнить стихотворение, значит снова мысленно или вслух повторять его, и вряд ли кто станет на этом основании отрицать, что здесь нельзя говорить о памяти и воспоминании, так как-де я повторяю стихотворение, а не ограничиваюсь лишь «представлением» «образа» его.

Воспроизведение чувств находится как бы посредине между моторным и сенсорным воспроизведением: здесь оживает почти то же чувство, то же, так как «боюсь», «испытываю неприятное чувство» и т. д., но «почти» то же, так как обычно оно все же ослабленное, даже иногда перешедшее в другое, родственное чувство. Неверно в своей категоричности и утверждение, что между образом и восприятием резкая разница, исключающая всякие переходы: зрительные галлюцинации — пример, как иногда разница между образом и восприятием может стираться и до такой степени, что виденный образ принимается за воспринимаемый предмет. Характерно, что это смешение особенно бывает, когда на первый план выступает более низкий нервный уровень (сумасшествие, интоксикация, сон и т. п.). Характерно при этом, что зрительные галлюцинации — обычно непроизвольно возникающие образы. Выяснению вопроса очень много вредило то обстоятельство, что исследователи сопоставляли воспроизведение чувств с воспроизведением зрительных образов. Если следовать наиболее популярным в современной неврологии взглядам, то чувства являются результатом деятельности подкорковых органов, а зрительные образы — коры задних долей больших полушарий48. Во всяком случае зрительные образы — результат деятельности гораздо более высшего «нервного уровня», нежели чувства. Поэтому разница здесь так сильна, и если признать именно образную память за типичную, «настоящую» память, то можно притти к отрицанию аффективной памяти.

Иное положение, если вместо зрения взять функцию более низкого нервного уровня, например обоняние, имеющее в жизни очень многих животных такое же приблизительно значение, как зрение — в жизни человека. Геннинг подробно, притом экспериментально, исследовал обонятельную память, в отрицателях которой

также нет недостатка. Отсылая за конкретным материалом к его книге «Der Geruch», я приведу здесь только его выводы: «В поле низших чувств существуют не наглядные образы воспоминаний и представлений, но только эйдетические переживания. Ни одна женщина не может вспомнить наглядно о родовых болях, и если боль всплывает как наглядный образ, то она вызывает боль точно так же, как и объективно возбужденная. Если мы, сидя с закрытыми глазами на вертящемся маховом стуле, переживаем последовательное изображение (Nachbild), то мы чувствуем себя действительно движущимися. Аналогично при обонянии и вкусе. Здесь взрослый ведет себя еще так, как дитя, всю жизнь. Пресловутая психическая метаморфоза стало быть касается только высших чувств (Sinn), а при низших остается первоначальная форма единства у всех людей. Аналогично наглядным представлениям отсутствуют также и негативные последовательные образы (negative Nachbilder) в области низших чувств. Где впечатление длится дольше стимула, там оно имеет позитивный характер, и мы принимаем это последствие за «действительное». Если запахи держатся часами, то воображают, что в носу есть еще частицы объективно существующей пахнущей материи (которые конечно вследствие утомления давно уже стали бы необоняемы), и если эти запахи чувствуются на следующий день, на второй, третий день, спустя неделю, то они так реально возвращаются, что всякий раз ищут источника их»49. Характерно, что и в области обоняния «произвольная эйдетическая репродукция» сравнительно трудна, но непроизвольная, спонтанная имеет место гораздо чаще, чем в случаях других органов чувств.

Таким образом отрицание аффективной памяти основывалось на том, что хотели видеть ее подобной зрительной памяти и, наталкиваясь на своеобразие ее, отрицали ее как память. Генетическая психология отсутствовала полностью в подобных исследованиях. Рибо ближе стоял к истине, отстаивая существование аффективной памяти. Этому сильно содействовало явно выраженное у него стремление опираться на физиологию и психопатологию. Физиологические данные внушали ему, что маловероятно ограничивать реинтеграцию только определенными областями. Психопатология, богатая фактами из деятельности более низких нервных уровней сравнительно с нормой давала ему известный фактический материал, и он правильно полагался в данной проблеме больше на патологию, чем на эксперимент. Он понимал уже, хотя и недостаточно сильно подчеркивал, что спонтанная репродукция чувства — наиболее частая, а произвольная репродукция их неосуществима в очень многих случаях.

Но Рибо еще не сознавал второй специфической особенности репродукции чувств — того, что репродуцированное чувство несравненно меньше отличается от первичного, чем зрительный образ от зрительного восприятия. Его трудно обвинять за это: еще не была детально исследована обонятельная память, еще не были открыты эйдетические явления, еще физиологические и невроло-

гические представления, особенно что касается чувств (не говоря уже об эйдетизме), были довольно примитивными сравнительно с современными. Но эта ошибка Рибо делает из всех приводимых им аргументов психологические аргументы самыми слабыми, особенно там, где он старается отстоять, что отнесение к прошлому — существенный признак памяти. Это бесспорно, поскольку речь идет о зрительных образах, и потому еще Аристотель, считавший, что предмет памяти — образ, очень подчеркнул это. Но этого не бывает сплошь и рядом не только при репродукции чувств, но и при обонятельной памяти, где, как это демонстрирует богатый материал, собранный Геннингом, субъект репродуцированный запах чего-либо, что он обонял когда-то, считает настолько реальным, что даже ищет источника его. Отношение к репродуцированному как не к настоящему выступает на более высоком уровне сознания.

IV. ПОЯВЛЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

1. Постановка исследования. Хотя, как показывает история проблемы памяти, память была осознана в начале психологии как обладание образами, т. е. как образная память, и поэтому была очень сближена с воображением (phantasia, imaginatio), тем не менее именно образная память и до сегодняшнего дня изучена недостаточно. Не образы, а представления, понимаемые как идеи (idées, ideas, Ideen), в конечном счете как смысл, — вот что в сущности имелось главным образом в виду при изучении памяти эмпирической психологией. Экспериментальные же исследования памяти ушли еще дальше: в огромном большинстве случаев они занимались изучением памяти речевых (бессмысленные слоги) и мануальных движений. Конечно проблема образа не могла быть игнорируема психологией. За последние полвека вышло множество работ об образах, причем среди этих работ, начиная с работ Голтона и Шарко и кончая современными исследованиями наглядных образов, есть немало работ огромного значения для науки. Но, и это очень характерно, проблема образов в этих работах все больше и больше обособлялась от проблемы памяти. Проблема образной памяти как таковая оставалась в тени.

Легче всего объяснить это тем, что у людей (по крайней мере взрослых и нормальных) память преимущественно не образная. У нас имеются, если можно так выразиться, лишь остатки образной памяти. Наши воспоминания — обычно рассказы, и только лишь иногда в воспоминания вмешиваются образы.

Тем не менее исследование образной памяти, каким бы трудным и даже искусственным с первого взгляда оно ни казалось, обещает много дать. С генетической точки зрения довольно правдоподобно предположение, что образная память является результатом деятельности более древней нервной организации, чем память-рассказ. Но исследование генетически более примитивного явления нередко дает возможность лучше понять то, что является на высшей ступени развития гораздо более сложным и потому гораздо более трудным для познания. Мы приступаем к исследованию образной памяти в надежде, что при изучении ее мы легче разрешим ряд очень важных вопросов в проблеме памяти.

Так как человек по преимуществу оптическое животное, то в своем исследовании я имел дело с зрительными образами: когда мы говорим об образной памяти человека, мы имеем в виду зрительные образы. Другие образы сравнительно реже фигурируют в воспоминаниях человека.

Два вопроса являются основными В моем исследовании. Первый: при каких условиях зрительные образы легче всего возникают? Второй: как протекают зрительные образы? Первый вопрос — вопрос о зрительно-образном, так сказать, первичном воспоминании. Второй имеет в виду решить проблему ассоциаций по отношению к зрительным образам.
2. Зрительно-образное воспоминание. Я просил испытуемых получить в своем сознании какой-нибудь образ. На это давалось две минуты. После этого я просил их написать (во избежание всяких воздействий, возможных при устном вопросе), какой образ они представили и насколько он был ярок. Если возникало за это время несколько образов, то испытуемый должен был написать о самом ярком из них. В обработку поступили только те ответы, которые определяли описываемый образ как «очень яркий». Всего таких ответов оказалось 30. Испытуемые были студенты и аспиранты, преимущественно 25—35 лет. Из 12 мужчин только у одного оказался очень яркий образ, а 9 совсем не смогли вызвать образа. Из 53 женщин 29 получили «очень яркие» образы.
Анализ дал возможность данные испытуемых представить в виде следующей таблицы:

Основные компоненты образа	Эмоции
1. Ясный весенний день. Зелень. Река.	«Дышу полной грудью».
2. Зимний снежный вечер. Поле. Заблудилась.	«Было страшно, тоскливо и одиноко».
3. Картина Репина «Грозный убивает сына».	«Сильная эмоция — сперва ужас».
4. «Больная мать. Она почти умирала».	«Я боялась, что она умрет».
5. «Сынишка. Одной рукой обнял меня, другой мужа и тянет поцеловаться. Хорошая его рожица».	«Ссора — примирение».
6. Красная роза	Художественная эмоция.
7. «Солнечный день. Река переливается разноцветными волнами. Я в реке купаюсь».	«Я со смехом начинаю тонуть».
8. «Море необыкновенно тихо и блестяще».	«Радость»,
9. «Лес, идем с ребятами за ягодами. Гром, ветер...Вдруг посветлело».	«Страшно... Стало очень весело».
10. «В луже крови лежит раздавленный автомобилем мальчик».	Эмоциональное потрясение.
11. Картина Куинджи «Малороссийская хата».	Художественная эмоция.
12. Лунная ночь в зимний вечер. Освещенный снег.	«Я не одна» (любовная эмоция).
13. Закат солнца в сосновой роще.	Любовная эмоция. «Слезы катятся у меня».
14. На испытуемую набросилась женщина с ножом.	Сильная эмоция.
13. Вечер в педагогическом кружке.	«Это было очень бодрое дело».

Основные компоненты образа
Эмоции
16. «Моя младшая сестра».
«Моя любовь к ней, радость».
17. Море, яркое солнце, «все это на фоне быстроты, живости и чистоты красок».
«Я бросаюсь с замиранием сердца в холодную воду».
18. «Пожар. В стеклянной двери сильно отражается зарево пожара».
Страх.
19. «В процессии похорон Баумана... факелы».
Сильное эмоциональное возбуждение.
20. Лицо матери мертвой в гробу.
Горе.
21. Молодая березка в парке.
Художественная эмоция.
Грусть.
22. Заходящее солнце озаряет яркокрасными лучами гладкую ленту шоссе. Речка. Небольшой лес.
Художественная эмоция.
23. Ветка вишни с белыми мокрыми цветами, с них капает вода.
«Вызывает грусть, чувство горя и что-то хорошее».
24. «Сзади море, впереди крутая гора», по которой взбираются. Вверху люди, «у них яркие лица, освещенные солнцем».
Радость победы над препятствием.
25. Налет бандитов на проезжающего крестьянина.
Страх, борьба, победа над ними.
26. Взбираемся по лестнице наверх в мукомольную смотреть солнечное затмение (было 4 года).
Страх.
27. Бегство.
Страх.
28. Лицо любимого человека — шевелюра, глаза.
Любовная эмоция
29. «Смуглый, с большими черными глазами ребенок».
Очень нравился.
30. «Я иду по узенькой лесной дорожке... Кедры...Большой пень. Около него свесилась красная малина».
«Небольшой страх».

Сразу бросается в глаза, что все приведенные образы — образы впечатлений, вызвавших в свое время сильную эмоцию, причем в 14 случаях из 30 это эмоции страха. Однако нельзя сказать, что эти образы-воспоминаня (все ответы были воспоминания) — образы исключительно или преимущественно неприятных впечатлений: образов приятных и неприятных впечатлений почти поровну. Обращает внимание некоторое количество образов неприятных сначала и приятных затем впечатлений. Не гоняясь пока за количеством обобщений, ограничимся одним: сравнительно легко и ярче всего появляются зрительные образы эмоционально сильных впечатлений.

Но обращает внимание но только это. Все образы можно подразделить на образы природы и образы людей. В образах природы замечается много света, блеска (солнце, вода) и цвета (осо-

бенно красного и — реже — голубого). Яркий образ природы — чаще всего светлый и даже красочный образ. Говоря об образах людей, испытуемые предпочитают термин «ясно вижу». Чаще всего это — любимое или испугавшее лицо. Трудно конечно решать, насколько можно доверить точности самонаблюдений испытуемых, насколько действительно эти образы — светлые, красочные и ясные. Поэтому ограничимся лишь так сформулированным выводом: сравнительно легко и ярче всего появляются зрительные образы ярких, блестящих и красочных впечатлений.

Таким образом легче и ярче всего появляются зрительные образы эмоционально сильных или блестящих и красочных впечатлений. Таков предварительный вывод на основании вышеописанного опыта.

Что эмоционально сильные впечатления дают зрительные образы, это подтверждается анализом первых воспоминаний детства. Давая их, опрошенные мною часто прибавляли: «ярко помню», «яркий образ», «воспоминание очень яркое», «мне всегда эта картина вспоминается очень живо и ярко», «вижу как сейчас» и т. п. Особенно подчеркивается это при описании очень сильных впечатлений, чаще всего сильно испугавших.

В книге Ж. Дюма «Troubles Mentaux et Troubles Nerveux de Guerre» собран из эпохи войны богатый материал, как в результате сильного эмоционального впечатления остается образ его: «Вот в палате госпиталя Гама в Туле солдат Шамо, журналист, постоянно, наклонясь над краем своей постели через лежащих товарищей, устремляет свой взгляд на угол палаты с беспокойным выражением. Я приближаюсь и спрашиваю: «На что ты смотришь, Шамо?» Нет ответа. Я безуспешно повторяю несколько раз. Шамо остается немым и неподвижным, как если бы мои слова, произносимые громким голосом, стучались в его мысль, не проникая туда. Я говорю тихо: «На что ты смотришь, Шамо?» Он отвечает в том же тоне: «Я наблюдаю неприятеля. — Ты видишь его? — Нет, я жду. — Что ты видишь? — Я вижу траншеи. — Что это за траншеи? — Траншеи большой первой линии, в начале леса. — А бошей видишь? — Нет. Совершенно не вижу. Я вижу лес (он смотрит внимательно), лес! лес!»50. Дюма приводит ряд подобных примеров. Больной видит галлюцинации, как бы сон на-яву. Все время он видит один и тот же сон, один и тот же образ. Это — образ той сцены, которая была последней, видимой им в момент заболевания (контузии, сотрясения мозга, эмоционального потрясения). «Его воспоминания там остановились», добавим от себя, и остались. Сильное эмоциональное потрясение, нередко дополненое физическим потрясением, имело в числе своих последствий следующее: то, что субъект видел в момент потрясения, он продолжает видеть дальше — дни, даже недели и больше. В иных случаях он видит как бы все время, в других лишь временами, например по ночам или когда он очень сильно возбужден чем-либо.

Полная противоположность этого, так сказать, застывшего видения, — то, что я находил в ответах некоторых тех своих испытуемых, чьи образы были не очень ярки, настолько даже не ярки, что трудно было даже разобрать, где тут воспоминание-образ, а где воспоминание-рассказ. Сначала я был склонен даже считать, что испытуемые не поняли инструкции и просто давали воспоминание, каким бы оно ни было. Однако, когда я выражал им свое сомнение, они энергично возражали: «Нет, это образ, я мысленно видел, видел это». «Но ведь вы рассказываете целое событие — вы плаваете, тонете, вас спасают. Разве это одна картина?» Но испытуемый, как это ни странно, склонен утверждать, что это именно так. На этом основании признаем, что это действительно образы, только очень динамичные.

Выше указывалось, что яркие образы дают также яркие (в зрительном смысле) впечатления: блеск, огонь, кровь и т. п. Из собственного опыта прибавим еще одно: очень долго созерцаемые мелкие, быстро движущиеся предметы, например насекомые. Когда я очень долго созерцаю множество бегающих на муравейнике муравьев, я вижу их бегающими много часов, и хотя я чрезвычайно мало способен иметь зрительные образы, — это те образы, которые я долгое время после могу иметь. Я попросил нескольких своих знакомых повторить этот опыт, и результаты были те же.

Но появление зрительно-образного воспоминания зависит не только от характера впечатления [1) эмоционально сильное, 2) зрительно яркое, 3) очень длительное и подвижное], но от состояния субъекта. Когда я начинал свои опыты по изучению зрительно-образной памяти, обстоятельства случайно так сложились, что я мог производить их только в 11-м часу вечера, причем мои испытуемые были очень уставшими. Помня со студенческих лет, что опыты над памятью требуют бодрого состояния испытуемых, я очень смущался этим. Но уже первые опыты приятно удивили меня: так легко возникали и протекали у испытуемых зрительные образы. Как увидим в следующем параграфе, это подсказало мне очень своеобразную технику ведения экспериментов по изучению течения зрительных образов, основанную на укладывании испытуемого с закрытыми глазами и, насколько возможно, с расслабленной мускулатурой на кушетку, как бы для дремания: это самая подходящая процедура для подобных опытов, и чем конечно в известных пределах более устал субъект, тем лучше идут опыты. Здесь кстати сообщить одно самонаблюдение. Я чрезвычайно мало способен к зрительным образам, но именно перед сном я максимально способен к ним. Поэтому я люблю, читая в постели роман, затем гасить лампу и представлять себе наглядно сцены из прочитанного, как бы мысленно таким образом иллюстрируя его.

Отсюда можно сделать вывод, что зрительные образы легче всего возникают у людей, когда их сознание находится на более низком уровне, чем при полном совершенном бодрствовании.

На это предположение наводит также следующий факт. Как по-

казал мой вышеописанный опыт, далеко не все испытуемые (только 30 из 65) смогли вызвать у себя яркий зрительный образ. Некоторые испытуемые, подобно мне, прямо заявляли, что обычно они совершенно неспособны вызывать у себя эти образы, но в то же время иногда непроизвольно эти образы могут возникать сами по себе. Опыт экспериментирования с вызыванием этих образов показал, что лучше всего это вызывание удается, если не напрягаться, а, наоборот, как бы пассивно отдаваться этим образам. Так или иначе, они легче возникают непроизвольно, чем произвольно.

На близость зрительных образов к более низкому, нервному уровню указывает и эмоциональная обусловленность их яркости. На это же указывает и констатируемый Геннингом факт, что «запах репродуцирует преимущественно оптические картины». В своей книге «Geruch» Геннинг пишет: «Мы стали перед твердо установленным фактом, который все вновь подтверждается многолетними опытами над запахом: запахи и оптический материал в повседневной жизни невероятно, чрезмерно сильно ассоциируются друг с другом».

И наконец еще одно доказательство того же положения. Можно принять, что, чем генетически примитивней переживание, тем легче определять его химически. Общеизвестно, как легко определять химически сон и элементарное чувство. Опиум делает счастливым, а алкоголь то веселым при опьянении, то угнетенным в состоянии похмелья. Что касается сложной умственной работы, то химическое влияние может быть только уничтожающим, а не положительно определяющим. Но образы сильно подвержены химическому воздействию: одни химические средства вызывают в изобилии зрительные образы, а другие (кальций), наоборот, даже эйдетиков делают неспособными иметь наглядные образы.

3. Постановка опытов по проблеме течения зрительных образов. Какова судьба возникшего образа? Чтобы выяснить этот вопрос, я произвел ряд опытов. Во время этих опытов испытуемый лежал на диване в максимально удобной позе так, чтобы не было напряжения, притом с закрытыми глазами (кроме первого момента во второй серии опытов). Практика показала, что именно в таком положении у испытуемого легче всего возникают образы. Сущность произведенных опытов состояла в том, что испытуемый подвергался действию определенного стимула, на который он должен был реагировать рядом зрительных образов. Стимулами были: 1) вкладывание в руку предмет, 2) показывание предмета, 3) конкретные слова (произносимые). В каждый сеанс предъявлялись последовательно по очереди пять стимулов одного и того же рода, т. е. только тактильные, или только оптические, или только словесно звуковые. Таким образом каждый испытуемый проходил три сеанса. Всех испытуемых было 10 (учителя и студенты — поровну мужчины и женщины), и следо-

вательно всего было произведено 150 опытов, но 50 из каждой серии.
Почему опыты были поставлены именно так? Так как образ — отражение объективного предмета, то существенно важно было проследить, как объект влияет на образ. Еще сравнительно недавно ряд экспериментаторов считал, что, только предъявляя оптические стимулы, они исследуют зрительные образы, причем-де всякий испытуемый на оптический стимул непременно реагирует зрительным образом. Мы знаем сейчас, что это не так. Можно и на неоптический стимул реагировать зрительным образом, и на оптический стимул — иным образом. Вот почему представилось нужным выяснить вопрос, как род стимула влияет на характер и течение вызванного им зрительного образа, так как уже a priori можно предположить, что здесь вероятно будут различия.
Если угодно, можно назвать предпринятое исследование экспериментальным исследованием так называемого образного мышления. Но вряд ли целесообразно вводить этот термин: во-первых, еще вопрос, имеет ли это так называемое образное мышление настолько общие черты с другими видами мышления, чтобы его принимать действительно за мышление; во-вторых, психология уже имеет подходящий термин («воображение») для обозначения оперирования с образами. Изучение течения зрительных образов есть изучение воображения, причем в интересах точности надо добавить, что речь идет о зрительном воображении, и притом не творческом, т. е. функционирующем без преднамеренно активного воздействия на эти образы воли испытуемого.
Когда у испытуемого появлялись зрительные образы, он тотчас же начинал отчитываться в них, и это отчитывание прерывалось или самим испытуемым, когда его образы, так сказать, истощались, или экспериментатором по истечении двух-трех минут с начала отчитывания. Могут возразить, что отчитывание во время течения образов могло влиять, но другого выхода не было, так как пробные опыты показали, что если испытуемый отчитывается после экспериментирования, то он забывает многие из своих образов примерно так же, как это бывает по отношению к сновидениям. Кроме того, по показаниям испытуемых, даже без такого отчитывания вслух, их образы обычно сопровождались мыслями («внутренними названиями», как выразился один из испытуемых), и стало быть значительного нарушения это отчитывание не вносило: ни один испытуемый не жаловался, что оно мешало ему. Отчитывание не прерывалось экспериментатором, который расспросы свои вел с каждым испытуемым лишь после окончания всех серий опытов над ним (во избежание внушения).
Так как все эти опыты в конечном счете демонстрировали сравнительно однообразно в общем один и тот же процесс в течении зрительных образов и так как очень важно выяснить по возможности все детали этого процесса, то я дам сначала детальный разбор результатов опытов над одним каким-нибудь испытуемым,

выбрав для этой цели такого, у которого образы были многочисленны (в этом случае легче рассмотреть процесс). После этого я перейду к обобщениям данных опытов над всеми испытуемыми.
4. Подробное описание опытов над испытуемой NN а) Раздражитель — знакомый осязаемый предмет. Испытуемая — учительница 30 лет. Вполне здоровая, также и в психологическом отношении, подвижная, эмоциональная, с живым зрительным воображением, немного рисует. В настоящее время собирается через месяц проделать повторную экскурсию в Крым и по Волге. Во время опыта лежит с закрытыми глазами на диване лицом к стене.
Инструкция: «Я положу вам в руку вещь, которую вы вероятно узнаете. Но дело не в этом. Когда вы ее получите в руку, то постарайтесь не сдвигая руки и не двигаясь, мысленно вызвать зрительные образы, какие только придут в голову. Потом вы об этом расскажете». В руку клались поочередно спичка, французский ключ от знакомой двери, монета, спичечная коробка, длинная полоска бумаги (20 × 6 см). Затем испытуемая с вещью в руке, не двигаясь, зрительно представляла, и когда у нее появлялись образы, начинала отчитываться, не будучи перебиваема. Пояснения брались только после опытов. Лишь вначале, перед первым опытом, испытуемая опрашивалась, нет ли у нее образов и если да, то какие.
Перехожу к описанию результатов.
До опыта — «образы природы, очень неясные, почти нет». Больше ничего о них не говорит.
1) Спичка. Все бывшие образы пропали. Ясно почувствовала горячее в руке. Вижу кухню. Какое-то лицо, неясно. Очень ясно белые зубы, нет, зубцы, на черном фоне. Темнеет. Стало совсем темно. Все.
2) Французский ключ. — Ясный образ ключа. Потом что-то вроде забора, очень неясно. Очень ясно коричневая дверь, от которой этот ключ. Неясно — голубое небо, река, встречный пароход, обрыв, узенькая дорожка в какую-то темноту. Тоннель. Темнеет. Темнота. Все.
3) Монета. — Круглая кошачья морда, уши торчат; нет, это — морда какого-то другого зверя, неприятные два глаза. Какой-то столб из двух ушей, к нему треугольники, один над другим. Превращается в дерево с круглой кроной; вижу ясно корни его, точно у выкопанного дерева. Все это вижу на медно-коричневом фоне. Светлеет. Краснеет. Какое-то животное — круглая морда, громадные уши. Все очень неясно. Темнеет. Голубеет. Темнеет. Все. Конец.
4) Спичечная коробка. — Смутный образ белого фартука и женщины (женщина вроде тех, которых рисуют на коробке из-под какао). Женщина на коробке из-под соды. Магазин и прилавок, где продают спички, все очень ясно, особенно коробка.
5) Полоска бумаги. — Белый цвет, очень ясно. Из белого выступает труба, желтая, медная. Звездочка. Превращается

во что-то пушистое. Это — птица. Не то ворон, не то галка. Из черной стала серая птица. Чайка. Водное пространство. Вода серебрится. Светлая, яркая, белая полоса на воде. Все сливается в серебро. Белый свет.

Так как последние опыты богаче содержанием, то анализ начнем с них. В опыте № 5 испытуемая на вложение в руку бумажной полоски сразу реагирует образом «белого цвета». Это первоначально бесформенное «белое» является исходным материалом последующих трансформаций. «Белый цвет» оформляется («из белого выступает») в трубу (зрительно-образный аналог осязаемой длинной полоски) желтого цвета (самого светлого из цветов), постепенно темнеющего, и в звездочку, быстро трансформирующуюся в пушистое (снова «белый цвет»). Это «пушистое» оформляется далее так же быстро в птичку, не то черную (ворон), не то серую (галка), а в конце концов беловатую (чайка), которая видится в комплексной ситуации («водное пространство»). Это «бесцветное» пространство светлеет («вода серебрится») и в нем оформляется «светлая, яркая, белая полоса». В заключение, «все сливается в серебро», и снова «белый цвет». В сущности мы имеем ряд трансформаций «белого» и «полоски»: белый цвет трансформируется в желтый и светлый, которые в свою очередь последовательно трансформируются в белый, черный, серый, беловатый, серый — бесцветный, серебристый, светлый, белый, серебряный, белый. Длинная бумажная полоска фигурирует то как бесформенное цветное («белый цвет», «пушистое», «водное пространство»), то как труба или белая полоса на воде. Образы нашей испытуемой представляют собой различные комбинации трансформации цвета и формы прототипа (первичного образа). Весь процесс течения зрительных образов может быть назван процессом трансформации первичного образа.

В опыте № 4 мы имеем все время трансформацию «коробки»: коробка из-под какао, коробка из-под соды, спичечные коробки. Но наряду с трансформацией мы имеем и другие процессы. Один из них — реинтеграция: коробка видится вместе с нарисованной на ней женщиной или вместе с магазином, где продаются спички. Второй — персеверация: образ женщины на коробке из-под какао видится и на коробке из-под соды, хотя в действительности на последней коробке не бывает этой картинки.

Переходим к опыту № 3 (монета). Здесь все время происходит трансформация «круглого» (кошачья морда, звериная морда, глаза, крона дерева, морда) и «треугольного» (кошачьи уши, столб из ушей, треугольники, громадные уши). Кстати испытуемая потом пояснила, что, ощупывая монету, она получила впечатление не только круглой монеты, но и чего-то треугольного на поверхности ее. Интересна трансформация цветов: бледнокоричневый (воображаемый цвет медной монеты), светлокоричневый, красный, зеленый, голубой, темный. С одной стороны, происходит то посветление, то потемнение данного цвета, а с другой стороны, переход в контрастирующий.

Уже в этом опыте (№ 3) имеем конечный исход образа в темноту: «Темнеет. Все. Конец». Этот исход в темноту — своеобразная «естественная» смерть образа, типичная для первых, начальных опытов, в которых образующая образы деятельность, так сказать, еще не разошлась, и образы немногочисленны и неясны. Связь некоторых из них с раздражителями понятна (спичка — кухня, белые зубы; ключ — дверь). Но процесс трансформации образов почти не развивается. Зато большую роль, чем в вышеописанных опытах (№ 3—5), играет реинтеграция всей ситуации в целом (кухня; дверь). Кроме того в опыте № 2 врезаются неясные образы речного пейзажа и горного тоннеля, не стоящие в связи с наличным раздражителем, но связанные, по словам испытуемой, с бывшими у нее до опыта мыслями о Волге и Крыме.

Таким образом уже в этой серии опытов мы столкнулись как с основным явлением — с трансформацией формы и цвета первичного образа, осложняемой порою реинтеграцией комплексной ситуации и персеверациями. Кроме того мы видим «исход в темноту» образов и врывание другого рода прежде (до опыта) бывших образов.

б) Раздражитель — конкретное слово. В предыдущей серии опытов испытуемая была все время под действием находящегося в ее руке осязаемого предмета. Следующая серия опытов проходила без всякого предметного раздражителя. Таковым были конкретные слова: перчатка, дверь, кошелек, бумажка, палочка. Обстановка опытов в общем была прежней. Отметим только, что испытуемая до опытов очень настаивала, чтобы во время опытов не было у нее никакого напряжения, так как тогда образы возникали с большим трудом.

В день опытов испытуемая видела демонстрацию. Непосредственно перед опытом у нее были следующие образы: белый цвет, два зеленых зубца вроде вил, белый флаг на зеленой палке (на демонстрации в действительности были красные флаги). Даю результаты опытов:

1) Перчатка. — Неясный коричневый цвет, коричневое знамя. Темнеет. Все.

2) Дверь. — Белая дверь, около двери в углу темное знамя на палке. На ней серый четырехугольник. Опущенное знамя. Появляется голубое пятно. Желтая полоса. Темнеет. Красный круг. Все.

3) Кошелек. — Серый старый кошелек. Худой старик, с бородкой клином, в черной ермолке. Кошелек превращается в какую-то морду. Неясный образ — вроде темного фартука. Свернутый зонтик — вроде палок. Масса палок. Масса голов народа (все темное). Вижу (неясно) лица. Черная шляпа с красным пятном. Баба в черном платке. Все путается — город, лес, елка, дома. Колесо крутится.

4) Бумажка. — Длинная, белая полоска. Труба (из нее дым идет). Изба с дымом из трубы. Белая украинская изба. Белые украинские избы. Астрахань. Малый морской пароход с трубой

и мачтами. Масса народу в Астрахани, сплошь. Обрыв на реке. Темнеет. Еле ясная прямая дорожка. Железнодорожное полотно. Поезд. Тоннель. Мост. Два столба. Столбы. Лесок. Серый баран с замечательными серыми рогами, а рядом неясно мохнатое чудище прячется за кустом. Лиловая туча падает сверху и закрывает чудище. Темнеет. Получилась ночь. Звезды движутся, так что получаются круги на небе от их движений — дорога и сетки от движения кругов. Шар — воздушный. На нем сбоку крест. Перекладина креста ползет вниз. Получились два столба, а внизу перекладина. Она становится все шире. Получаются пол и две стены. Вроде сцены. Зеленая занавеска. Вместо декорации — наляпанные розовые лепестки. Вместо выходной двери — треугольник, вершиной вниз. Мимо него ползут вниз желтые, легкие коробки. Из них автомобили. Вниз, вниз. Колесо автомобиля. Автомобиль. Все время на заднем фоне сцены, за нею. Красные флаги на столбах, их много...

5. Палочка. — Палочка дирижера. Знакомый учитель пения. Композитор. Композитор Глинка (виденный портрет его в шапочке). Римлянин вроде Нерона. Римский дворец, идет римлянин в белой одежде. Сад, масса роз, аллея, там масса воинов. Громадное дерево, на нем узор елочных палочек. Вылетают белые птицы оттуда. Это стреляют. Это пули. Я вижу, как они летят, как они, вернее след их, — белые, блестят. Они превращаются в звериные лапы с белыми когтями. Последние ползут, расплываются. Это дорога. Дорога превращается в водопад на Кавказе...

Процесс трансформации первичного образа, образа-прототипа ясен во всех опытах. Так как, подобно предыдущей серии опытов, удачней в смысле многочисленности образов проходят последние опыты, то начнем с них. В опыте № 5 «палочка» трансформируется в палочку дирижера, аллею деревьев, дерево с елочными палочками, белый след пуль, лапу с когтями, дорогу, водопад (объяснение см. ниже). В опыте № 4 трансформации полоски: полоска, труба, дым, белые стены. Астрахань (подъезжающего к ней поражает вид белых домов), трубы парохода, река, дорожка, полоска, мост, дорога на небе, перекладина, пол.

Но в этот ряд образов от данного раздражителя врывается ряд образов от дневных впечатлений (демонстрация). В результате в каждом опыте мы имеем сменяющие друг друга два ряда трансформаций — образы от данного раздражителя и образы от дневной демонстрации. Так, в опыте № 4 имеем, кроме трансформаций полоски, ряд: масса народу, зеленые занавески (красные флаги), розовые лепестки, дверь — перевернутый треугольник, по словам испытуемой, напоминающий платки на головах демонстрировавших женщин, колесо автомобиля, автомобиль, красные флага на столбах. Этот ряд не что иное, как фрагменты дневных зрительных впечатлений, и не есть единый трансформирующий ряд. Но в опыте № 5 мы имеем уже настоящую трансформацию этого второго ряда: дирижер на демонстрации, портрет Глинки в шапочке и халате, давший, посветлев, римлянина «вроде Неро-

на» в реинтегрированной привычной ситуации (римский дворец, сад, розы). Этот параллелизм опытов двух различных происхож дений очень явно выступает в простом содержании первых опытов: номер 1 дал «коричневый цвет» (цвет перчатки) и коричневое знамя (+ образ от демонстрации), № 2 дал белую дверь (раздражитель «дверь») и знамя — четырехугольник (демонстрация). Так происходит сосуществование или смена образа от данного раздражителя и образов от прежних дневных впечатлений.

Второе, что очень поучительно в данной серии опытов, — это движение образов или элементов их. Испытуемая отмечает тенденцию образов закругляться, благодаря чему прямолинейные предметы трансформируются в округленные (палка — в лапы и когти), а то просто в круги, шары и т. п. Кроме того она констатирует в своих образах при движении фигур чаще всего движение вниз (например перекладина сползает вниз) или слева направо. В результате подобных движений и связанных с ними трансформаций возникают новые образы, начиная с элементарных (круги, звездочки, превращение опустившейся перекладины в пол и т. п.) и кончая более сложными: «столб стал вращаться и закручиваться, и так получились рога барана. Я это ясно видела».

Как ни странно, можно говорить об иллюзиях движения в области зрительных образов. В данной серии опытов это — или «поза движения» (испытуемая видит стоящего «идущего» римлянина), или последовательное темнение ряда однородных предметов, например кругов, благодаря чему получается видимость движения.

В заключение разберем для примера результаты опыта № 4 как наиболее сложного для анализа. В начале опыта длинная, белая полоска трансформируется последовательно в трубу с дымом, белую избу, белые избы, белые дома, трубу. Трансформация осложняется мультипликацией (много белых изб, много белых домов) и реинтеграцией комплексной ситуации (пароход). Реинтеграция дает возможность возникнуть образам от дневных впечатлений (масса народу). Дальше исход в темноту (темнеет). После этого ряд трансформаций полоски начинается снова: прямая дорога, железнодорожное полотно, поезд, видимый сбоку мост. Трансформация опять осложняется реинтеграцией (полотно, столбы и лесок около него), причем возникают снова образы от дневных впечатлений (столбы — палки). Из закручивания столба получаются рога барана, который как бы дублируется (мохнатое чудовище). Снова исход в темноту. Дальше звезды, круга, шар, дорога, крест, из которого получаются столбы, стены, сползшая вниз перекладина, половицы. Мы имеем различные трансформации столбов — палок, к которым присоединяются зеленые занавески с розовыми лепестками (красные флаги с рисунками и буквами на них?), треугольники вершинами вниз (платки демонстранток?), коробки — автомобили, красные флаги на столбах (палках). Образы от дневных впечатлений оттеснили образы

от теперешнего раздражителя. Обратим кстати внимание на склонность некоторых образов мультиплицироваться.

в) Раздражитель — показываемый предмет. Эта серия опытов состояла в том, что лежащей спокойно на диване испытуемой показывался (при обычном дневном свете, на расстоянии полутора метров) какой-нибудь предмет; испытуемая смотрела на него полминуты, а потом отдавалась течению образов с закрытыми глазами. Были показаны длинная сиреневая прямоугольная коробка, длинные ножницы, белые часы на кожаном браслете, счеты, цветная картина, дающая полярный пейзаж (голубое море, желтый берег с снегами). Даю результаты опытов:

1. Длинная сиреневая коробка. — Черные, желтые полосы. Темная занавеска, шкаф, окно, тополь за окном. Бульвар, желтая дорожка, деревья. Этот образ перерезывается черным углом, из которого, как из своей части, образуется перед фотографического аппарата. Воспроизводится сцена в фотографии, где неделю назад снималась. Черный цвет, черный шар. Лиловый шар, кружится. Все желтеет. Зеленеет. Опять желтеет. Желтая масса и яркожелтое пятно. Серый мячик, кружится, подлетает вверх. Один мячик летит вверх, другой вниз. Много мячей, несколько рядов их. Букет сирени.

2. Ножницы. — Блестящий снег, зима, люди идут, пряча лицо, мальчик катится на каких-то длинных, серых палках. Масса блесков голубовато-серебристых. Из них получается фонтан. Полосы блеска. Блещет и исчезает лиловый цвет. Лиловая полоса. Сиреневая кисейная занавеска. Проникающий через нее свет солнца (?), да, солнце. От этого солнца идут полосы света. Темнеет. Лучи из солнца постепенно превращаются в длинные, распущенные волосы и женскую голову. Офелия над ручьем.

3. Светлые часы с белым циферблатом на сером браслете. — Серый полукруг, серп с ручкой, все белеет. Свернутые полураскрытые полосы чего-то, светлые и темные края. Полосы всевозможных оттенков. Дальше до конца опыта «глаза разделились»: в левом — светлее, в правом — темнее. Много полукругов, серые мячи. В правом глазу лиловый цвет, в левом желтый. Солнце, в правом темнота. Крестьянин пашет, плуг металлический ярко блещет. Лошадь серая. Большая рыба в стальной чешуе.

4. Перед опытом испытуемая несколько взволнована случайной небольшой неприятностью. На показанные счеты не реагирует: «темнота».

5. Полярный вид голубого моря и желтого каменистого берега, покрытого снегом. Голубая вода, лиловый берег, бело-голубоватый снег, серо-голубые горы в тумане, чайка — неясно. Ножницы. Странный аэроплан — колеса, раздвинутые крылья. Металлический молот бьет по раскаленному металлу. Красно-стальные брызги. Река, «радуга» (лиловый — желтый — зеленый — красный), цветные пятна.

Было бы утомительным повторением для читателя снова просматривать трансформации образов раздражителя во всех этих опытах. Тому, кто следил за предыдущим изложением, дело более или менее ясно. Так например в опыте № 1 достаточно понятен ряд: длинная коробка — полосы — занавеска — шкаф — окно — длинная перспектива бульвара — прямая дорожка — перед длинной гармоники фотографического аппарата — шар — мячи — круглый букет сирени.
Еще до этой серии опытов, во время второго сеанса испытуемая, очень воодушевленная, сама по своей инициативе под впечатлением виденных ею образов разразилась следующими словами: «Я никогда раньше не представляла себе, что глаз до такой степени восприимчив. Это поразительно что такое. Он запечатлевает чуть ли не решительно все, что видит, хотя бы я этого не замечала. Получается вроде массы фотографий, и нужен только подходящий случай, чтобы они ожили». Психологу конечно нет нужды доказывать эту поразительную восприимчивость глаза. Речь идет лишь о том, чтобы выяснить, как эта восприимчивость, эта фотографии подобная память глаза влияет на ход образов субъекта.
Для этой цели обратимся к опыту № 2 (ножницы). Блеск ножниц дал образы в знакомом для испытуемой комплексе. Образы длинных, серых палок, серебристых блесков, брызг воды, полос блесков явно происходят от ножниц. Но дальше врываются образы предыдущего опыта (сиреневая коробка): лиловая полоса, сиреневая занавеска. Но здесь благодаря реинтеграции вновь начинают фигурировать образы, происходящие от ножниц: полосы блестящего света, солнечные лучи. Обратимся к опыту № 3: светлый металлический ободок часов со свешивающимся серым браслетом трансформируется в серый полукруг, серп с ручкой, полураскрытые полосы, полукруги, серые мячи, но из опыта № 1 врывается лиловая полоса, а опыт № 2 подкрепляет и усиливает металлические образы данного опыта (металлический плуг, серая лошадь, стальная чешуя рыбы). Также и в опыте № 5 врываются образы «лилового» и «металлического». Но ярче всего выступила эта фотографическая способность глаз в ее действии на образы в одном предварительном опыте. Дело в том, что сначала эти опыты были задуманы быть проводимыми в темноте. Эта затея была сразу же оставлена, так как ведь важно выяснить, как влияет виденное при дневном свете в обычной обстановке. Но все же один опыт был произведен в темноте: при внезапном освещении была показана (11/2 мин.) катушка от радио, и затем свет снова погас. Однако, по моей неловкости, через ширму из соседней комнаты прошла слабая полоска света, которую испытуемая увидела уже в темноте перед закрытием глаз. Результат: «Радиокатушка, внутри нее шар. Металлические полосы, ленты. На конце лент шарики. На лентах качаются ребята. Вроде гигантских шагов. Масса лент с ребятами — штук 20. Вверх — вниз, вверх — вниз». Процесс трансформации катушки и полосы света ясен.

Поражает, как мимолетное оптическое впечатление оказывает такое большое влияние на содержание последующих образов.
Я подробно остановился на анализе опытов с этой испытуемой, так как она была из всех испытуемых наиболее подходящей в отношении богатства и определенности, ясности образов. Тем самым опыты с ней дают возможность полнее и ярче видеть процесс трансформации образов. Но самый этот процесс в основном один и тот же у всех испытуемых. Опыты с другими лишь дали возможность тверже убедиться в этом и полнее, более всесторонне понять этот процесс. Поэтому нет нужды описывать данные опытов с каждым испытуемым, так как это значило бы без числа повторяться. Целесообразнее перейти к обобщениям из этих опытов.
5. Течение зрительных образов. Все испытуемые определенно утверждали, что они видят образы. Я думаю, что этот термин надо сохранить: представление зрительных образов есть видение их.
Но все испытуемые столь же единодушно подчеркивали, что «это — своеобразное видение», «не так, как я вижу на самом деле», «это — вроде как видишь во сне» и т. п. Мне кажется, надо принять и это ограничение: представление зрительных образов есть своеобразное видение их, отличное от видения реальных предметов.
Так как физиология этого своеобразного видения еще не изучена, я попытаюсь дать только психологическую характеристику его.
Все испытуемые, характеризующее свои образы, определяли их обязательно в отношении ясности и устойчивости. Ясность характеризовалась чаще всего как отчетливое видение, несравненно реже — как рельефность. Последнюю один испытуемый описывает так: «Трансформирующийся образ становится выпуклым, на нем намечается самая близкая ко мне точка, дающая ту или другую сравнительно реальную фигуру, а остальная часть образа расплывается, темнеет и исчезает». Неясность отожествлялась испытуемым с темнотой образа. Таким образом за редким исключением имеет место нестереоскопическое зрение, т. е. видение не предметов, а картин. Кстати сказать, термин «картина» обычен у испытуемых. Но это нестереоскопическое видение — видение картин различной степени ясности. У одного и в одних случаях это — ясная картина в красках; у другого или в других случаях это — ясная картина, но бесцветная; наконец иногда это — неясная бесцветная картина, вернее уже не картина, а схема.
При этом надо очень сильно подчеркнуть, что если под картиной-образом понимать копию всего какого-нибудь предмета, то ясность распределяется неравномерно: одни части предмета могут быть очень ясны, а другие совершенно неясны. Мне кажется, удачней всего сравнивать образ со снимком-позитивом, который удается зафиксировать не всегда удачно, так, что это иногда — ясный снимок, иногда на нём ничего не разберешь, так как он почти

совсем потемнел, а иногда он зафиксирован очень неравномерно. Ясность зрительного образа — это как бы различная степень закрепления посредством фиксажа позитива. В первом параграфе этой главы уже был разобран вопрос, при каких условиях образ выходит наиболее ясным, т. е. что, если можно так выразиться, играет роль фиксажа. С одной стороны, те же объективные условия, причины, как это бывает и при фотографировании: ясность оригинала-впечатления и время, продолжительность его действия на глаз. Но, с другой стороны, это — и субъективные условия: степень и характер эмоционального возбуждения во время получения впечатления-оригинала. Сильное нервное возбуждение, если продолжать сравнение с фотографией, делает нашу светочувствительную пленку пленкой лучшего качества в отношении отображения.

Но сравнение с фотографией в одном отношении хромает: фотография мертва, а зрительный образ жив. Как выше было сказано, все испытуемые, характеризуя свои образы, говорили о степени не только ясности, но и устойчивости их. Под устойчивостью они понимали продолжительность существования данного образа без изменения. Мы видим из материала Дюма, что в патологических случаях, вызвавших сильное нервное потрясение, эта продолжительность может быть очень долгой. Но в обычных условиях, наоборот, она очень малая. В моих опытах она чаще всего была такой, что испытуемый, сравнительно медленно говоря, успевал называть эти образы, почти не делая однако пауз. Но в отдельных случаях эта продолжительность варьировала, хотя не очень значительно, скорее в сторону укорочения ее. Таким образом в отличие от застывшей фотографии зрительный образ обычно все время изменяется. Как и отчего?

Когда я подыскивал испытуемых для своих опытов, то оказалось, что не всякий годился: у некоторых почти не возникало никаких зрительных образов. Вместо последних у них фигурировали слова (мысленные названия). Поэтому их тип можно было бы назвать словесным. Но из опросов выяснилось, что дело не только во внутренней речи. Эти субъекты обычно указывали на позывы к движениям, мускульным напряжениям: «захотелось сжаться», «сильно напрягал кисть» и т. п. Пожалуй лучше назвать этот тип более широко — моторным типом: на раздражение он реагирует не зрительным образом, а мускульным напряжением, иногда движением, почти всегда внутренним произношением слов. Повидимому между предрасположением, к реагированию зрительными образами и к реагированию мускульной гипертонией и кинезом корреляция отрицательная.

Но и предрасположенные к зрительным образам испытуемые требовали, одни в большей степени, другие в меньшей, отсутствия мускульного напряжения. Некоторые даже настаивали, чтобы экспериментатор сидел близко: «иначе приходится напрягать голос, а это мешает». Все указывали, что образы легче возникают, если лежать в очень удобной позе, в состоянии некото-

рого расслабления мускулов. Так же вредно влияло даже малейшее волнение, неприятность. Наконец все испытуемые указывали на необходимость тишины: даже экспериментатор, по их мнению, должен говорить возможно меньше и тише. Таким образом основное условие, благоприятствующее возникновению и течению зрительных образов, — мускульное расслабление, спокойствие и тишина.

Общеизвестная в жизни противоположность между созерцательностью и деятельностью ясно проявляется по отношению к образам противоположностью между мускульной И оптической реакцией. Движение и образы — антагонисты: даже у «лучших» испытуемых небольшое движение во время опытов могло аннулировать их образы. Возможно, что уничтожающее действие сильных и резких звуков на зрительные образы объясняется тем, что вследствие своеобразия ушного аппарата они производят не только акустическое, но и моторное действие на организм. Также все испытуемые подчеркивали до известной степени автоматическое возникновение образов и свою пассивность при этом: «Лучше не стараться вызывать их, иначе хуже будет». «Надо просто закрыть глаза и ждать: они сами придут». «Усилие, напряжение только мешает», «единственная подготовка — вызвать у себя созерцательное настроение» и т. д. Интересно, что даже испытуемые моторного типа, которым в эксперименте не удавалось вызвать образы, указывали, только еще резче подчеркивая, что эти образы, если появляются у них, то обычно непроизвольно и легче всего во время глубокого и спокойного отдыха после большого утомления.

В сущности все только что сказанное лишь подтверждает в экспериментальной обстановке тот общеизвестный факт, что у людей зрительные образы легче всего возникают, когда они близки к сонному состоянию. Наоборот, в повседневной деятельной жизни образы мало фигурируют, тогда как во сне так обычны сновидения.

Итак вопрос, что благоприятствует течению образов, выяснен. Но что регулирует это течение? Оказалось, что у всех испытуемых чувство регулировало течение их: при появлении неприятных образов испытуемый открытием глаз или движением тела избавляется от них, и так получается следовательно отбор приятных или индиферентных образов. Вспомним, что и во время сна от неприятных снов обычно просыпаются. Я объясняю это тем, что неприятные переживания вызывают мускульную гипертонию и кинез, т. е. то, что аннулирующе влияет на образы.

Легко представить, что получается в жизни в результате такого регулирования течения образов чувством, особенно если вспомнить, что легче всего большей частью возникают сами по себе, без внешнего стимулирования, образы неприятных впечатлений. В предыдущих главах было уже выяснено, как важно для самосохранения помнить неприятное. Но для самосохранения важно

не просто помнить неприятное, но не задерживаться на нем, итти от него.
Из наших опытов можно заключить, что под влиянием чувства образы имеют тенденцию протекать в приятном или индиферентном направлении. В результате проходится путь от образа, причиненного неприятным впечатлением, к приятным или неприятным образам. Так в воображении разрешается жизненно важная проблема преодоления неприятного, и в этом смысле можно сказать, что воображение работает сообразно интересам. Можно сделать вывод: образы отражают действительность и протекают сообразно интересам.
Вышеописанное регулирование течения образов чувствами легко объясняет, почему течение образов нередко принимает характер мечты-желания. Так бывает то и дело в повседневной жизни. Так было и в наших опытах с N. N.: мы видим появление мечтаний об экскурсиях. В опытах с другими испытуемыми также наблюдалось проникновение их мечтаний-желаний о покупках, театре и т. п. Вспомним, что и сновидения нередко интерпретируются также, как мечты-желания (особенно несложные сновидения детей, как это показал Фрейд и как это подтверждалось многократно последующими исследователями).
Но в чем состоит самое течение зрительных образов? Нередко испытуемые сравнивают его с мультипликационным процессом. Первичный образ, появившись, не существовал мало-мальски долгое время без изменения: одни части его тускнели, другие яснели, постепенно изменялась форма, например округлялась, несколько расширялась и т. д. Иногда менялось положение, например становилось более горизонтальным. В результате получается новый образ, в котором обычно нетрудно узнать изменение старого образа: точнее, это тот же образ, только изменившийся. В ряде случаев имеет место наряду с новым образом и персеверация старого. В небольшом количестве случаев мультипликация происходит совсем просто: данный образ множится себе подобными. Обыкновенно такая простая мультипликация бывает лишь при простых образах — кругах, полосах и т. п.
Условимся называть процесс изменения образа трансформацией. Вот пример такого процесса транформации:
Оптический стимул «палочка». — Образы: деревянный шомпол; копье летит к дереву, лес, река, на реке плот из палок; свайные постройки.
В сущности шомпол, копье, дерево, лес, река, плот из палок, свайные постройки, все это — последовательные трансформации «палочки». Палочка — деревянный шомпол, здесь трансформация очень ясна. Но дальше трансформация осложняется персеверацией и изменением положения одного образа из вертикального скорее в горизонтальное (копье, летит к — дереву). Дальше осложняется трансформация мультипликацией (лес — деревья), причем трансформируется, еще более принимая горизонтальное положение и (особенно) расширяясь, становясь широким, и вто-

рой образ (копье — река). Дальнейшая мультипликация дает «плот из палок».

В сущности весь вышеописанный процесс трансформации можно считать персеверативным процессом, так как суть его в том, что исходный образ сохраняется, хотя бы и до неузнаваемости изменившись.

Цветные образы — сравнительно редкие у моих испытуемых. Чем многочисленнее образы у испытуемых, тем больше шансов для цветных образов. Получается впечатление, что обладание ими характерно для максимально способных к зрительному воображению. Трансформация цвета чаще всего состояла в посветлении или потемнении его, нередко с переходом в смежное качество цвета. Гораздо реже наблюдались явления контраста цветов (чаще всего: красный — зеленый).

Мультипликация, сопровождаемая одновременно потемнением, полным или частичным, некоторых образов, создает иногда впечатление движения. Впечатление движения иногда дает также образ чего-либо, находящегося в «позе движения».

Процесс трансформации форм, ясности и цвета со всеми вышеописанными процессами персеверации и мультипликации дает иногда в итоге фантастические образы. Однако фантастичность не безгранична, так как чрезмерное отдаление от оригинала-раздражителя не безгранично, ибо чрезмерное отдаление от оригинала ведет в конце концов к потемнению и исчезновению образа. Если сравнивать образ с фотографическим снимком (а это сравнение во многих отношениях очень удачно), то надо все же все время помнить, что — это — не застывший, мертвый фотографический снимок: существуя (персеверируя), он изменяется, и жизнь его обычно и состоит в этих изменениях. Но он может и «умирать». Смерть образа, если можно так выразиться, это — «исход в темноту»: образ становится настолько темным, что испытуемый его уже не видит.

«Исход образа в темноту», судя по материалам моих опытов, бывает вследствие одной из трех следующих причин: 1) вследствие движения, возбуждения, неприятного чувства и т. п.; 2) как самый первый эффект действия нового раздражения («все прежние образы исчезли»); 3) как результат сильного отдаления трансформирующегося образа от его первоначального оригинала. О первой причине много говорилось раньше, и потому нет смысла повторяться. Вторая причина понятна и без особого объяснения: при прочих равных условиях действие объективной действительности, реального предмета оказывается более сильным сравнительно с имеющимися образами. Если применить выводы из экспериментов к жизни, то действием этих причин объясняется, почему во время моторной деятельности или под влиянием новых впечатлений становятся невидными прежние образы.

Интереснее третий случай: когда в результате трансформации образ становится имеющим мало общего с прототипом, то испытуемый обычно заявляет о неясности образа. Правдоподобно

объяснить это ослаблением действия объективного раздражителя. В этом случае иногда образ просто становится невидным, но иногда имеет место реинтеграция.

По данным моих опытов, для реинтеграции необходимы два условия. Первое из них только что упомянуто: слабая связь, слабое сходство трансформировавшегося образа с оригиналом-раздражителем, в результате чего образ, вообще говоря, темнеет, становится плохо видимым. Второе условие таково: при потемнении данного образа один из побочных аксессуаров этого образа видится довольно ясно или даже ярко. Тогда в дальнейшем начинает трансформироваться уже побочный аксессуар, а не первичный образ, который, наоборот, становится неясным и темнеет. В результате начинается новый ряд трансформаций, который может или чередоваться с первым, или частично смешиваться; иногда же один из рядов (и чаще всего это именно новый) может совершенно сменить второй. В результате дальнейшие трансформации могут не иметь ничего общего с первичным образом. Надо иметь в виду, что образ иногда видится не как изолированный, обособленный предмет, а в определенной ситуации. Иными словами, в ряде случаев мы имеем то, что когда-то Гамильтон, затем Рибо, а в наши дни H. L. Hollingworth называет реинтеграцией (рединтеграцией) и что соответствует первому закону восполнения комплекса у Зельца: Ein gegebenes als einheitlich Ganzes wirkendes Komplexstück hat die Tendenz, die Reproduktion des ganzen Komplexes herbeizuführen» («данный действующий, как целостно, целое, кусок комплекса имеет тенденцию вызывать репродукцию целого комплекса»). Образы — часто не отдельные образы, а ситуации, и когда реинтегрируется ситуация, то в дальнейшем, при вышеуказанных условиях, может трансформироваться уже аксессуарная часть ситуации, а основная первоначальная — совершенно потемнеть, стать невидной.

Окончательный вывод из всего вышесказанного таков: основной процесс течения образов — ряд трансформаций исходного образа, но иногда (далеко не так часто, как обычно думают) трансформация осложняется реинтеграцией, которая дает возможность в известных случаях начаться ряду трансформаций нового образа, образа-аксессуара.

Вот простой пример трансформации, сопровождаемой реинтеграцией: раздражитель — слово «перчатка», образы — белая, маленькая, длинная перчатка, но она, как на руке, с кнопками, кнопка звонка, подъезд, большая красная дверь, налево кнопка звонка.

В начале этого параграфа мы установили два типа — оптический и моторный. Но даже на нашем небольшом числе испытуемых удалось легко заметить, что оптический тип в свою очередь подразделяется на два типа. Один из них можно назвать трансформационными. Ярким представителем этого типа является испытуемая N. N. У этого типа, как мы видели, один образ обычно трансформируется в другой, который таким образом возникает

из него. Процессы трансформации и мультипликации на первом плане у этого типа. Второй тип лучше всего назвать реинтегрирующим, так как у него на первом плане выступают процессы реинтеграции, а не трансформации. Чтобы яснее было в чем дело, приведу 2—3 примера из опытов с испытуемым, являвшимся наиболее ярким представителем этого типа (раздражитель — вложенный в руку предмет).

Монета. — Монета. Дельцы с портфелем, биржа, нищие сидят на тротуарах. Все.

Спичечная коробка. — Спичечная фабрика, рабочие, фабричная контора. Все.

Две особенности мы видим у реинтегрирующего типа: 1) обычно он видит целую сцену, а не отдельные предметы; 2) столь же обычно сцена не трансформируется дальше, но держится устойчиво некоторое время, частично пополняясь, а затем обрывается.

Может быть правильнее было бы говорить и здесь не так о типах, как о тенденциях: у одних испытуемых больше выступает тенденция к трансформации образов, у других — к реинтеграции. Но даже самый яркий наш реинтегрирующий испытуемый в ряде опытов давал ряд трансформирующихся образов совершенно как и трансформирующий тип, у представителей которого в свою очередь имели место явления реинтеграции.

У меня получалось впечатление, что испытуемые трансформирующего типа «отдавались» течению своих образов, которые были типично зрительными, тогда как испытуемые реинтегрирующего типа до известной степени «вызывали» свои образы, в которых иногда кроме зрительных элементов были и иные.

Учение о типах, и до сегодняшнего дня еще не потерявшее своей популярности, приводит нередко к неправильным представлениям: «тип» понимается метафизически как нечто застывшее, раз навсегда определенное, и как не имеющее ничего общего с другими типами, отделенное от них непроходимой бездной. На самом же деле так, как только что было сказано, трансформация и реинтеграция образов имеют место у каждого, но у одного — в большей степени выступает одно, а у другого — другое, причем — и это еще важнее — даже у одного и того же субъекта в одних случаях преобладает трансформация, а в других — реинтеграция. Есть опасность, что, за увлечением типологией, притом метафизически понимаемой, рискует остаться в тени тот факт, что здесь, собственно говоря, дело в двух различных, хотя очень родственных функциях, — памяти и воображении.

6. Репродукция и фантазирование. В истории психологии вопрос об отношении между памятью и воображением решался весьма по-различному, начиная с крайнего сближения, почти отождествления их (например у Плотина) и кончая чуть ли не полным разрывом между ними (например у Уотсона). В этом разногласии большую роль играло неодинаковое понимание памяти и воображения различными исследователями.

Под памятью можно понимать память-привычку, память чувств, образную память и память-рассказ. В свою очередь воображение можно понимать как вообще оперирование образами, как продукцию новых образов, как комбинаторную способность и как творчество. Необходимо всегда уточнять, о какой памяти и каком воображении идет речь.

Данная глава посвящена образам, и если под воображением понимать вообще оперирование образами, то вся эта глава может быть озаглавлена как глава о воображении. Образная память является лишь одним из видов воображения, точнее, одним из моментов в развитии его.

В сущности из вышеразобранных двух явлений — трансформации и реинтеграции — под понятие памяти подходит только реинтеграция. Реинтеграция может быть подведена под воспоминание как восстановительный процесс. Как ни парадоксально, можно сказать в известном смысле, что в трансформации нет работы памяти, так как в этом случае образ персеверирует, правда, не как нечто мертвое, застывшее, но изменяясь. Тем не менее в этом неметафизическом смысле он все же персеверирует, и потому нет нужды его восстанавливать. Восстановление имеет место только при реинтеграции.

Но именно с реинтеграции и начинается дело, так как и при трансформации исходный образ обязан своим происхождением реинтеграции, восстановлению. Воспоминание образов, картин есть полное или частичное, ясное или неясное восстановление этих образов. Воспоминание образов, в сущности говоря, всегда ситуационное, всегда, даже если оно частичное, в этой части, пусть неясной, целостное.

Если так, то можно сказать, что в процессе течения образов дело начинается с реинтеграции—воспоминания. Именно воспоминание — первый момент работы воображения, понимаемого широко как оперирование образами. Образ реального впечатления, отражение объективной действительности, пусть неполное и смутное, — вот с восстановления чего начинается работа этого воображения.

Этот момент еще настолько прост, настолько, если можно так выразиться, элементарен в физиологическом отношении, что от психологии почти ускользает соответствующий процесс. Все испытуемые при расспросе их в таких случаях говорят: «просто вспомнил», «не могу сказать, как», «вспомнил — и все», «постарался и вспомнил» и т. п. Психологу пожалуй остается лишь назвать этот процесс сравнительно непосредственным с психологической точки зрения: он происходит, если можно так выразиться, чисто физиологически, без заметного участия психологических процессов.

Но это — только момент. Происходящая дальше трансформация, совершающееся дальнейшее изменение репродуцированного образа — уже ярко психологический процесс. Этот процесс и есть то, что обычно в жизни называют воображением, для точности

прибавим, зрительным воображением. Что это действительно так, видно из того, что, когда я читал описание опытов с N. N. ряду лиц, незнакомых со специальной психологической терминологией, и спрашивал затем, что, по их мнению, делала N. N., они все отвечали мне: «фантазировала». Следуя обычному словоупотреблению, назовем и мы этот процесс фантазированием.

С другой стороны, чтобы не оперировать в данном случае имеющим много значений термином «память», применим более точный термин «репродукция». Можно сказать, что сущность репродукции (в области образной памяти) составляет реинтеграция, а сущность фантазирования — трансформация.

Но трансформируется уже репродуцированный образ. В наших опытах ясно обнаружилось, что реинтеграция обычно выступает на сцену тогда, когда трансформация замирает, а трансформирующийся образ как таковой сильно отходит от прототипа и даже как таковой темнеет, становится менее видным. Фантазирование следует за репродукцией, являясь следующим моментом. Таким образом окончательный вывод можно формулировать так: реинтеграция и трансформация, репродукция и фантазирование — два последовательных момента в развитии воображения.

7. Течение образов в дремотном состоянии. Наши опыты показали, что основными условиями, благоприятствующими течению образов, являются неподвижность и отсутствие напряжения. В дремоте и сне эти условия максимально налицо. Поэтому в повседневной жизни образы выступают на первый план именно в этих состояниях.

Но для возникновения образов необходима доступность субъекта действию раздражителя, и следовательно необходим некоторый, хотя бы очень невысокий, уровень бодрствования, также, ясно, необходима некоторая степень сознания для репродукции и течения образов. Поэтому конечно глубокий сон лишен их. Но, с другой стороны, им не благоприятствуют, как только что сказано, и подвижность, а также сильное напряжение и возбужение. Вот почему при очень легкой дремоте образы кратковременны (иногда почти мгновенны) и редко образуют длинный ряд образов. Многочисленные работы об образах во время дремоты сравнительно хорошо обнаруживают связь между возникновением образа и соответствующим стимулом, чаще всего виденным перед самой дремотой предметом, услышанным сквозь дремоту звуком, давлением, своей мыслью или даже полупроизнесенной фразой или словом и т. д. Этот образ может быть довольно верным отражением, но чаще он — искаженное отражение ее. Так как все это неоднократно описывалось, а, с другой стороны, имеет отношение скорее к теме «Память (воображение) и восприятие», чем к теме этой книги «Память и мышление», то на этом не будем останавливаться. Несравненно реже в работах об образах во время дремоты исследовалось течение этих образов, вероятно потому, что эти образы, как выше указывалось, редко образуют длинный ряд образов, чаще всего почти сразу обрываясь, а не развиваясь

дальше. Из известных мне авторов больше всего на этом останавливался Leroy (Les Visions du Demi-Sommeil, 1926), а из ранних исследователей Hervey de Saint-Denis (Les Rêves et les moyens de les diriger, 1867 г.). Один из многих примеров, приведенных последним, может послужить иллюстрацией: «В середине поля, охватываемого моим внутренним взглядом, вырисовывается горка зеленого цвета. Я постепенно различаю, что это — куча листьев, Она кипит, как извергающийся вулкан, она быстро растет, ширится посредством движущихся зон, выбрасываемых ею. Красные цветы в свою очередь выходят из кратера, образуя огромный букет. Движение останавливается, все очень ясно один момент, а затем все исчезает» (стр. 123). Здесь совершенно ясна трансформация формы и цвета (зеленый холм — куча листьев — букет красных цветов), осложняемая мультипликацией (выбрасываемые холмом зеленые зоны, красные цветы, огромный букет красных цветов). Не составило бы никакого труда, но только заняло бы без нужды много места приводить большое количество аналогичных других примеров, развивающихся сложных рядов образов во время дремоты, т. е. таких, которые, по общепринятому мнению, уже приближаются к сновидениям. Ограничусь поэтому только еще одним примером: «Из первых силуэтов, появившихся мне (в гипнагогическом состоянии), я вспомнил в первую очередь нечто вроде поставленного прямо пучка стрел, который потом развергся и образовал одну из тех длинных корзин, в которых сушат белье в банях. Изза прутьев ивы показывались белые салфетки. Вскоре прутья ивы стали являться нагромождающимися, кривящимися, наконец трансформирующимися в зеленеющий кустарник, в середине которого раскинулось ветвистое дерево. Белая собака (явная метаморфоза салфетки) возилась по другую сторону кустарника, в то время как раненая птица валялась у моих ног в газоне. Когда собаке удалось пробраться сквозь кусты, я прогнал ее ударом палки в то время, как я проснулся» (цит. соч., стр. 257). Объяснение этого сложного ряда образов в общем уже не представляет полной загадки. Первичный образ пучка стрел, возникший в результате действия неизвестного нам раздражения, трансформируется в корзину для белья, причем реинтегрируется и само белье (салфетки). Дальше происходит трансформация прутьев ивы в кустарник, а салфетки — в белую собаку.

Таким образом экспериментальное изучение процесса течения образов очень сильно способствует разъяснению процесса течения образов во время дремоты. В этом отношении наши опыты, можно сказать, себя оправдали: течение образов и в состоянии дремоты состоит в трансформации первичного образа, причем эта трансформация в определенных случаях осложняется мультипликацией, реинтеграцией и движением образа. Причиной же первичного образа является, как это показали уже работы прежних исследователей гипнагогических образов, действие какого-либо наличного раздражения (в том числе собственного слова или мысли).

Главное отличие сновидений от образов дремоты обыкновенно видят в том, что сновидение — связный ряд сцен, своего рода целая история, в которой «я» не пассивный зритель, но действующее лицо. Однако мы только что видели, что и в дремоте образы могут развиваться в достаточно сложные сцены, и именно по отношению к этим сложным сценам имеет особенное значение наше экспериментальное изучение течения образов, в то время как мгновенные, мимолетные образы во время дремоты скорее дают лишь материал для выяснения связи между первоначальным образом и вызвавшим его раздражением. Остается стало быть видеть основное различие сновидений от образов во время дремоты в том, что в сновидениях я не пассивный зритель, но действующее лицо.

Из прежних исследователей J. M. Vold своими экспериментами хорошо выяснил роль, в качестве причин сновидений, состояний и положения тела спящего, в частности его конечностей. Это натолкнуло меня на ряд добавочных опытов, сущность которых состояла в реагировании зрительными образами на изменение своей собственной позы. Я придал лежащему на диване испытуемому определенную позу и затем просил его, сначала зрительно представив себя, затем отдаться течению образов так, как в прежних опытах.

Как влияет поза на соответствующий образ? Приведу сплошь данные опытов над одной испытуемой:

1. На спине, руки и ноги вытянуты. — «Вижу платье на себе; лица, рук нет, стою».
2. На боку, согнутые ноги, рука под головой. — «Сижу в поезде, в углу, подперла голову. Лица не вижу. Слушаю».
3. На боку, ноги сильно подогнуты, руки вытянуты! — «Плыву. Неясно — на спине или на животе. Вижу руку. Стою по пояс в воде».
4. На спине, ноги согнуты в коленях, упираются подошвой в диван, руки соединены за головой. — «Лежу на траве».
5. На животе, ноги скрещены — «Больная — в палате».

В таком же роде данные опытов и над другими испытуемыми. Мы имеем здесь как бы исходный момент сновидения. Характерно, что испытуемые обычно не видят себя, особенно своего лица. Они, если можно так выразиться, «видят» только свое положение и действие так же, как это обычно происходит в сновидениях: есть образы позы и действия, но не всего субъекта, его фигуры и т. п. Объяснение легко дать: у нас нет обычно полного зрительного восприятия себя, особенно верхней половины своего «я», в частности лица.

Поза является также эмоциональным выражением. Вот почему иногда испытуемые реагировали на приданную позу не только зрительными образами, но и эмоционально. Например:

1. На животе, ноги вытянуты, лицом в подушку. — «Тяжело, грустно, безотрадно».
2. На боку, ноги согнуты, рука свешивается к полу. — «В апа-

тии, опустившаяся. Скверные чувства о жизни. Почти отчаяние. Больная».
3. На спине, согнутые в коленях ноги упираются в диван, руки закинуты за голову. — «Лежу на лужайке. Спокойствие. Лес. Солнце между ветками».
Эти и подобные им опыты дают возможность предполагать, что образы своих действий являются своебразным отражением изменения положения своего тела.
Поскольку в сновидениях мы видим образы, становится несколько понятнее процесс сновидений. Только что приведенные опыты с отражением в образах-сновидениях изменений положения тела дают основание присоединиться к теории Maury Vold'a относительно объяснения наших действий в сновидениях. С другой стороны, то обстоятельство, что неприятные образы возбуждают мускульное напряжение и подвижность, которые ведут, как мы показали, к исчезновению образов, дает возможность увидеть зерно истины и в учении Фрейда об отношении сновидений к желаниям: сновидение пресекается или изменяется (реинтеграция), когда оно развивается в неприятном для нас направлении. Наконец в сновидении легко можно найти и репродукцию чего-нибудь реально недавно бывшего, имеющего большое отношение к нашим заботам, интересу и т. п.
В сновидениях мы не только видим и действуем, но и слышим. Это «слышание», насколько я мог установить, анализируя свои сновидения, чаще всего сводится к мнимому слышанию: так например виденная мною во сне женщина на самом деле не говорила, я не слышал в действительности ни одного ее слова, но я как бы сознал ее «высказывание» примерно так, как, глядя на карточку, мы заявляем, что изображенное на ней лицо говорит то-то. Иногда же слышанные слова были на самом деле моими собственными, с сознанием произношения которых я просыпался. Иногда же это были иллюзии слуха от действительных звуков в комнате.
Даже в сновидениях исходные образы — отражения (пусть часто очень искаженные) действительности. Даже сновидения регулируются до известной степени нашими интересами. Но если исходные образы — репродукции, то в самом течении сновидения заметно выступает процесс фантазирующего воображения, точнее выражаясь, главным образом трансформации образов. Мои испытуемые на вопрос, чем сходны их образы со сновидениями, называли следующие черты: 1) и там и здесь вижу зрительные образы, 2) возникающие непроизвольно, 3) неожиданно меняющиеся, 4) иногда фантастические, 5) обрывающиеся на неприятном («во сне просыпаюсь, а здесь открываю глаза»). На вопрос, чем они отличаются от сновидений, указывалось: 1) в снах больше действия, «я активнее», а здесь скорее панорама («в снах я действую, а здесь скорей созерцаю, хотя и там и здесь создается в связи с виденным настроение, имею в связи с ним то или иное переживание, чувство»); 2) сны ярче, а в опытах вначале

бывают моменты смутных красок и неясных образов, которые постепенно переходят в более рельефные и ясные («хотя думаю, что и в снах это бывает, но так как там сознание спит, то эти моменты не запоминаются»); 3) «во сне я всецело под влиянием сновидений, а здесь я могу в любой момент открыть глаза, если неприятно»; 4) «здесь я больше вижу, как одна картина переходит в другую, виднее сменяемость их. Хочется сравнить с кино: во сне лента быстро движется, а здесь более медленно, и потому видны промежуточные моменты».

Судя по этим данным, воображение во сне ярче, непроизвольней (спонтанней), быстрее и дает скорее действие, чем панораму. Последнее я объясняю тем, что в сновидениях основной из возможных во сне стимулов — изменения в положении своего тела, и потому они так заметно отражаются (конечно искаженно) в образах. Непроизвольность процесса указывает, что процесс происходит на более низком уровне, и может быть на то же указывают яркость и быстрота течения образов сравнительно с образами в. экспериментах: яркость и непроизвольность процесса может быть является следствием незаторможенности процесса со стороны коры.

В заключение оговорим, что в основе сновидений лежит не только воображение. Поэтому проблема сновидений — большая и сложная проблема сонного сознания — далеко не исчерпывается проблемой воображения. Но в данной книге нас интересует последнее, а не проблема сновидений в ее развернутом виде.

8. Проблема ассоциации представлений (образов). История психологии знает немало попыток свести три основные вида ассоциаций к одному. Это стремление законно, если мы считаем их тремя видами одного и того же явления — ассоциации. И тем не менее насколько легко удалось уловить общее между ассоциацией по сходству и ассоциацией по контрасту, настолько не удаются и до сегодняшнего дня попытки свести ассоциацию по сходству на ассоциацию по смежности или, наоборот, ассоциацию по смежности на ассоциацию по сходству. Безуспешность этих упорных попыток наталкивает на вопрос, не отличаются ли эти «ассоциации» toto genere между собой.

И это действительно так. То, что мы называем ассоциацией по сходству (и контрасту), представляет собой, по крайней мере в области образов, не что иное как трансформацию образа, которая состоит в том, что данный образ частично становится иным, а частично остается еще прежним (длинная коробка — длинная полоса). Проще говоря, здесь имеет место частичное, т. е. постепенное, непрерывное изменение.

Термины «ассоциация», «связь» рискуют толкать нас на крупные ошибки: здесь нет связи двух разных образов; здесь есть изменение, два различных момента, два последовательных состояния одного и того же образа. Термин «ассоциация» здесь не соответствует действительности: в данном случае надо говорить не о связи разных явлений, но об изменении одного и того же.

В результате отпадают до отношению к ассоциации по сходству два основных мифа ассоциационизма. Первый из них — психологический — учит о «нахождении» в сознании (явно фигуральное выражение) различных концептов, которые имеют свойство «вызывать» сходные концепты, в данном случае образы. Вопреки этому мифу имеет место в действительности процесс постепенного изменения концепта-образа, изменяющегося в процессе своего существования, подобно всему существующему. Все, что возникла и начало существовать, изменяется, — таков основной закон всего существующего. Этому закону изменения подчинены и образы. Важнейшую для психологии проблему изменения образов ассоциативная психология подменивала проблемой связи двух неизменных концептов. Словом, вместо изучения процесса изменения мы стоим пред теорией внешней связи концептов, понимаемых как неизменяемые вещи. Эта ярко механистическая (внешняя связь, а не внутреннее изменение) и метафизическая (концепты как неизменные сущности) ассоциативная психология толкала и на другой миф — физиологический: всякий раз, когда «связываются» два сходных образа (речь идет — напоминаю — о так называемой ассоциации по сходству), связываются-де два соответствующих нервных элемента. Я называю это мифом, ибо здесь мы имеем дело с бездоказательным предположением, притом явно гипостазирующего характера (превращение изменяющихся образов в «связывающиеся» «нервные элементы»).

Наши образы не неизменные сущности: они не стойки, они текут, т. е. изменяются. Это течение, т. е. изменение образов, в ряде случаев происходит постепенно, т. е. представляет собой непрерывный процесс. В этом случае, т. е. в случае непрерывного изменения, оно в каждый данный момент является лишь частичным изменением: кое-что еще не успело измениться, и это еще не успевшее измениться и является тем образом, что составляет сходство. Учение об ассоциациях по сходству учло этот элемент сходства, но оно совершенно не поняло, откуда это сходство берется, почему оно бывает. Не поняв этого, учение об ассоциациях по сходству подменило изучение процесса непрерывного (постепенного, частичного) изменения образа проблемой «связывания», и в этом вред критикуемого учения.

Но далеко не всегда наши образы текут непрерывно. Сплошь и рядом их непрерывное течение нарушается восприятиями, которые дают начало возникновению новых образов и мыслей. Но даже в тех случаях, когда врывающееся в течение образов действие восприятий минимально, например когда я «ушел» в свои грезы или вследствие искусственных условий психологического эксперимента, или в гипнагогических состояниях, все же течение образов не продолжается мало-мальски долгое время, как постепенное непрерывное изменение данного образа: процесс трансформации осложняется процессом реинтеграции. Процесс реинтеграции по отношению к образам состоит в том, что при возник новении в результате трансформации данного образа одновре-

менно более или менее полно возникает в виде образа то восприятие, одной из частей которой был тот субъект, образ которого возник только что в результате трансформации. Получается как бы восстановление соответствующего более полного образа, почему этот процесс справедливо называть реинтеграцией.

Если «ассоциация по сходству» маскирует факт постепенного изменения одного и того же образа, неверно подменивая его внешней связью двух разных образов, то «ассоциация по смежности» более безобидна. В случае реинтеграции можно говорить о связи в прежнем восприятии. Термин «связь», «ассоциация», здесь не является неверным. Однако не является выигрышным для дела и пользование им. Введение вместо него термина «реинтеграция», понимаемого как «восстановление в виде образа прежнего восприятия» (или, шире, как восстановление в более полном виде прежнего переживания), можно надеяться, поможет лучше понимать суть исследуемой проблемы.

Пока преждевременно гадать о физиологическом процессе, лежащем в основе реинтеграции, представлять ли его вроде какого-нибудь регенерационного процесса или чего-либо иного. Но некоторые более узкие проблемы и сейчас выигрывают от введения понятия реинтеграции. Так например психоаналитическая процедура с ассоциативным экспериментом становится яснее, понятнее, если вместо оперирования малосодержательным термином «ассоциация по смежности» мы признаем, что имеем здесь дело с восстановлением, реинтеграцией прежних переживаний и тем самым получаем возможность проникнуть благодаря этой реинтеграции прошлого в психологическую биографию испытуемого. Подобная психоаналитическая процедура оказывается таким образом способом при помощи реинтеграции («ассоциация по смежности» как реакция испытуемого на стимул экспериментатора) получить более полный анамнез.

V. ВООБРАЖЕНИЕ И ПАМЯТЬ

1. Память как отношение к прошлому. Уже автор первого специального трактата о памяти, Аристотель, все время подчеркивал, что память относится к прошлому, к бывшему, и специфическое отличие памяти от воображения видел в том, что память не простое обладание образом, но «обладание образом как подобием того, чего это образ». Свой взгляд на память он иллюстрировал примером, как нарисованное животное может быть рассматриваемо и как живое, и как «подобие». Таким образом, по Аристотелю, о памяти можно говорить только тогда, когда не только имеется образ, но имеется сознание, что этот образ — копия раньше бывшего впечатления.

Аристотель, говоря о памяти, обыкновенно имел в виду зрительно-образную память, и потому его утверждение относится главным образом к ней. Что касается аффективной памяти, то здесь, наоборот, почти никогда не бывает отношения к ожившему чувству, как к подобию раньше пережитого чувства. Когда напуганный в детстве собакой субъект с тех пор, при встрече с собакой, пугается, он редко осознает, что этот его испуг связан с прежним испугом; больше того, он может забыть даже, что когда-то его испугала набросившаяся собака, и относится к теперешнему испугу или как к «непонятному», «необъяснимому», «бессознательному», или придумывает для него неверные, фантастические объяснения, цель которых — рационализация, так сказать, «разумное» обоснование этого в сущности необъясненного чувства. Отсутствие отношения к этому чувству как подобию раньше пережитого, раньше бывшего чувства дает основание говорить в данном случае о бессознательном страхе, вообще бессознательном чувстве.

Отношение к фобиям, симпатиям, антипатиям и т. п. как к аффективному опыту настолько редко, что, как мы видели в главе «Память и чувство», даже многие специалисты-психологи отрицают существование аффективной памяти, несмотря на ту огромную роль, которую играет аффективный опыт в нашей повседневной жизни.

Но, даже если признать открытым вопрос о существовании аффективной памяти, все равно, то же, но только в более ослабленном виде, можно наблюдать по отношению к обонятельным образам. Вот для иллюстрации два примера из опытов Геннинга. Испытуемый Ку получил во время сеанса в обе ноздри Asa foetida и жасминное масло. Вечером около 9 часов (стало быть

спустя 6 часов) он замечает: «Когда я лежал на кушетке и ни о чем не думал, вдруг устремились на меня всякие запахи, сначала вообще, а затем я мог все же ясно узнать жасмин и лук. Тщательное обследование показало, что комната и одежда не пахнут». В опыте оба запаха не были разобраны испытуемым, несмотря на то, что впоследствии он их узнал.

Испытуемая Ла. получила во время опыта очень слабо пахнущую твердую мастику. «Примерно спустя час по дороге домой меня преследовал этот запах в гораздо более сильной степени, чем раньше, когда я воспринимала его, и вечером он постоянно все снова возникал. На следующий день, во время преподавания, запах снова возник совершенно непосредственно и ясно и побудил меня к обследованию, — может быть кто из детей пользовался сходно пахнущими духами»51.

Здесь нет вначале отношения к эйдетически репродуцированным запахам, как к следам бывших запахов. Это отношение устанавливается лишь позже посредством проверочных действий и воспоминания-мысли о бывшем опыте. Таким образом здесь есть репродукция, но памяти, как ее определил Аристотель, здесь нет или почти нет.

Но даже в области зрительных образов не всегда бывает отношение к ним, как к образам того, что объективно в данный момент в данном месте не существует. Больше того, такое отношение часто не бывает, когда выступает на первый план деятельность более низкого нервного уровня, например во сне (сновидения) или в тяжелых психических болезнях (галлюцинации). Поэтому эти состояния правильно называются бессознательными.

Несколько лет назад я был тяжело болен крупозным воспалением легких. Из болезни я запомнил одно видение: в узком промежутке между кроватью и стеной я вижу несколько белых дверей, лежащих друг на друге там на полу и в то же время как бы давящих мне на грудь так, что мне трудно дышать. По выздоровлении я без особого труда осознал, какие двери видел. Это была виденная мною в раннем детстве только что окрашенная дверь, которая вследствие аффективного впечатления (меня застращали не запачкаться о нее) так запечатлелась, что впоследствии нередко при разных случаях, например при входе в только что отремонтированную квартиру, я зрительно вспоминал ее. Значит у меня был репродуцировавшийся образ дверей, притом сравнительно мало трансформировавшийся (лишь изменение положения в лежащее и небольшая мультипликация) и потому так легко мною узнанный.

Но почему во время болезни я не отнесся к этому образу, как к образу прежде виденных дверей? Какое у меня тогда было отношение к этому образу? Насколько я помню, я совершенно не задумывался над несуразицами, как двери могли попасть туда и поместиться там, как, лежа на полу, они могли в то же время давить мне на грудь, притом только на левую ограниченную часть ее и т. д. Я не думал об этом в тогдашнем своем состоянии

с 40-градусной температурой, лишь изредка приходя в сознание, да и то неполное. Я не думал, но зато, как я отчетливо помню, я видел эти двери ясно, устойчиво, как физическое тело, до известной степени плотное, и чувствовал их давление примерно так, но только в очень сильной степени, как мы чувствуем иногда «стесняющего» или «подавляющего» нас человека. Я видел-чувствовал, но никакого отношения к этому у меня не было: я только непосредственно переживал.

Центральную нервную систему справедливо называют органом отношения к внешнему миру. Только на высшем уровне этой системы возможно развитое — сознательное — отношение к нему, и развитие этого отношения имеет конечно свою историю. Развитие отношения к внешнему миру связано с развитием центральной нервной системы, оно подлежит особому рассмотрению. Настоящая же работа не может охватить даже чисто психологического анализа проблемы отношения к внешнему миру. В пределах ее достаточно констатировать, что на более низком уровне центральной нервной системы имеет месте непосредственное переживание образа, и именно поэтому он обладает характером чувственной достоверности, почему и возможны галлюцинации.

Наоборот, отношение к образу как к образу прошлого впечатления предполагает уже деятельность высоких уровней центральной нервной системы.

Также более высокий уровень деятельности центральной нервной системы предполагает повидимому сознательное отношение к трансформировавшимся образам фантазии как к образам ненастоящего. Что это действительно так, видно из того, как дети дошкольного возраста относятся к образам своей фантазии, как непосредственно переживают они эти образы. Возможно, что известную роль играет то, что образ фантазии в сущности есть не что иное, как трансформировавшийся образ воспоминания, и именно потому, что трансформировавшийся, не могущий быть отнесенным к прошлому.

Общеизвестный факт, что к детским воспоминаниям сильно примешивается фантазия так же, как и к воспоминаниям психопатов. О них можно сказать, что они больше фантазируют, чем вспоминают. Точное воспоминание даже хорошо известного — продукт не примитивного сознания. Репродуцирующийся образ, как мы видим из описанных в предыдущей главе опытах, склонен изменяться, трансформироваться и персеверируется более или менее полно только в исключительных случаях. Поэтому репродуцирующийся образ сам по себе уже имеет тенденцию искажаться. Такое, казалось бы, с первого взгляда максимально точное отражение объективной действительности, как образ, на самом деле дает неустойчивое, склонное к искажениям отражение действительности. Примитивная репродукция — в конечном счете часто фантастическая репродукция, точнее, исходный пункт фантазирования.

Но в тех случаях, когда репродуцирующийся образ персеверирует, а не трансформируется до неузнаваемости, к нему конечно легче отнестись, как к образу. Поэтому отношение к образам-воспоминаниям, как к отражениям прошлой действительности, развивается раньше, чем отношение к образам-фантазиям. Но что это отношение далеко не первоначальное, на это указывает хотя бы следующий факт: когда ребенок младше двух лет вспоминает что-либо, то хотя он не смешивает свой образ с действительностью, т. е. не считает, что вспомянутая старая игрушка видится им сейчас здесь, но нередко он бывает убежден, что все же она действительно существует, хотя бы ее давно уже нет. В этом возрасте мы можем иногда наблюдать: «вспомнил, значит есть». Отсюда можно заключить, что хотя у этого ребенка уже нет непосредственного переживания образа как настоящей действительности и центральная нервная система работает уже на сравнительно высоком уровне, но нет также и вполне развитого отношения к образу как к отражению прошлой действительности.

Уточнение терминологии помогает более ясному представлению сути дела. Условимся различать термины «репродукция» и «припоминание», употребляя второй термин лишь для преднамеренного произвольно сознательного акта репродукции. Точно так же будем различать «фантазирование» от «творческой фантазии», под последней понимая также только преднамеренный произвольный — сознательный — акт воображения. Воображением же будем называть вообще оперирование образами. Тогда, пользуясь этой терминологией, можно формулировать следующий вывод: исходный момент в воображении — репродукция, но репродуцировашийся образ изменяется, трансформируется, и репродукция переходит в фантазирование, причем лишь постепенно вырабатывается сознательное отношение к образам репродукции и фантазирования.

Лишь с того момента, когда есть отношение к репродуцированному образу как к отражению прошлой действительности, можно говорить о памяти в аристотелевском смысле этого слова. Как мы видим, это бывает в онтогенезе приблизительно к двум годам. Но именно только с двух лет, по данным Штерна, начинается «свободное воспоминание», как он выражается, или припоминание, как мы предпочитаем выражаться. Когда имеется отношение к репродуцированному образу как к отражению прошлого, тогда нетрудно уже притти к тому, чтобы пользоваться репродукцией для того, чтобы утилизировать отражающие прошлую действительность образы. Но все это такой огромный шаг вперед, который оказался возможным только для человека, да и то не сразу. Припоминает только человек, и только для него посредством этого воспоминания существует прошлое, история.

2. Роль образов в припоминании. Один из самых неудачных терминов в психологии — термин «образное мышление»: он одинаково затемняет и проблему воображения, ибо что такое образ-

ное мышление, как не воображение, т. е. оперирование образами, и проблему мышления, так как толкает на отождествление процесса воображения с процессом мышления, тогда как на самом деле это совершенно различные процессы. Роль образов совершенно иная, чем роль мыслей, и протекают они иначе, чем мысли.

Начнем с выяснения роли образов в припоминании. Для этой цели я предпринял ряд опытов, суть которых состояла в том, что испытуемый должен был припомнить какую-нибудь полосу (например год своей жизни) или какую-нибудь сторону жизни (например деятельность в каком-нибудь учреждении), причем сравнительно из далекого времени своей жизни, которое, по его словам, он не очень хорошо помнит. Чтобы не осложнять исследование особенностями детской психологии, задавалось вспоминать только из времени вполне взрослой жизни. Главным испытуемым у себя был я сам. Для контроля я привлек еще трех испытуемых, причем таких, у которых по их словам, образы слабо фигурируют.

Задание — припомнить год учительства в одной московской гимназии (23 года назад). Вспоминаю образ огромной собаки, поразившей меня своим присутствием в зале; образ учительской с двумя учителями, также в свое время поразившими меня своей внешностью; образ класса (не так учащиеся, как общее неясное зрительное представление плюс чувство тесноты), смутный образ неприятной мне начальницы; образ выходящего на улицу сада с криком бегающих в нем на перемене учащихся плюс чувство «освободился» (в этой гимназии я преподавал недолго и очень этим тяготился).

Задание — припомнить, как 18 лет назад писал диссертацию. Вспоминаю образ сцены разговора с владелицей университетской типографии, ругающей университет за неплатежи (с печатанием диссертации вопрос тогда стоял очень остро); образ сцены у декана, возмутившего меня в связи с трудностями печатания, образ, как растерялся я раз в формулировке темы; образ, как ночью пишу ее (плюс чувство приятной усталости и тоски) и т. д.

Было бы утомительно и ненужно продолжать описание опытов дальше. Выводы получаются очень ясные и несомненные. В случаях припоминания событий далеких или хотя бы недавних, но обычно не вспоминаемых, и таких, относительно которых есть предположение, что они очень забыты, репродуцируются образы (обычно зрительные). Так можно сделать первый вывод: то, что плохо помнится, имеет тенденцию репродуцироваться в виде зрительных образов (не надо делать неправильного обратного вывода: репродуцируемое в виде зрительных образов есть то, что плохо помнится). Второй вывод: преимущественно это образы эмоциональных (чаще всего неприятных) впечатлений. Третий вывод: если нет воздействия со стороны воли и мышления, т. е. нарочи-

того сознательного старания, то образы следуют не в хронологическом порядке, а в каком-то ином (эмоциональной значительности бывших впечатлений?).

Таким образом образы в припоминании играют исключительно важную роль, именно в припоминании трудного для припоминания.

Конкретное событие, обычно если это даже не простое событие, а целая полоса жизни, неисчерпаемо в своем конкретном богатстве, и если мы образно вспоминаем то, что сравнительно хорошо образно помним, то, как показывают опыты, наступает в припоминании момент (иногда он наступает почти сразу), когда образы начинают всплывать уже в очень большом количестве, пожалуй иногда до бесконечности большом. Но когда припоминается что-нибудь сильно забытое, то, наоборот, появляется всего лишь несколько образов, причем обычно один из них более или менее явно превалирует над другими. Если события как бы различные главы нашей жизни, то эти образы — как бы виньетки к этим главам, как бы символические иллюстрации их.

3. Образы-схемы и образы-символы. Выясняя роль, какую играют образы в припоминании, мы еще не выяснили, что представляют собой эти образы. Для выяснения этого вопроса я прибегнул к эксперименту и самонаблюдению.

В качестве испытуемых были отобраны лица с ярко выраженной склонностью к зрительным образам. Испытуемому показывался рисунок, который он должен был потом нарисовать по памяти. Рисунок выбирался настолько простой, чтобы испытуемый совершенно не затруднялся техникой рисования. На рисунок испытуемый должен был смотреть, стараясь не называть, чтобы избежать влияния словесного запоминания; он держал язык зажатым между зубами и, когда замечал, что «хочется уже называть», давал сигнал, чтобы убрали рисунок, который никогда не экспонировался больше минуты. Испытуемый воспроизводил рисунок трижды: тотчас, через сутки и через трое суток. Все вышеописанное он в тех же сеансах проделывал затем еще со вторым рисунком, имевшим весьма отдаленное сходство с первым. Процедуры со вторым рисунком следовали тотчас после всех процедур в данном сеансе с первым рисунком.

Первая несомненная тенденция при воспроизведении — упрощение оригинала в смысле опускания ряда деталей, причем это упрощение обыкновенно преимущественно касалось определенных сторон, например левой стороны или верха.

Вторая тенденция при воспроизведении — некоторое преувеличение размеров оригинала или в общем (чаще всего) или некоторых мелких размеров.

Третья тенденция — изменения оригинала, причем эти изменения обычно идут в определенном направлении, например штрихи изменяются в сторону округления или, наоборот, угловатости, фигура рисуется более симметрично и т. п. Эту тенденцию можно было бы назвать тенденцией к большему графическому однооб-

разию и поэтому можно считать одним из проявлений вышеупомянутой тенденции к упрощению, своеобразным видом этой тенденции.
Четвертая тенденция состоит в том, что какая-нибудь деталь излишне повторяется, например вместо детали, представляющей соединение двух острых углов, дается деталь, состоящая из 3—4 острых углов, или какая-нибудь черта повторяется дважды. Эту тенденцию можно считать также одним из проявлений тенденции к преувеличению.
Наконец выяснилось огромное влияние предыдущего рисунка на последующий в том смысле, что при воспроизведении последний обнаруживает тенденцию отчасти уподобляться предыдущему.
Итак, с течением времени при воспроизведении начинают все больше и больше проявляться тенденции к симплификации, уподоблению и преувеличению. Но симплификация образа приводит, разумеется, к схематизации его. Образ становится образом-схемой. Уподобление со своей стороны содействует генерализации этой схемы, тому, что она становится более общей. Так получается общая генерализированная схема, то, что можно было бы назвать, следуя обычной терминологии, общим (образным) представлением. Но, говоря об общем представлении, не надо забывать, однако, еще одной тенденции — тенденции к преувеличению. Эта тенденция, если она частичная, может привести к известной символизации в том смысле, что известная часть образа как бы гипертрофируется. В конечном счете образ имеет тенденцию превращаться в общую схему с некоторой гипертрофией известных деталей, что делает этот образ не только общей схемой, но одновременно, как это ни противоречиво, до известной степени и символом.
Эксперимент с рисованием по памяти не мог конечно выявить всех своеобразий репродуцируемого образа. Поэтому он был дополнен другим исследованием, где основную роль играло самонаблюдение. Задавалось воспроизвести («вспомнить») что-либо по желанию в образе и потом рассказать об этом. Так как интересовал не свежий образ, а, скорее, то, что в конце концов остается в памяти, то задание было так вспомнить какое-либо полузабытое событие, и испытуемыми, наиболее подходящими, были признаны субъекты с слабой склонностью к зрительным образам. Главным испытуемым был я сам, но для контроля еще двое с такой же слабой склонностью.
Я выбрал из тех учебных заведений, в которых преподавал больше, чем 20 лет назад, одно, которое вообще плохо помню, и из преподавателей его такого, которого тоже плохо помню, и постарался зрительно вспомнить его. Оказывается, репродуцированный образ, очень неясный, в то же время фрагментарен: я представляю только руки и (отчасти) лицо его. Образ до крайней степени притом схематичен и почти лишен индивидуальных свое-

образий: если б я перевел его в рисунок, то, пожалуй, только за часть лица, около глаз и носа я поручился бы, что это — его индивидуальные черты, да пожалуй и за это не поручился бы полностью.
Я составляю список дач, где я жил в последние 10 лет, и выбираю наиболее забытую. Опять очень неясный, притом фрагментарный образ — дорожка, кусок забора, нечто вроде стены и т. д. Все это представляется очень обще, и индивидуальные особенности сохраняет, да и то отчасти, только дорожка.
Таким образом и самонаблюдение подтверждает, что подобные образы — общие схемы с тенденцией к некоторой символизация: дорожка как бы символизирует эту дачу.
«Внимательное наблюдение показывает, что наши обычные образы вовсе не являются картинами, которые раскрываются сразу», этот вывод Филиппа в его работе «L'image mentale» правилен не только в том смысле, что образ обыкновенно не цельная картина, а фрагментарная, но и в том, что это не статическая, а, если можно так выразиться, динамическая картина52. Репродукция образа обычно не момент, а ряд моментов, в каждый из которых репродуцируется отчасти иной фрагмент образа. Так, я сначала представляю лицо преподавателя и только в следующий момент его руки.
Те особенности образов, которые мы установили путем скрупулезного анализа в условиях психологической лаборатории, выступают en grand, когда мы обращаемся к продукции творческого воображения, поэтической фантазии.
Образ не цельная картина, а фрагменты. В этом смысле образ синекдохичен. В сущности говоря, я видел вначале не преподавателя, а его лицо, и приблизительно то же представлял поэт, заявляя: «Многих лиц не нахожу». Когда, стараясь зрительно представить море, я представляю сразу волны, то это тоже было и с поэтом, писавшим «Адриатические волны» вместо «Адриатическое море».
Современная теория поэтического творчества хорошо обосновала, что всякий эпитет в основе своей синекдохичен. С другой стороны, она же доказывает, что поэтические описания природы «в общем составляют один троп, сложную синекдоху», и наконец она же доказывает, что «тип есть сложная синекдоха»53. То, что, казалось бы, является недостатком образа, фрагментарность его, оказывается на самом деле отправным моментом более высокого развития.
Аналогично другой на первый взгляд недостаток образа — его схематичность — дает исходный пункт для более высокого развития — развития метафоры: только имея в высшей степени неясный и общий, до крайности схематичный образ подошвы, можно было приравнять основание горы к подошве в выражении «подошва горы».
И наконец третий на первый взгляд недостаток образа — то,

что он не есть сразу целиком данная картина, а движение, ряд переходов от одного фрагмента к другому — является исходным моментом развития метонимии: «Уж темно: в санки он садится. Поди! поди! раздался крик».

«Аллегория — иносказание, в обширном смысле слова, обнимает все случаи различных отношений между образом и значением, т. е. метафору, метонимию и синекдоху. Всякое поэтическое произведение иносказательно»54. Пожалуй веет схоластикой от традиционного учения о тропах, и можно привести сколько угодно примеров, как трудно на практике проводить различие между ними. Это и неудивительно. Фрагментарность, динамичность и схематичность одинаково являются специфическими особенностями репродуцируемого образа и потому последний одинаково является основанием и для синекдохи, и для метонимии, и для метафоры. Решить, чем именно является данный поэтический образ, является чаще всего метафизической постановкой вопроса. «Так, в стихотворении Лермонтова «Парус» мы имеем несомненную синекдоху — «Белеет парус одинокий», но мысль при дальнейшем движении переходит на метонимию (одинокий пловец), а под конец стихотворения мы настраиваемся метафорически понимать этот «одинокий парус среди бушующего моря»55. Метафора здесь в конце концов покрывает собой метонимию, которой предшествует синекдоха... Различие между такими двумя видами поэтической иносказательности, как синекдохичность и метафоричность, не есть различие непременное, а нечто движущееся. Метафорическое понимание всего стихотворения «Парус» переходит в сложную синекдоху — pars pro toto: изображение единичного случая из бесконечного ряда подобных моментов, положений, настроений». Так даже специалисты-литературоведы признают искусственность разграничения этих «тропов». С психологической точки зрения тем менее нужды делать это.

В психологическом отношении в пределах интересующего нас здесь вопроса стихотворение «Парус» великолепно иллюстрирует зафиксированные словом фрагментарность, динамичность и схематичную общность образа:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

Образ паруса, белеющего сквозь голубой туман на море, на котором ничего не видать, кроме него. Образ очень фрагментарен, очень синекдохичен: только одинокий белый парус и голубой туман на море.

Играют волны; ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...

Явен переход в образе, и можно даже с уверенностью сказать, что плоскость видения в образе как бы несколько опустилась: гнущаяся со скрипом мачта и морские волны. Если предыдущий образ — скорее верх судна (парус), то здесь — волны и сама мачта. И, как бы подчеркивая, что здесь действительно имеет место пере-

ход, с каждым образным пассажем, как бы в качестве интермеццо, переплетаются мысли, связанные с образом:

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

И после второго образа:

Увы! Он счастия не ищет,
И не от счастия бежит.

Наконец третий фрагментарный образ, т. е. низ и верх картины:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.

В результате получились три пассажа: одинокий белый парус в голубом тумане моря — гнущаяся со скрипом мачта и волны — светлолазурная струя и золотой солнечный луч. Три фрагментарных образа и переход от одного из них к другому так, что как бы должна получиться полная картина. Но дело в том, что этой картины не получается. Наоборот, образ в конце становится настолько смутным, что выступает на первый план только что «под ним» и «над ним», и даже не чувствуется, что струя конечно не под парусом и не под мачтой. Но именно эта смутность образа и облегчает иносказательность его.

«Символизация, производимая силой воображения, состоит в том, что она вкладывает в чувственные явления образы, представления и мысли иной смысл, отличный от того, который они непосредственно выражают, но аналогично с ним связанный, а затем представляет эти образы как выражение этого нового смысла». Но «нужно очень различать между символом и значением; не одно и то же, если я говорю, образ символизирует мысли или что он означает то или иное. При символе имеет место колебание между символизированным и символом, нет однозначных отношений, тогда как начерченный математиками образ треугольника выражает понятие треугольника. Между символом и значением можно еще вставить аллегорию; можно сказать, что сущность аллегории состоит в том, что аллегоризированное, правда, дано однозначно, но образ сохраняет еще свою собственную ценность. Можно вообще сказать, что в том ряду, который ведет от восприятия к образу со значением, образ все больше и больше теряет в ценности и что, в заключение, в случае треугольника больше существует понятие значения, а уже не образ. Но еще в символе образ существенное»56. Эта тирада венского психопатолога Шильдера, пусть в несколько неточной формулировке, все же удачно указывает то колебание между символизированным и символом, какое имеет здесь место. Точнее это можно формулировать так: образ настолько уже общ, с одной стороны, и настолько еще в части своих фрагментов своеобразен, что он сам то фигурирует как таковой в своем своеобразии, то, становясь более общим, превращается как бы в другой — сходный — образ.

Но даже и эта формулировка не отличается точностью, и в конце ее, в фразе «превращается как бы в другой — сходный —

образ», надо очень сильно подчеркнуть всю условность этого «как бы». До сих пор, насколько мне известно, в психологии мало обращали внимания на тот факт, что этот «другой — сходный — образ» фигурирует обыкновенно в очень неразвитом вице. В вышеприведенном примере стихотворения «Парус» нет мало-мальски ясного образа одинокого ищущего бури человека, настолько нет, что даже та расшифровка образа «Парус», которая только что дана, может быть оспариваема, поскольку она мало-мальски детальна. Образ очень неясен, и пожалуй его лучше всего назвать образом-чувством: образ «паруса» вызвал то «смутное брожение духа в себе», каковым считает Гегель чувство, и это чувство благодаря весьма разнообразному содержанию, каковым вообще отличается чувство, возбуждает крайне смутный и крайне общий образ человека, возбуждающий те же чувства, что и образ паруса. В сущности в стихотворении фигурируют только образы, имеющие отношение к парусу; образов, относящихся к человеку, нет в том смысле, что они не представляются, они только «чувствуются».

Не раз поднималась дискуссия о роли сознания и бессодержательного в творческом воображении. С одной стороны, сказать, что поэтическое произведение — «надуманное», значит сказать, что оно неудачное, но, с другой стороны, утверждать, что процесс поэтического творчества происходит бессознательно, значит противоречить несомненному факту огромной сознательной работы хорошего поэта над своим произведением. Подобная дискуссия типично метафизична по постановке своего вопроса. Репродукция образа, фрагментарность, динамичность и схематичность его, а также трансформация и реинтеграция его не могут быть вполне непосредственно происходящими процессами, и тогда это — фантастические образы безумного, или частично, и тогда это — образы поэтического вдохновения. Яркость образов, эмоциональность их и, если можно так выразиться, «идущая от сердца» (чувство!) искренность характерны для так развивающегося творчества. Однако все это пока только вдохновение, но еще не творчество. Пока это, повторяем еще раз выражение Гегеля, «смутное брожение духа в себе», иначе говоря, смутное брожение чувств и богатство еще неясно выраженных образов и только. Творчества еще нет. Творчество начинается лишь с того момента, когда субъект становится в определенное отношение к этим образам, именно использует вышеописанные свойства их. Выражаясь словами Гегеля, «высшая сила воображения, поэтическая фантазия, служит не случайным состояниям и определениям чувства, а идеям... Она отбрасывает случайные и произвольные обстоятельства наличного бытия, выдвигает внутреннюю и существенную его сторону и придает ей образ ную форму»57. Художник, поэт, беллетрист и т. д., отражая объективную действительность в образах, выделяют и комбинируют, при помощи творческого воображения, наиболее характерное, типичное существенное в этой действительности.

4. Развитие воображения. «Материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущение. Ощущение зависит от мозга, нервов

сетчатки и т. д., т. е. от определенным образом организованной материи». «Наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира». Ощущения — «образы или отображения вещей». «Зрительный образ дерева есть функция моей сетчатки нервов и мозга»58.

Но «совпадение мысли с объектом есть процесс. Мысль (= человек) не должна представлять себе истину в виде мертвого покоя, в виде простой картины (образа), бледного (тусклого), без стремления, без движения, точно гения, точно число, точно абстрактную мысль». «Для материалиста наши ощущения суть образы единственной и последней объективной реальности, — последней не в том смысле, что она уже познана до конца, а в том, что кроме нее нет и не может быть другой». «Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы (мышление, наука = «логическая идея») и охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы»59.

Полученный вследствие действия материи на наши органы чувств образ, отображение вне нас находящихся предметов и явлений природы не исчезает бесследно, хотя физиология еще недостаточно выяснила, как неврологически представлять себе последействие впечатления на нервную систему. Однако как психологи мы знаем, что запечатленный образ в более или менее ослабленном виде может репродуцироваться. С репродукции начинается работа воображения, понимаемого как оперирование подобными образами, причем не надо смешивать репродукцию с вспоминанием. Вспоминание — сознательный акт, предполагающий отношение субъекта к репродукции, именно как в репродукции, т. е. к образу как к образу бывшего впечатления. Вспоминание таким образом высшая ступень репродукции — репродукция, осознанная и использованная как репродукция. Вспоминать значит пользоваться репродукцией60.

Но репродукция очень часто бывает неосознанной, гораздо чаще, чем это думают. Отсутствие отношения к репродуцированному как таковому, непосредственное переживание репродуцированных образов в настоящем бывает не только в патологических случаях. Сумасшествие, которое само является определенной ступенью психологического развития, лишь в утрированном виде выражает в данном случае то, что на стадии простой репродукции имеет место на каждом шагу в повседневной жизни. Что это действительно так, легко доказать следующими двумя простыми опытами. Первый: показав картину испытуемым различной степени интеллектуального развития, просим затем рассказать о ней. Окажется, что субъекты, наименее развитые (маленькие дети, слабоумные, люда очень плохо знакомые с тем, что изображено на картине и т. д.), расскажут только то, что действительно видят на картине, и — только. Наоборот, в рассказе более развитых поразит,

что в их рассказе то, что они действительно видят на картине, будет занимать лишь небольшое место: в их рассказе будет много материала из того, что они раньше знали61. Так как этот опыт связан с рассказом, то, чтобы отвести возражение, что это специфично только для памяти-рассказа, произведем другой опыт: попросим нарисовать по памяти два рисунка, последовательно показанных испытуемому и частично похожих друг на друга.

В подобном опыте мои испытуемые еще до того, как приступить к рисованию, уже начинали жаловаться, что первый рисунок влияет на второй, мешает верно нарисовать его и т. д. И действительно второй рисунок при воспроизведении отчасти уподобляется первому. Влияние персевераций и репродукций прежних впечатлений на последующие несомненно. Еще в 1903 г. исследователь эволюции и диссолюции образов Филипп писал: «Большая часть наших теперешних восприятий представляет собой не что иное, как старые, но восстановленные впечатления, более или менее ожившие»62. Тот же исследователь обратил внимание на то, что «повторение не умножает образов: оно их генерализирует... Образы, повторяющиеся последовательно один за другим, не умножаются, но смешиваются и вливаются одни в другие, и их число уменьшается по мере того, как увеличивается количество их возвращений... Чем чаще повторяется образ, тем более он имеет тенденцию отдалиться от конкретного типа». Наиболее отчетливы как раз образы не частых, а редких впечатлений63.

«Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (понятия) о них не есть простой, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни... И в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) есть известный кусочек фантазии»64.

Иметь настолько впечатлительную нервную систему, чтобы полученное отображение, пусть хотя бы в ослабленном виде, могло впоследствии репродуцироваться, значит стоять уже на довольно высокой ступени развития. Сомнительно, чтобы подобные образы, по крайней мере зрительные, существовали у животных, разве только у самых высших, и даже у человеческого младенца в самые первые месяцы его жизни. Во всяком случае это еще не доказано. С другой стороны, общеизвестно, как тяжелые механические или токсические повреждения мозга ведут к амнезии и агнозии.

Но иметь настолько сохранившиеся образы, чтобы быть в состоянии при репродуцировании иметь их не моментально, но некоторое время, даже довольно длительное, настолько неослабевшими, что можно их, пусть хоть очень смутно, видеть, это значит иметь еще более совершенную нервную систему. Фантазирование, как бы низко ни расценивал его логически мыслящий взрослый, есть все-таки не низкая ступень интеллектуального развития: в онтогенезе оно фигурирует не с первого года жизни, и даже такой, казалось бы, абсолютно несовершенный вид фантазирования, каким являются галлюцинации, у глубоких идиотов отсутствует.

Репродукция и фантазирование в их элементарном виде происходят обычно непосредственно без вмешательства сознания и усилия с нашей стороны. Наоборот, даже чем пассивней мы ведем себя и чем меньше степень сознания, тем лучше удается такое репродуцирование и фантазирование: максимально ярки образы и максимально оживленно протекают они в сновидениях и галлюцинациях. Но точно так же, как на определенной стадии развиваются помимо непроизвольных движений произвольные, так точно на определенной стадии развития появляются произвольная репродукция, т. е. припоминание, и творческое (поэтическое, т. е., в буквальном переводе, делающее) воображение.

Память, которую нередко в курсах систематической психологии описывают чересчур суммарно, на самом деле имеет очень длинную и сложную историю. Оставляя пока в стороне моторную память (память-привычку), мы имеем возможность в области сенсорной памяти установить несколько ступеней: аффективную память, обонятельную память, вероятно преобладающую у животных ольфакторного типа, зрительную память, преобладающую у такого ярко оптического животного, каким является человек. Но и в области зрительной памяти мы имеем несколько ступеней: простую репродукцию, простое воспоминание и сознательное припоминание. Поскольку речь идет о простой репродукции, не только непроизвольной, но даже и не осознаваемой, когда репродукция происходит автоматически, без усилия со стороны субъекта, и у него даже нет отношения к этой репродукции как лишь к репродукции, то такая простая репродукция бывает не только при зрительной памяти, но и при аффективной и при ольфакторной. Но память как осознание репродукции в том смысле, что она — репродукция прошлого, память-воспоминание, как условимся называть такую память, так сказать, память в классическом (аристотелевском) смысле этого слова, пожалуй, наиболее специфична именно для зрительной памяти, поскольку в области аффективной памяти она почти отсутствует, да и в области ольфакторной памяти не выступает с полной силой. В то время как аффективная и (часто) ольфакторная память обычно не идут дальше узнавания, в зрительной памяти память-воспоминание, т. е. зрительная репродукция, осознанная именно как репродукция, играет очень большую роль.

Но осознание репродукции как репродукции легко приводит к использованию репродукции с целью пользоваться впечатлениями прошлого для тех или иных практических целей — к сознательному, произвольному припоминанию. Такое сознательное пользование образами прошлого по всей вероятности присуще только человеку, да и то примерно лишь с конца второго года жизни. Если онтогенез повторяет (на высшей базе) филогенез, то можно предположить, что и человечество не с первого момента своего существования умело пользоваться воспоминаниями прошлого. Это предположение подтверждается историей языка, в котором на первых стадиях его развития время еще выражается

очень плохо. С другой стороны, нет никаких оснований предполагать припоминание у животных: вернее всего у них имеются только узнавание и простая репродукция, да и то не очень развитые.

Но то же самое достоинство нервной системы, которое обеспечивает прочность образов, именно впечатлительность ее, таит в себе и возможность потери образов. Те из моих испытуемых, которые были максимально способны к зрительным образам, были в то же время максимально требовательны, настаивая, чтобы одна экспозиция зрительного материала отделялась значительным промежутком времени от другой, так как иначе происходит влияние одной на другую. Вышецитированные исследования Филиппа доказали, что «совершенно не усиливая образа с помощью накопления общих элементов, появление образа, аналогичного предшествующему, ослабляет его и стирает присущие ему характерные признаки»65. Таким образом если сохранение образа бывшего впечатления свидетельствует о большой впечатлительности нервной системы, то фигурирование вместо отчетливого образа смутной общей схемы, как это ни неожиданно, с первого взгляда, свидетельствует еще о большей впечатлительности нервной системы, еще о большем совершенстве ее. Как сознательное припоминание, так и общие схемы вместо ярких образов развиваются лишь на более высоком уровне развития нервной системы, что доказывает хронология развития их в онтогенезе. Яркие образы присущи скорее детскому возрасту, а не зрелому.

Но если так, то та зрительная память, которая для древних психологов как бы представляла собою вообще память, так как именно о ней они преимущественно говорили, говоря о памяти, оказывается весьма несовершенной памятью. Оказывается, лучше, яснее всего репродуцируются образы единичных, а не на каждом шагу встречающихся предметов. Но так как единичное встречается конечно реже, то и оно запечатлевается только в том случае, если это по тем или иным причинам сильно действующее на нервную систему впечатление. Таким образом яснее и ярче всего репродуцируются образы исключительных и притом сильных впечатлений. Но хорошо помнить только экстраординарное вовсе не значит иметь хорошую память. Поэтому на зрительную память можно смотреть только как на низший вид памяти. Это не есть еще «настоящая», т. е. достигшая своего полного развития память. С этой точки зрения пожалуй Гегель прав, отказывая этой памяти в праве называться памятью: «Скорее память вовсе уже не имеет дела с образом»66. Прав он и тогда, когда, критикуя мнемонику, «справедливо забытое искусство, занимающееся лишь сочетанием образов», видит в превращении имен в образы низведение памяти на низшую ступень.

Итак зрительная память может оказывать услуги только в экстраординарных случаях. В этом вероятно причины того, что мы пользуемся ею только в этих случаях, а не всегда. Обычно мы пользуемся памятью-рассказом, которая, как увидим дальше,

несравненно полезнее. Встает очень интересный вопрос: существа, находящиеся на более низкой ступени развития, чем взрослые культурные люди, имеют ли лучшую зрительную память, т. е. в состоянии ли она оказывать им большие услуги, чем нам? Правдоподобно предположить, что их образы более яркие, но в то же время более индивидуальные. И то и другое следует из меньшей впечатлительности, иными словами, меньшей развитости нервной системы. Это предположение находит себе подтверждение в том, что детский возраст в одно и то же время и возраст очень ярких образов (что это так, легко проверить, наблюдая маленьких детей играющими с воображаемыми персонажами и предметами), и очень конкретных, часто лишь индивидуальных представлений.. Но количество образов и прочность их вызывают сомнение ввиду той же меньшей впечатлительности, меньшего развития нервной системы. Правдоподобней всего поэтому предполагать, что существа, находившиеся на более низкой ступени развития, чем современные взрослые культурные люди, имели, правда, более яркие образы, но зато их образы еще более индивидуальны и притом немногочисленны, хотя существование их у этих существ так же бросается в глаза, как и эмоциональность, несмотря на меньшее богатство и большую примитивность эмоций. Психологическая причина этого одна и та же: над этой бедной памятью и над этой бедной эмоциональностью еще не возвышается то, что затмит их на высшей стадии развития — память-рассказ и мышление.
В свою очередь эта психологическая причина определяется более глубокой основой, заключающейся в низком уровне развития производительных сил и характера производственных отношений на ранних ступенях общественной истории. Они определили и соответствующие особенности психологии. Детство человека, как и детство человечества, скорее возраст забывчивости, нежели возраст воспоминаний и истории, пусть даже в образах.
Зрительными образами можно пользоваться для припоминания преимущественно экстраординарных по силе и исключительности (индивидуальности, несходности) случаев, и зрительной памятью действительно пользуются, сознательно и произвольно репродуцируя зрительные образы. Но зрительной памятью ввиду вышеуказанных недостатков ее пользуются обычно весьма нечасто.
Зрительная память как память малопригодна. Но, плохо служа в качестве памяти, зрительная память, оказывается, несравненно лучше может быть использована для других целей — для целей творческого воображения. Та самая особенность зрительной памяти (яркость образов только исключительных впечатлений), которая является крупнейшим недостатком ее как памяти, как нельзя лучше подходит для поэтического творчества.
Общеизвестно, как негоден в поэзии избитый образ, но не всегда отдают себе отчет в том, что он негоден именно вследствие той особенности зрительной памяти, в силу которой ярок, ясен только образ необычного, точнее, индивидуального, не смешивающегося с другим. Фраза «я согнал влезшего в цветок шмеля» мало

художественна, так как образ «влезшего в цветок шмеля» обычен в потому «избит» или, точнее выражаясь, стерт: здесь не возникает образа, в лучшем случае возникает лишь смутный, схематический образ. Поэтому Толстой переделывает эту фразу так: «Я согнал влезшего в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля». Он сильно индивидуализирует свое описание, и оно получается более художественным, так как возбуждает индивидуальный и потому более яркий образ67.

Схематичность и привычность («избитость») образов — в такой же мере недостаток для воображения, в какой — преимущество для памяти. Искусство поэта в значительной степени состоит в умении пользоваться яркими индивидуальными образами и в сознательной и произвольной репродукции их. У Чехова в «Чайке» неудачный писатель так сопоставляет себя с крупным: «У него на плотине блестит горлышко от разбитой бутылки, и чернеет тень от мельничного колеса — вот лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе». Но и трепещущий лунный свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля это — то, что мы множество раз воспринимали и от чего поэтому у нас нет яркого образа. Наоборот, блеск горлышка разбитой бутылки на плотине в лунную ночь и черная тень от мельничного колеса, это — редкие и потому яркие образы.

В предыдущем изложении приводились опыты, доказывающие, что яркие образы — эмоциональные образы в том смысле, что то, что вызвало сильную эмоцию, обычно оставляет яркий образ. С другой стороны, в свою очередь яркие образы могут, правда в ослабленной степени, вызывать соответствующие эмоции, как и реальные объективно существующие явления. Эта сравнительно тесная связь между эмоциями и образами объясняет ряд особенностей в поэтическом творчестве. В начале поэтического творчества всегда имеет место известное эмоциональное возбуждение («вдохновение»), предрасполагающее к возникновению ярких образов. Поэтическое произведение, заслуживающее название художественного, не зарождается в эмоционально равнодушном состоянии. С другой стороны, яркие образы поэта имеют свою основу в его эмоциональной биографии. То, что Гете говорит о своем романе «Избирательное сродство», что в нем «нет ни одной черты, которая не была бы пережита», мог бы сказать о своих лучших произведениях любой настоящий поэт. Только те образы действительно художественны, прототипы которых действительно были эмоционально пережиты поэтом. Наконец то поэтическое произведение, которое не производит эмоционального впечатления, не может претендовать на художественность, но одно из средств, которыми оно вызывает такое впечатление, — яркие образы.

Творческое воображение начинается с репродукции ранее полученных образов, и в этом смысле можно сказать, что в творческом воображении нет ничего, чего раньше не было в памяти и восприятии. Но мы уже знаем, что при репродукции образы не про-

сто существуют, но изменяются: репродукция образов переходит в трансформацию их. Иначе говоря, репродукция переходит в фантазирование.

Аналогичное может происходить и обычно происходит при сознательной произвольной репродукции образов. Процесс — изменение репродуцированного образа — остается тот же в том смысле, что здесь имеют место и трансформация, и реинтеграция, и другие уже установленные нами процессы, но меняется отношение субъекта к этому процессу изменения: на низшей стадии процесс изменения образа происходил автоматически и переживался объектом непосредственно, без сознательного отношения к нему; теперь же субъект становится в определенное — активное — отношение к этому процессу, который происходит уже сознательно и преднамеренно, субъект использует фантазирование. Невролог может быть сказал бы, что фантазирование происходит теперь на высшем нервном уровне.

Таким образом как простая репродукция в своем развитии переходит в фантазирование — изменение репродуцированного образа, так и сознательная репродукция зрительных образов переходит в сознательное творчество образов. Если придерживаться обычного понимания репродуцирующей памяти как точного воспроизведения, то приходится констатировать, что воспроизведение как раз имеет тенденцию к неточности в том смысле, что воспроизведенное изменяется то автоматически, то сознательно и преднамеренно. Несколько заостряя, можно сказать, что память появляется, чтобы перейти в фантазию, которая является и противоположностью памяти, и дальнейшим развитием ее. В онтогенезе мы ясно видим, как почти тотчас за возрастом появления воспоминаний (около 2 лет) и рисунка (в 2—3 года) следует возраст фантазии — ранний дошкольный возраст. Да и в человеческом филогенезе самая ранняя история была, в сущности говоря, сказкой.

Мы проследили развитие воображения, понимаемого как оперирование образами, начиная с простой автоматической репродукции и простого спонтанного фантазирования и кончая сознательной, преднамеренной репродукцией и творческим воображением. Мы видим, как репродукция переходит в воображение (в узком смысле этого слова) и как этот процесс повторяется дважды, сначала как автоматический, спонтанный, а затем как сознательный и произвольный, преднамеренный, т. е. повторяясь на высшей базе, так что получается нечто вроде спирали развития памяти. Мы видели наконец, как на каждом завитке этой спирали память переходит в свою противоположность — фантазию.

Но рассмотрение высшего вида фантазии — сознательной фантазии, творческого воображения — нами не доведено еще до конца. И причина этому следующая: высшее развитие творческой (поэтической в точном смысле этого слова: poietiké = способная делать, создавать) фантазии теснейшим образом связано с развитием языка. Пока нет развитого речевого общения с другими в смысле

сообщения им своих воспоминаний и фантазий, нет достаточно сильных стимулов для нарочитой репродукции образов и нарочитого творчества их. По моему предположению, толкнуть на интенсивное пользование репродукцией и творчеством образов могла только практически очень эффективная причина: такой причиной могло быть открытие сильного эмоционального действия на людей соответствующих ярких образов, но такое открытие можно было сделать, лишь когда уже существовало речевое общение. Именно пользование речью на первых порах интенсифицировало развитие сознательного фантазирования. Конечно пока такое предположение — только предварительная, еще ничем не обоснованная гипотеза. Для того чтобы принять или отвергнуть ее, необходимо рассмотреть отношение между воображением и речью.

VI. ПАМЯТЬ, ВООБРАЖЕНИЕ И РЕЧЬ

1. Память и речь. Насколько многочисленны работы, посвященные рассмотрению взаимоотношений между мышлением и речью, настолько необычны работы на тему «память и речь». А между тем на эту тему могло бы натолкнуть уже то, что говорить мы выучиваемся и стало быть память, по крайней мере в процессе овладения языком, на первых ступенях развития речи играет огромную роль.

В онтогенезе понимание речи другого развивается раньше активной речи на данном языке. Но понимание речи предполагает знание значения слышанных фраз, а это знание конечно предполагает память. «Я не помню значения этого слова». Активная речь на родном языке усваивается обыкновенно главным образом путем подражания, воспроизведения, и значит память и здесь играет огромную роль. Об иностранном языке иногда мы заявляем:

«Я долго не говорил на этом языке и разучился говорить на нем, забыл его».

Если приходится доказывать, как увидим в следующих главах, что нет мысли без речи, фонической или внутренней, то вряд ли нужно доказывать, что есть речь без мысли, и такую заученную речь мы нередко слышим от имбецилликов. К сожалению заученная речь без мысли встречается гораздо чаще, чем только у имбецилликов или в состоянии бреда. Но без памяти речи нет, а с другой стороны, нередко амнезия бывает только амнезией речи, например амнезией языка, иностранного или даже родного.

В противоположность современным психологам, сосредоточивающим свое внимание на проблеме взаимоотношения между речью и мышлением, Гегель писал: «Высшим созданием продуктивной памяти является язык, который бывает звуковым и письменным. Так как источником языка служит продуктивная память или мнемозина, то о других его источниках речь может итти лишь в смысле подыскивания определенных знаков»68. Как идеалист Гегель просмотрел материальные источники языка, и его утверждение нуждается в материалистическом исправлении. Но что касается памяти, то, даже относясь критически к гегелевским преувеличениям, все же можно сказать, что память играет большую роль в развитии речи.

Но если это так, то в свою очередь речь, развиваясь, оказывает огромнейшее влияние на память, до того большое, что под влиянием речи память совершенно изменяет свой вид, из образной

(у человека преимущественно зрительной) памяти становясь словесной памятью, памятью-рассказом. Только под влиянием речи память становится памятью в полном смысле этого слова, достигает наивысшего своего развития, но с тем чтобы под влиянием речи же, достигшей ступени письменной речи, стать менее нужной и постепенно отойти на задний план. Таким образом не только память влияет на развитие речи, но и развитие речи в свою очередь влияет на развитие памяти.
В основном стало быть у нас две проблемы — проблема влияния памяти на речь и проблема влияния речи на память. Мы займемся сначала первой проблемой, которая в свою очередь распадается на две проблемы: проблема влияния памяти на семасиологическую сторону речи и проблема речевых навыков, образования речевых привычек. Основной и наиболее трудной является проблема влияния памяти на развитие семасиологической стороны речи. Назовем эту проблему так: «Память и значение слов».
2. Образование значения слова. (Значение слова и образность).
Проблема значения слов — одна из труднейших проблем, над разрешением которой работают и психологи и (главным образом) лингвисты. Но исследования велись преимущественно на флектирующих языках, которые мне кажутся наименее подходящими для этой цели, так как в них процесс словообразования в значительной степени уже ослабел сравнительно с другими языками, и не случайно лингвисты-индоевропейцы исследовали скорее процесс изменения значения слов, нежели процесс создавания значения слов. Для того чтобы выяснить, как создается значение слов, следует, как мне кажется, брать такие языки, где процесс словообразования происходит максимально энергично. Такими языками являются например индейские языки. Эти языки чрезвычайно богаты словами, потому что очень многие из них образуются как бы специально для данного случая, и огромное большинство слов образуется как бы на наших глазах.
Возьмем для примера алгонкинские языки, распространенные на огромном пространстве от Лабрадора до Северной Каролины и от Атлантического океана приблизительно до Скалистых гор и Миссисипи. Почти в каждом алгонкинском слове мы находим основу (иногда не одну) и частицы; все это вместе образует некоторую семасиологическую единицу — «слово», которое семасиологически выступает так ясно, что не возникает сомнений в преде лах его. Основа — тот комплекс звуков в слове, с которым преимущественно связывается значение данного слова, но так как связываемое значение обыкновенно бывает расплывчато, то одной основой удовлетворяться нельзя. Основа — нечто вроде слова, значение которого плохо диференцировано и которое следовательно нуждается, так сказать, в добавочных словах, для того чтоб в конце концов получилось слово с вполне определенным значением. Правда, основы по своему значению могут быть различны, и обычно в начале слова стоят основы с более определенным значением («начальные основы»), а к ним присоединяются

«вторичные основы» с менее определенным значением. Таким образом сама по себе одна основа может иметь слишком широкое значение, и присоединение других основ или частиц уточняет ее. Например в слове «кечикамўи» начальная основа «кечи» дает общее представление чего-то большого, интенсивного и т. п., вторая основа «кам» дает смутное представление неопределенного пространства, а конечная частица «ўи» имеет значение личного местоимения для неживого предмета. Каждый из этих элементов сам по себе имеет слишком широкое значение, но все вместе дает большую определенность, сочетая представления большой величины, неопределенного пространства и неживого. В конце концов такое словообразование сильно напоминает испытуемого в психологических опытах, когда он описывает свой смутный образ так: «я вижу что-то... большое... неопределенное». Разобранное слово действительно означает: «большое безграничное пространство» (например озеро).

Разберем фразу из одного рассказа «Народа красной земли», говорящего на одном из наречий алгонкинского языка: «Wätcikesiyâgisäwă!» ahinâte witâmatcini (произносится приблизительно так: «уэчикесиякгишисэва», «эхиначи уитэмачиний»). Wätci (от utci) имеет значение наречия места «откуда», «оттуда», «из» и т. п., kesia связано с представлением холода; gi — частица, связанная с представлением места: «где», «в», и т. п.; ici выражает идею «сюда», «к» и т. п.; isä выражает идею быстрого движения и wa — третье лицо единственного числа живого рода. Все слово целиком примерно могло бы быть по-русски выражено так: «откуда холод где сюда быстро идет живое», при условии, если бы это была не фраза, а одно слово. Интересно сравнить индейское слово с русской фразой. По-русски мы бы конечно сказали: «Оно бежит сюда с севера». В целом фраза менее образна, чем индейская. Но каждое отдельное слово определенней соответствующего элемента индейского слова.

В следующем слове три элемента: ä — частица, обычная в рассказе, вроде нашего «вот», с некоторым оттенком временного сосуществования; hi значит «говорить»; n имеет значение ручного орудия, инструмента и т. п., даже более широкое значение причинения; a — имеет значение местоимения-объекта и tsi местоимения-субъекта. В целом: «Вот что говорит ему он». В последнем слове (âtämâtcini) wi обозначает сопровождение, товарищество и т. п., ä — вторичная основа, обозначающая положение, состояние и т. д.; m имеет значение делания чего-либо голосом; a — местоимение — объект живого рода, tci — местоимение-субъект, ni — имеет то же значение. В целом по-русски можно было бы перевести «спутники». Опять и здесь это слово гораздо определеннее любого из элементов индейского слова, но индейское слово в целом дает больше материалов для образа69.

Таким образом намечается два, с первого взгляда противоположных вывода: 1) значение элементов слов (т. е. того, что в наших языках оформляется как слово) очень общее, очень недифе-

ренцированное; 2) наоборот, слово (т. е. то, что скорее похоже на нашу фразу) и рассказ сравнительно очень образны, очень конкретны. Обоснуем каждый из этих выводов подробнее.
Начнем с первого. Не надо забывать, что в алгонкинских языках нет ни имен, ни глаголов, поскольку нет ни склонений, ни спряжений (в нашем смысле слова). Если пользоваться нашей грамматической терминологией, то я бы сказал, что если не считать числительных, то в алгонкинских языках имеются только местоимения и наречия, если под последними условно понимать неизменяемую часть речи, похожую то на имя, то на глагол-деепричастие. Возьмем наречие utci («учи» с значением оттуда, откуда, из и т. п.). Присоединяя местоименное окончание живого рода wa, получаем utciwa, дословно «оттуда он».
То, что нам кажется глаголом, есть не что иное, как такое соединение наречия (или, чтобы не возбуждать лишней дискуссии со стороны лингвистов, основы) и местоимения. Основа «пье» имеет очень общее значение — «движение сюда». Присоединяя к этой основе личное местоимение, получаем «спряжение», так что если изменение местоимений принимать за спряжение, то, как ни парадоксально, приходится сказать, что в алгонкинских языках спрягаются местоимения, а не глаголы, которых нет. Если же считать это «спряжение» за признак глагола и считать глаголом всякое слово, с которым связано представление действия или подобное окончание, тогда почти все слова — глаголы и например вышеприведенное слово utciwa обычно переводят, «оттуда он пришел». Но это же слово можно перевести и через существительное: «оттуда он пришелец». Так плохо еще все диференцировано.
Но как очень общее, очень недиференцированное значение может в результате известных комбинаций дать, наоборот, очень образное представление, может иллюстрировать следующий пример. Основа otä имеет значение перемещения по поверхности, производимого с усилиями, медленно и т. д. (например ползанье). Слово «u-mani» (в начале и в конце основы) означает притяжательное местоимение «его», если принадлежащий объект — одушевленный предмет. Значит слово «utotämani», или короче «utotäma» (произносится: ӯтотѐм), буквально значит: «его — перемещаться с усилием». Но наличность притяжательного местоимения придает этому слову, выражаясь нашими терминами, значение существительного. На самом деле это значит «его старший брат». Но в индейской жизни старший брат не то, что у нас: там это слово означает также «охранитель ребенка», «его учитель», «его опекун по клану» и т. п.70. С этим связывается представление усиленных забот и т. п., и структура слова utotäma это образно выражает. Состоя из элементов очень общего значения, индейское слово в целом несравненно образнее и конкретнее нашего «старший брат», так как по-индейски, во-первых, непременно надо прибавить «его», «мой» и т. д., и просто «брат» не существует, во-вторых, это слово относится только к старшему брату, а не вообще к брату, и, в-третьих, оно выражает идею движения. Не просто

«брат», но «его старший брат», точнее «его усиленно движущийся», хлопочущий о нем.

Так называемые агглютативные языки дают богатейший материал для решения проблемы значения слова, так как в них процесс образования слов происходит, так сказать, на наших глазах. Такие ярко инкорпорирующие языки, как индейские, особенно удобны для этой цели, и как раз на их материале мы получили два наших общих вывода. Но чтобы избежать упрека в подборе языков, я возьму еще такие отличные от индейских языки, как полинезийские. Вот для примера самоанское слово «mata». В нем легко различить две части. Первая — ma — имеет чрезвычайно общее значение: «для, к, с, и...» Вторая часть ta — значит «я». Вместе это слово могло бы значить: «мне», «для меня», «ко мне», «со мной», «и я» и т. п., смотря по смыслу всей фразы. Но эти части в истории языка так слились, спаялись, что сейчас это одно слово. Что оно значит? Смысл его еще достаточно неопределенен: оно значит и «лицо», и «глаз», и «смотреть» (в самоанском языке сплошь и рядом одно и то же слово означает и существительное и глагол, так как, строго говоря, в нем нет ни того, ни другого). Но каким бы еще неопределенным ни было это составное слово, нас поражает получившаяся конкретность, образность: вместо местоимения «я», то, что максимально характерно для образа человека и обыкновенно в первую очередь видится, когда образно представляют человека (кстати и в слове «человек» tagata первая часть слова «я», ta) лицо, глаза. В свою очередь mata в соединении с другими словами образует множество новых слов, большинство из которых в высшей степени ярко. Приведу несколько примеров: Matamata (дословно: «смотреть — смотреть») — рассматривать, пристально смотреть, наблюдать и т. п. Mata'u (дословно «угрюмое лицо», где 'u имеет значение досады, угрюмого вида и т. п.) — скупость, скупой, скупиться, жадность, зависть, страх (и соответствующие прилагательные и глаголы). Matapua'a, (дословно: лицо свиньи) — безобразный, безобразие и т. п. (напомним, что обычно только контекст решает здесь, как и в большинстве других случаев, что это: глагол, прилагательное или существительное). Matavale (= «глупое лицо») — глупый, трусливый, увалень. Matamuli (muli = конец, кончать; стоя после имени, может иметь значение прилагательного), «окончательное лицо», т. е. решать. Matapeapea (дословно: лицо «когда? когда?») — алчность, жадность. Mataupu (upu = речь, слово) — учение. Подобных примеров привести можно очень много.

Для тех, кто, подобно мне, присоединяется к ученым, считающим агглютинирование (широко понимая его) очень ранним явлением в языке, проблема значения слов решается просто и ясно: первоначальные слова, очень короткие, имеют очень общее значение, но из этих очень общих слов посредством всевозможных агглютинирующих приемов образуются чрезвычайно образные и конкретные речения. Но чтобы не осложнять нашего исследования дискуссией о первоначальной морфологии языка, возьмем

в заключение какой-нибудь так называемый «корневой» язык и рассмотрим один-два «корня» его с исторической точки зрения. Для примера я беру западносуданские языки и слово nu71.
В различных западносуданских языках оно имеет различное значение. Вот эти значения: человек, глаз, смотреть, нос, рот, пить, говорить, слышать, ухо, рука, пять, два. Можно предположить на основании этого, что первоначальное значение было чрезвычайно общее, означая человека, главные части лица (глаза, рот) и их основные функции (нет четкой грани между именами и глаголами), а также руку (отсюда «два» и «пять»). Но nu легко варьирует в nua и ni. Так например рот в одних языках nu, в других nwa, а в-третьих ni. Значит например nwa (= естъ, кусать) можно отнести сюда же.
Поступим теперь точно так же со словом ni, т. е. соберем различные его значения в разных западносуданских языках. Вот эти значения: «это», «в», «внутренность», «внизу», «земля», «быть кем-нибудь», «я», «имя», «тень», «душа», «пить», «вода», (зуб, глаз, видеть, знать), человек (мать), рогатый скот, слон, (четыре, восемь). Почти очевидно первоначальное значение этого слова как просто указание «это», которое может быть указанием места («в», «внизу», «под», и т. п.) и указанием чего-бы то ни было, но чаще всего человека, иногда и скота.
Не представляет особых трудностей сделать общую сводку значений ni и nu, которые фонетически настолько близки, что сплошь и рядом одно и то же слово одного и того же значения в одних этих языках ni, а в других nu:
Это
в, внутреннее, и т. п.; внизу, под, земля, и т. п.; быть кем-нибудь; человек, рогатый скот, четыре, восемь, слон.
я, глаз, смотреть, знать, нос, рот, пить, вода, зуб, кусать, есть, говорить, слушать, ухо; рука, два, пять,
«имя», «тень, душа», «мать».
Диференциация первоначально крайне общего значения этого слова настолько ясна, что не требует никаких особых пояснений. А что была именно диференциация и первоначальное значение было именно самым общим, видно уже из того, что в различных вариантах этот «корень» фигурирует именно в качестве указательного или личного местоимения в огромном количестве языков в самых различных местах земного шара72.
Но будучи самым общим, это первоначальное значение в то же время и самое конкретное, самое частное, максимально индивидуальное: ведь что может быть конкретнее указания «это» и что может быть общее слова «это»?
3. Речь и указание. В словаре основ западносуданских языков, составленном Вестерманном, читаем: «Hand — ka, — ta, — nú, gua — и в том же словаре читаем: sagen ká —, kan, nú, tá; sprechen gi, gia —, ergählen tá —. Одни и те же «корни» обозначают

и «руку» и «речь». И это понятно: общеизвестно, что сначала человек говорил не только языком, но и рукой. Вот почему во многих самых различных языках эти два слова в сущности одно. Речь и сейчас еще сопровождается жестами.

Из этих жестов в речи самую частую, основную в этом смысле роль играет указывающий жест. Поэтому понятно, что в очень многих языках в сущности одно и то же слово означает: «говорить» и «указывать». Так например в самоанском языке, в словах tacu (cu = досада, угрюмость, серьезность и т. п.; tacu = рассказывать), tautau (и = стрела, камыш; tautau = делать стрелы — делать стрелы = работник, слуга), taumatau (= правая рука) и т. д. мы имеем в сущности одно и то же основное слово ta, и например tacu atu значит и «указывать» и «рассказывать». Но ведь и в русском языке эти слова имеют один и тот же корень, как например и в латинском, где dico — говорю, а indico — указываю.

Но тогда понятно, почему во многих языках в сущности одно и то же слово означает и «этот», «он» и т. п., и говорить. Мы видели это и в вышеупомянутых суданских языках (это = рука = = говорить). Но это же мы видим и в Азии, где например в аннамитском языке no = он, а nói = говорить. Но это мы видим и в индейских языках; так например в языке Билохи «э» значит «это», «он», «говорить». Таких примеров можно привести множество 73.

В какой степени говорение было связано с указыванием, может проиллюстрировать тот же язык Билохи, принадлежащий к языкам Сиу. Предположим, Билохи надо сказать: «у меня есть мать». Он скажет:

nkon ni e' naňki.

Первое слово — составное: nk = я, мне, мой и т. п.; on = делать; ni = двигать, применять и т. п. Второе слово е = это, причем в языке Билохи e' относится всегда к чему-либо предыдущему, притом высказанному, а не подразумеваемому. Наконец n a ň k i имеет очень общее значение кривого, изогнутого предмета, сидящего и т. п. Если пренебречь грамматикой русского языка, то получится нечто вроде следующего: «меня делать причинять это сидящ...» Говорящий сначала называл того, о ком говорит, притом как деятеля, притом указывая на себя (при имени обязательно должно быть местоимение, личное или притяжательное: моя, твоя, его мать; просто «мать» не говорят), затем указывал его («это», «он») и называл его деятельность в данный момент (глагол «быть» слишком абстрактен, чтобы иметься в языке Билохи). Получается нечто вроде: «меняделательница вот сидит», несравненно конкретнее, чем «у меня есть мать». Если вспомнить, как сильно индейцы жестикулируют, то первоначальная психология говорящего эту фразу ясна: он называет и указывает, указывает и называет.

Точно так же и в самоанском языке, если надо сказать: «у этого человека два сына», говорят: 'o le tagata lenei e toalua ona atalii, что по-немецки, если пренебречь немецкой грамматикой, выглядело бы так: der Mann... dieser... es... zwei seine Söhne. Я нарочно прибег к немецкому языку, чтобы подчеркнуть, что и в европейских языках мы имеем явные следы прежней роли указаний (сравни например во французском языке определенный член le = = ille = тот или частое в речи c'est). Первоначальная психология говорящего эту фразу ясна: «этот человек, этот — это два его сына». Подобных примеров можно привести массу и из других языков, например африканских. Но вряд ли в этом есть нужда. Роль указания в истории речи очевидна.

В задачи моего исследования менее всего входит рассмотрение вопроса о происхождении языка. Но одно положение необходимо однако все время помнить: «Язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми». Энгельс детализирует это положение так: «Начинавшееся вместе с развитием труда господство над природой расширяло с каждым новым шагом кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того неизвестные свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению общества, так как благодаря ему сделались более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стала яснее польза этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе орган: неразвитая глотка обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно путем постепенно усиливаемых модуляций, и органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим»74.

Сообщение первоначально по всей вероятности было не только (и не столько) речью, как скорее действием — жестикуляцией и указанием. Речь дополняла собою их и от них главным образом получала значение. Если можно так выразиться, значение речи было очень наглядно: во многих случаях его видели.

4. Рассказ. Для высказывания и понимания простейшей речи — высказывания элементарного желания или указания, обращающего внимание на что-либо, — не требуется большого воображения или памяти: значение произносимых в дополнение к жестам слов, как мы только что сказали, в большинстве случаев просто видится. Во всяком случае не воображение и память здесь на первом плане.

Иначе обстоит дело с рассказом. В истории человечества рассказ встречается чрезвычайно рано: по крайней мере мы встречаем его даже у самых отсталых племен. Больше того: общеизвестна исключительно большая любовь их к рассказам. Но несомненно, в рассказе память и воображение играют большую роль.

При рассказе нет налицо того, о чем рассказывают: его не видят, его надо представлять. Здесь уже выступают на первый план

воображение и память. Но понять, как они выступают здесь, возможно, если мы выясним сначала, что представлял собою раньше рассказ. Для этого необходимо обратиться к нефлектирующим языкам, так как именно в этих языках яснее выступает психология тех, кто создавал наиболее ранние формы языка. Конечно было бы проявлением буржуазно-империалистической идеологии считать, что современный человек, пользуясь таким так называемым агглютинирующим или корневым языком, обязательно должен примитивно думать. Современный немец, говоря фразу: «Этот человек имеет один дом построенный», думает конечно просто «Человек построил дом», но перфектум и артикли в его фразе — свидетельство того, как думали те его предки, которые создавали перфектум и артикли. Точно так же формы и других языков выражают психологию тех предков, которые создавали эти формы. Возьмем один из наиболее простых африканских языков — западносуданский язык эўэ, который лингвисты относят к изолирующим языкам. Предположим, эўэ рассказывает: «он работал для царя». На языке эўэ это будет «эўо до на фиа», что буквально значит: «он делать работать давать царь этот», т. е. «он делал работу, давал этому царю». Представьте теперь, что говорящему только на русском языке надо сказать фразу «он работал для царя» иностранцу, который совершенно не знает этого языка. Вероятно он поступит так же, как мой испытуемый, который, когда ему было дано такое задание, сначала стал производить ряд рабочих движений, потом взял вещь, лежащую на столе, над которым он драматизировал работу, и, двигая ею от себя в воздухе, показывал рукой в пространство, говоря понятное для иностранца слово «tzar». Возможно, так поступали и наши далекие предки: они говорили, драматизируя, действуя, и слово сопровождало их действие. Но тогда, чтобы слушатель, точнее, слушатель-зритель, понял, нужно расчленить действие на ряд последовательных отдельных действий.

Другой пример из того же языка: «Учитель отпускает учеников» («нуфиала на мо на ссронлаўо»). Уже «учитель» будет целых четыре слова: «вещь», показывать, этот (он), этот»; «отпускать» — два слова: «давать, дорога»; «ученики» — три слова: «учиться, этот, они». В общем вся фраза будет буквально значить: «вещь показывать этот он давать дорога давать учиться этот они», т. е. «этот показывает эти вещи, дает дорогу этим ученикам».

Как сложно может получаться в конце концов, иллюстрирует следующий пример. Предположим, я рассказываю: «Он сорвал мне орех, я съел и насытился». Соответствующую фразу на языке эўэ буквально можно перевести так: «он (этот) — или достигать — рвать европеец — орех давать — я я — брать — есть наполнить живот». Так получается подробный рассказ: «он (вот этот) пошел, дошел, сорвал орех европейцу, дал мне, я взял его, ел, наполнил живот». Вряд ли есть риск ошибиться, предполагая, что так рассказывающий когда-то был в то же время действователем, актером, а слушатель его — в то же время и зрителем. Первоначаль-

ный рассказ по всей вероятности был тесно связан с соответствующими действиями и являлся скорее добавлением к ним, сопровождением их. С течением времени однако положение вещей изменилось, и сейчас не рассказ сопровождает действие — пантомиму и мимику, а, наоборот, остаточная пантомима — жестикуляция — сопровождает рассказ.

Такой примитивный рассказ-действие предполагает у рассказчика память-повторение, так как задача рассказчика — воспроизвести максимально детальнее, потому что иначе он был бы не понят слушателями того времени, когда речь только приобреталась людьми. В эту далекую от нас эпоху рассказывание, развивающееся по мере развития общения между людьми, являлось для рассказывающих, т. е. в конце концов вообще для людей, постоянным упражнением их в пользовании репродуцирующей памятью, памятью-повторением. Иначе говоря, так в действии, в процессе общения с другими людьми развивалась произвольная память-повторение, и человек, овладевающий силами природы, овладел и той до тех пор стихийной силой, которой является репродуцирующая память. Возможно, что это были века или даже тысячелетия развития припоминания, т. е., выражаясь специальным психологическим языком, произвольной (волевой) памяти-репродукции (воспроизведения, повторения).

Но по мере развития речи, когда слова, сопровождающие действие, стали уже более привычными, более знакомыми, открывалась возможность уже не пользоваться так часто и интенсивно действием и указанием. Поэтому отпадала уже необходимость в максимально повторяющем воспроизведении: там, где актер должен повторять чуть ли не все действия, рассказчик мог называть только некоторые. Слово начинало выступать на первый план. Рассказ становится из рассказа-действия просто рассказом. Но на первых порах этой стадий вероятно как само рассказывание, так и слушание его было не таким простым делом, как сейчас.

Возьмем начало одного рассказа на языке дуала, принадлежащего к центральноафриканским языкам банту, притом по возможности в максимально точном переводе, т. е., насколько возможно, соблюдая точность не только смысла, но и языка, чтобы не навязывать по возможности наших грамматических форм. Это необходимо в нашем исследовании, потому что именно грамматические формы как продукт создателей их выражают их психологию. Насколько неправильно по грамматическим формам языка судить о сознании тех, кто сейчас пользуется ими, так как они пользуются ими обычно автоматически, бессознательно, настолько можно так судить о тех, кто создавал их, кто начинал ими пользоваться. История языка содержит огромный материал для истории мышления.

Вот таким образом переведенный отрывок из рассказа дуала (члена не перевожу, так как это очень загромождало бы перевод, но к нему вернемся при анализе):

Человек, он — хромота, один. Он был, он родить ребенок, который (дословно: этот «я») он был, вот он — как лодка его и (дословно: этот «я») сад его, так как (= на, ради) копье носить, добывать он помогает этот75.

Разберем начало этого отрывка. Известный знаток языков банту, Майнгоф, переводит его так: «Ein Lahmer hatte einen Sohn», что буквально значит: «один хром — он имел одного сын» (по-русски: «один хромой имел сына», что, с точки зрения истории русского языка, буквально значило бы: «один хром — он имел сын — он»). В первом слове фразы дуала «Moto» первый слог Мо, с нашей точки зрения, член (mo), обозначающий, что данное слово относится к людям, а все слово в целом значит «человек» в том смысле, как украинское «чоловiк», т. е. мужчина. Для тех предков дуала, которые жили, так сказать, на заре истории этого слова, это слово возбуждало или выражало образ: «человек... мужчина». Дальше идет дальнейшее определение его: он (первоначально вероятно значило («этот») — хромой (на разборе этого слова не будем останавливаться). Затем еще определение: один. Только когда, можно сказать, с таким огромным старанием вызван образ (человек — мужчина — хромой — один), начинается рассказ о нем, который ведется не с меньшим старанием, если можно так выразиться, маленькими порциями: «он был», «он родить ребенок», «этот я», «он был», «вот он», «как лодка его», «и сад его».

Привожу начало еще одного рассказа дуала в таком же ультрабуквальном переводе, но уже без подробного анализа, так как это значило бы повторяться:

Этот человек этот прозван так: Мбела. Он был вот он человек хорош очень крепко-крепко. Он был женат женщина одна, которая (= это «я») она была хороша очень, очень. Вот день каждый Мбела он спит вот сон плохой такой: «жена твоя — смотреть ее хорошо»76.

Чтобы не вызвать упрека в пользовании только африканскими языками, хотя бы различных типов (суданский язык эўэ и дуала — язык банту), даю в таком же ультрабуквальном переводе начало одного рассказа на тлингитском языке, распространенном на юго-восточном побережье Аляски и на соседних островах:

В за Ши (остров) вот это: так жить его младший брат много, так назван их старший брат вот: Какъачгук. Вот охота — вот то они вот желать делать. Одна опять ночь вот то: среди кучи островов в море они поплыли77.

Как видим, приемы рассказа в общем те же: все та же, если можно так выразиться, подача рассказа малыми порциями с указанием «вот», «так» и т. п.; все то же старание всячески вызвать основное представление, не останавливаясь перед плеоназмами.

Дадим еще в таком же ультрабуквальном переводе начало одного рассказа на родственном китайскому аннамитском

языке, параллельно приводя перевод, более соответствующий русскому языку:

Жить два: жена, муж
Были супруги
Жена тогда немного вот язык пускать (прощать)
Жена была немного простовата
Муж тогда глупый-глупый, болван-болван
Муж был глуповат
Дурак, нет итти
Непроходимый дурак
Не знать рассказ что кончать
невежда
Жена эта иметь носить
Жена была беременна
Приходить день лежать очаг
Пришло время рожать

Пожалуй можно было бы сказать проще: «Жили одни супруги, оба дураки. Пришло время жене рожать»78. С этой точки зрения аннамитский рассказ, как и предыдущий, поражает плеоназмами, особенно в психологических (т. е. не наглядных) характеристиках, точно рассказчик боится, что его сразу не поймут. И пожалуй правдоподобней всего предполагать, что наши дальние предки понимали далеко не «с одного слова», и так называемые плеоназмы были необходимостью.

Но возьмем еще один отрывок из рассказа «Лис и гиена» на очень распространенном в Северной Африке языке Гауса, в котором грамматические формы сравнительно более развиты. Ультрабуквальный перевод этого отрывка будет таков: Лис, он итти в живот вода, он видит рыба много, он тащить ее, он есть. Он сыт, он оставляет лежать там, он говорить: «кто приходить сюда рыба здесь». Он ожидать немного. Гиена, она итти. Он говорить к гиена: «итти, гиена». Гиена, она итти. Он говорить: «видеть мясо много»...79.

Здесь уже меньше вышупомянутых стараний помочь пониманию указаниями и плеоназмами. Рассказ подымается как бы на более высокую ступень: он сам словами выражает действие, но крайне последовательно и обстоятельно, как бы словами повторяя все действия лисицы. Если раньше было действие, сопровождаемое словами, а потом слова, сопровождаемые действием, то теперь это — только слова, но слова как словесное (т. е. посредством слов) повторение действий, иначе говоря, слова как замена действий. Теперь это рассказ, повторяющий действия не в действии, а в словах.

В результате получается рассказ в буквальном смысле слова, т. е. словесное сообщение. Но слова этого рассказа, если можно так выразиться, очень близки к действию и наглядности. Выражаясь современными терминами, рассказ насыщен действиями и очень нагляден. Как таковой он эмоционально волнует и вызывает образы. Иными словами, это с генетической точки зрения художественный рассказ.

Таким образом с психологической точки зрения можно различать четыре стадии рассказа:

1. Действие, сопровождаемое словами.
2. Слова, сопровождаемые соответствующими действиями и указаниями.

3. Словесный рассказ, очень живой и наглядный (образный).
4. Художественный рассказ.
Речь настолько давнее приобретение человечества, что сейчас даже у самых отсталых народов земного шара мы находим словесный рассказ. Только оживленная жестикуляция, а порою и пантомима, переходящая иногда даже в драматизацию, показывает, как близок бывает еще при соответствующих условиях этот живой и яркий словесный рассказ к предшествующим стадиям развития рассказа.
Точно так же лишь анализ словообразования и образования фразы, демонстрируемый в предыдущем изложении нашим ультрабуквальным переводом, дает возможность лучше разглядеть эти ранние стадии развития рассказа. Для этого анализа мы пользовались нефлектирующими языками как наиболее легкими для этой цели, наиболее ясно демонстрирующими тот путь, который проходила в своем развитии человеческая речь. Но как современный русский, говоря «если дом старый», не сознает, что с точки зрения истории языка это значит: «есть ли дом стар он», так и для современного гаусса «лис, он итти в живот вода» значит просто: «лис зашел в воду». Современное человечество, где бы то ни было, уже настолько хорошо владеет речью, что без особых усилий, так сказать, бессознательно пользуется выработанными предками средствами языка.
Поэтому, переходя к характеристике современных стадий развития рассказа, нужно будет уже отказаться от нашего ультрабуквального перевода, так как он уже дает неправильное представление о психологии современного рассказчика даже у наиболее отсталых народов, слишком, если можно так выразиться, архаизируя его, представляя его более примитивным, чем он на самом деле. Переходя от далекой истории рассказа к современности его, пусть даже у наиболее отсталых народов, мы будем давать точный, но грамматически правильный (с точки зрения русского языка) перевод.
Уже давно наших лучших писателей (например Пушкина, Островского, Льва Толстого) поражали живость и яркость народной речи. То же поражало многочисленных путешественников в речи открываемых ими племен. Это бесспорный факт. Но чтобы рассмотреть, в чем здесь дело и почему это так, возьмем один из подобных рассказов.
Из индейских народов Северной Америки наиболее отсталыми считаются калифорнийские индейцы: «В известных отношениях, я думаю, существует большая разница между индейцами Калифорнии и индейцами Новой Мексики, чем между последними и европейцами» (Jaime de Angulo). Но именно поэтому рассказ калифорнийского индейца интересен для нас. Я приведу начало рассказа одного из них о том, что он делал вечером, придя в первый раз к знакомому европейцу в его дом. Вот оно:
«Когда я пришел сюда к вам в гости, я позаботился говорить им, всему, что кругом здесь. Это дерево там, у угла вашего дома,

я ему говорил в первый вечер перед тем, как лечь. Я вышел на балкон и закурил. Я послал к нему дым моего табака. Я сказал: «Дерево, не делай мне зла, я не плохой, я не пришел сюда сделать зло кому-либо, дерево, будь моим другом». Я говорил также вашему дому. Ваш дом имеет жизнь, он — кто-то. Вы его сделали. Ну да, вы его сделали для какой-то цели. Ваш дом — живое лицо. Он хорошо знает, что я здесь чужой. Тогда я ему послал дым моего табака, чтоб сделаться другом с ним. Я ему говорил. Я ему сказал: «Дом, ты — дом моего друга, не надо делать мне зла, не дай мне заболеть и может быть умереть в гостях у моего друга; я хочу вернуться в мою страну так, чтобы со мной не случалась беда. Я не пришел никому делать зло. Наоборот, я хочу, чтоб вы были довольны. Дом, я хочу, чтобы ты покровительствовал мне». Это также я сделал. Я обошел все вокруг дома. Я послал мой дым ко всему, чтобы сделаться другом со всеми. Несомненно, было много вещей, которые смотрели на меня ночью, и я не видел их. Откуда я знаю? Может быть жаба. Может быть птица. Может быть червяк. Все они, я уверен, смотрели на меня».

Это простой рассказ очень отсталого индейца, но он поражает нас не только своим гилозоистическим содержанием, но и яркостью и живостью изложения. Рассказ очень подробный, его можно было бы назвать до известной степени рассказом-повторением. Он обстоятельно отражает в словах то, что делал накануне перед сном пришедший в чужой дом индеец: что видел и делал, говорил и переживал индеец, выступает в нем очень ярко.

Но это рассказ-повторение, рассказ-репродукция. Однако из предыдущей главы уже известно, как легко переходит репродукция В фантазирование. Рассказ в таком случае не повторяет действительности, он трансформирует ее, но этот трансформирующий действительность рассказ все так же конкретен, ярок и подробен, полон повторений. Он как бы повторяет в разных вариантах одно и то же.

У старого негра Кабамба умер последний сын. Он сидит над трупом его и рассказывает, «говорит» о своем горе. Вот его рассказ, приведенный с несколькими пропусками, обозначенными многоточиями:

«Кабамба, мужчина, имел десять детей. Все десять детей умерли... Кабамба вышел из деревни на средину улицы. Он услыхал, человек идет. Это был вечер. Кабамба спросил: «Где мои десять детей?» Вечер сказал: «Я — вечер». Он прошел мимо.

Кабамба увидел, человек идет. Это был час разговоров. Кабамба спросил: «Где мои десять детей?» Час разговоров сказал: «Я — час разговоров». Он прошел мимо.

Кабамба услыхал, человек идет. Это был крепкий сон. Кабамба спросил: «Где мои десять детей?» Крепкий сон сказал: «Я — крепкий сон». Он прошел мимо.

Кабамба услыхал, человек идет. Это был неспокойный сон.

Кабамба спросил: «Где мои десять детей?» Неспокойный сон сказал: «Я — неспокойный сон». Он прошел мимо.
Кабамба услыхал, человек идет. Это была утренняя заря. Кабамба опросил: «Где мои десять детей?!» Утренняя заря сказала: «Я — утренняя заря». Она прошла мимо.
Кабамба услыхал, человек идет. Это было утро. Кабамба спросил: «Где мои десять детей?» Утро сказало: «Я — утро». Оно прошло мимо...
Смотри, все проходит мимо, как вечер, как час разговоров, как крепкий сон, как неспокойный сон, как утренняя заря, как утро. Твои сыновья также прошли мимо».
Несчастный старик, потеряв всех своих десять детей, сидя у трупа последнего, как бы кричит в горе: «Где мои дети?» Единственное утешение, которое он находит себе, — что все, существующее во времени, преходяще. Но это уже наша формулировка, абстрактно-философская. В его сознании и речи нет абстрактного понятия и слова «время» в том смысле, как это есть у нас. Для него время — вечер, ночь, утро и т. д. В его воображении образ его самого, спрашивающего у проходящих «времен», где его дети. И этот образ в различных вариантах повторяется. Рассказ в значительной мере ряд повторений этого образа.
От этого, так сказать, на наших глазах рождающегося рассказа меньше одного шага к тем рассказам, которыми так богата словесность самых различных народов и которые вполне можно отнести к художественным рассказам народов, не знающих еще письменности. В доказательство я приведу один такой рассказ, в различных модификациях имеющийся у самых различных народов.
Я привожу его в индейском варианте, менее модернизованном. Несмотря на свою гораздо большую сложность, он, в сущности очень родствен только что приведенному рассказу:
Жил когда-то народ. Он умирал от голода. Много стариков умирало. Они пробовали добывать улиток, но в раковинах была только вода. Они пробовали добывать ракушек, но они были пусты. В них не было мяса. Народ голодал. Когда охотник уходил убивать лосей, он не убивал ни одного лося. Когда охотник уходил убивать тюленей, он не убивал ни одного тюленя. Все охотники возвращались с пустыми руками. Голод держал у себя все кости — бобра, енота, осетра и медведя. Он держал у себя кости всех животных и морские раковины.
Жили были два молодых друга. Зимой народ снова голодал. Умирал от голода старик, умирали от голода бедные дети. Тогда один из юношей сказал своему другу: «Я вижу, как идет голод. На его спине рогожа. Он ходит кругом наших мест. Он идет. Разве ты не видишь его?» Так он говорил своему другу. Его друг отвечал: «Я не вижу его. Только ты видишь его». После полудня дети начали кричать. Они были голодны. На следующий день друзья лежали в постели. Они долго спали. Затем один из них сказал другому: «Вот голод снова ходит. Разве ты не видишь его?» Тогда первый юноша сказал: «Завтра я отниму у него рогожу».

«Увы, — отвечал другой, — наши родные бедны. Старики и дети не имеют ничего».
На следующий день они имели для еды только корни папоротника. Друзья лежали и спали. После полудня один сказал другому: «Смотри, голод идет». Другой уже видел его. Первый сказал другому: «Я отниму у него рогожу». Другой ответил: «Увы! Наши бедные родные!». Голод сначала заглянул в крайний дом. Затем он стал заглядывать в другие дома. Наконец он подошел к ним. Когда он смотрел в дом, дети начинали кричать от голода. Затем голод повернулся и ушел. Когда голод отошел, один из юношей сказал: «Смотри, он идет обратно. Он не приходил к нам». Но другой юноша видел, как голод смотрел в дом.
Его друг сказал: «Я отниму рогожу у него», а он ответил: «Увы, наши бедные дети и наши бедные старики». Пришел день. После полудня они лежали в постели. Второй из друзей увидел, как идет голод. Тогда первый из друзей сказал: «Смотри, идет голод». Но второй уже видел его. «Ладно, я брошусь на него и отниму у него рогожу». Ноги у голода были длинные, а его волосы были также длинные. У него было мало волос, но они были длинные. Голод опять подошел к крайнему дому и стал смотреть в него. Дети стали кричать, а старик умер от голода. Голод засматривал во все дома и подошел также к дому друзей. Он простоял у дверей дома и повернул назад. Когда он отошел, один из юношей сказал: «Смотри, он повернул назад. Он не приходил к нам. Может быть он знал, что я намерен отнять у него рогожу». Тогда другой юноша подумал: «Он не видел его. Голод стоял у наших дверей, а он говорит, что голод не приходил к нам80».
5. Начало развития вербальной памяти. Известный исследователь Африки Фробениус рассказывает, что когда однажды он повторил дословно только что услышанный им рассказ, рассказчик категорически заявил, что он этого не говорил. Даже дословное повторение не оказалось вполне удовлетворительным повторением: не была воспроизведена ни жестикуляция (драматизация), ни интонация (декламация), которые очевидно при рассказе играли во всяком случае не меньшую роль, чем речь.
На начальных стадиях речи, где слово, имеющее притом чрезвычайно общее значение, является только придатком к действию и где рассказчик скорее актер, а слушатель скорее зритель, с проблемой значения слов дело обстоит не очень остро. Помнить небольшое количество слов чрезвычайно общего значения, притом являющихся лишь придатком к действиям и возможно еще связанных с ними сравнительно прозрачной, так сказать, «естественной» (рефлекторной, имитирующей и т. п.) связью, нетрудно. Пожалуй до того нетрудно, что вербальная память здесь функционирует лишь в зародыше.
Но даже когда в разговоре и рассказе выступила на первый план именно речь, а не действие, речь эта была очень экспрессивна, и если говорящий переставал быть действующим актером, то он в сильнейшей степени еще оставался декламатором. На

ранних стадиях истории языка речь и пение еще не совсем отдифференцировались друг от друга: повышение и понижение тона, а также долгота и краткость слога играют большую роль. Но тогда значение слова сильно зависит от интонации, и например в суданском языке гола слово di в зависимости от интонации имеет 5 различных значений (голова, рогатый скот, коза, земля, маис). Есть предположение, что интонация имела определенную связь со значением81. Так например в том же языке гола, как и в ряде других языков, название больших предметов произносится низким тоном, а маленьких — высоким. Если так, то интонация на данной стадии развития речи сильно помогала высказыванию и пониманию высказывания. И сейчас, когда мы слушаем декламацию на совершенно непонятном языке, нам даже такая декламация все-таки кое-что «говорит». Вспомним, что дети начинают понимать тон голоса взрослых гораздо раньше слов, а их собственная ранняя речь эмоционально очень выразительна. Правдоподобно предположить, что на данной стадии разговора или рассказа слушатель понимал не только потому, что слушал речь и видел жесты, но и потому, что «чувствовал» интонацию.
Экспрессивности ранней стадии рассказа содействовала также сначала развитая подражательность речи. Когда мы читаем рассказы нецивилизованных народов, нас поражает в этих рассказах обычай так называемой прямой речи: если говорят о ком-нибудь, то его слова не пересказываются, а повторяются буквально. Но в устном рассказе это повторение — повторение не только слов, но и голоса, интонация и т. п., того, чьи слова повторяются82. Такая экспрессивность интонации и звукоподражательность облегчали рассказ и понимание рассказа, подобной, так сказать, эмоциональной и звуковой наглядностью. В результате как более наглядный такой рассказ предъявлял к памяти меньшие требования. Из рассказов путешественников известно, что большое место занимает слушание всяких сказаний в жизни нецивилизованных народов, как бы заменяя им чтение. При этом рассказчик каждый раз, когда рассказывает данный рассказ, обычно рассказывает его слово в слово, как и в предыдущий раз, и если он изменяет хотя бы одно слово, аудитория тотчас поправляет его так же, как делают это сейчас наши дети, в n-й раз с тем же, и даже с большим, удовольствием, слушая одно и то же и требуя одного и того же. Притом и самый рассказ, как это мы уже раньше видели, сам по себе уже полон повторений. Даже уже на заре цивилизации столь часто повторяемая перед греческими слушателями «Одиссея» или «Илиада» с ее столь характерными повторениями в тексте как бы является отзвуком этого раннего рассказывания.
Но не только в рассказе, а и в простом разговоре повторение играет на этой стадии немалую роль: не говоря уже об общей склонности примитивного собеседника повторяться, воспомним из рассказов путешественников, какую большую роль даже в самом обычном разговоре играют различные, так сказать, формулы

речи: ими пестрит и речь индейца, и речь негра, и речь кочевника азиатских степей и т. д.
Люди были теми, кто создал язык, но они же были и теми, кто усвоил язык, и каждый новый этап языкового творчества происходил на базе уже определенно усвоенного языка. Люди не только создавали язык, но они и выучивались ему. В истории языка имеет место не только творчество, но и память — вербальная память, как условимся ее называть.
Вербальная память так же, как и все остальное, имеет историю. На ранней стадии, где говорящий — действующее лицо или актер, а слушатель — также и зритель, и где слова имеют очень общее значение, являясь лишь дополнением к действию, вербальная память еще не играет по всей вероятности значительной роли: значение речи скорее видится. Но и на следующей стадии, когда речь благодаря интонации, звукоподражательности и т. п. была эмоционально очень выразительной, вербальная память, хотя уже заметно фигурирует, все же далеко еще не играет той роли, какая предстояла ей впоследствии: если можно так выразиться, говорение и понимание требовали благодаря эмоциональной и звуковой выразительности меньше специально лингвистической подготовки, меньше вербальной памяти. На заре истории первобытной культуры вербальная память играла вероятно сравнительно небольшую роль.
Вербальная память, насколько можно об этом судить по характеру рассказов и фразеологии нецивилизованных народов, в ранней своей истории выступает главным образом как память-повторение. В самых различных видах и вариантах фигурирует повторение в этих рассказах. Рассказ, обычно очень обстоятельный и подробный, как бы повторяет словами то, о чем он рассказывает, являясь как бы повторением в словах соответствующих фактов, реальных или сфантазированных. Но рассказ повторяет не только события, факты, но также, если можно так выразиться, он повторяет (полностью или частично) самого себя то в отдельных выражениях (например эпитеты, одно и то же сказуемое или подлежащее и т. д.), то даже в целых фразах. Самоповторяясь до известной степени уже в процессе рассказывания, рассказ в целом в свою очередь сплошь и рядом неоднократно повторяется, притом с максимальной точностью. Повторение в самых различных видах его насыщает вербальную память на этой стадии ее развития.
Так вербальная память выступает преимущественно как память-повторение. Но повторение является не только выражением памяти, но и упражнением ее: многократно повторяемое лучше запоминается. Вот почему эту стадию развития вербальной памяти можно назвать также школой упражнения этой памяти. В онтогенезе это — дошкольный возраст, когда дети то и дело повторяют слова и рассказы окружающих, поражая нас то своим знанием наизусть, будучи еще неграмотными, многих сказок и стихов, то своим неустанным слушанием бесконечное количество раз одной и той же прекрасно известной им сказки, то своим копированием

речи других, начиная с интонации и кончая содержанием фраз. Выучиться говорить значит также привыкать говорить определенным образом — не только определенными словами и определенными грамматическими формами, но и определенными сочетаниями слов, определенными фразами и т. д. Это верно и для онтогенеза и для филогенеза.

Такая вербальная память-повторение кажется памятью par excellence. Она точна, но именно точностью воспроизведения обычно оценивают память. В известном смысле она даже точнее образной памяти, поскольку образы имеют тенденцию трансформироваться, а фразы могут повторяться без изменения. Другое ее преимущество перед образной памятью — большая зависимость от воли: репродуцировать образ не всегда в нашей власти, и именно образы повседневного не ярки, но снова произнести известную фразу ничего не стоит. Точность и большая зависимость от нашей власти — это такие огромные преимущества, что человек пользуется преимущественно вербальной памятью и только в исключительных случаях прибегает к образной. Та наша память, которой мы постоянно пользуемся, — вербальная память.

VII. ВЕРБАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

1. Предварительные критические замечания. Со времени Эббингхауза принято требовать, чтобы при экспериментальном изучении памяти материал, подлежащий заучиванию, был таким, по отношению к которому все испытуемые находились бы в равных условиях. Таковы, поскольку речь идет о вербальном материале, бессмысленные слоги. Именно на таком материале обычно производились соответствующие экспериментальные исследования. При этом, несмотря на разнообразие применяемых в этих исследованиях методов, суть их в конечном счете одна и та же: испытуемый должен так или иначе репродуцировать предъявленный для запоминания материал.

То, что на самом деле изучали так работающие исследователи, была всего лишь репродукция бессмысленных слогов (в лучшем случае слов чисел и т. п.). Тем не менее эти исследователи, начиная с того же Эббингхауза и кончая Г. Мюллером и многочисленнейшим рядом их последователей, проявили склонность чрезвычайно широко толковать полученные результаты, например как «законы репродукции представлений», «законы памяти» и т. п.83. На самом же деле здесь исследовалась только память-повторение, да притом только вербальная или даже не вербальная (так как бессмысленные слоги лишены самого существенного признака слова — значения), а если можно так выразиться — речевая (в смысле простого артикулирующего произношения). Когда мне дают «фиф», «шет», «кел» и т. п., я, восприняв их тем или иным способом, затем просто произношу эти слоги, насколько помню. Вряд ли можно было придумать менее подходящие для изучения представлений опыты.

На непрактичность и бесплодность подобных исследований указывал еще Джемс. Но поскольку они исследовали одно, а выводы относили к совершенно другому, постольку эти исследования не только малоплодотворны, но и полны ошибок. Насколько сомнительны пресловутые «законы репродукции представлений», может иллюстрировать следующий пример. Г. Мюллер, после Эббингхауза самый крупный исследователь в этой области, считая основными законами репродукции представлений закон сосуществования и закон последовательности, так формулирует закон последовательности: «Если представление b следовало за представлением a то при всплывании a имеется тенденция к репродукции b»84. Эта казалось бы, общепризнанная формулировка ассоциации представлений по смежности во времени мало соответствует действитель-

ности, все равно, идет ли речь о представлениях-образах или представлениях-мыслях. В одной из предыдущих глав уже был дан анализ течения зрительных образов, и там, как мы видим, этот закон не играет роли. С другой стороны, анализ так называемых «предпочитаемых ассоциаций» не дает никаких оснований утверждать, что представление имеет хотя бы сколько-нибудь преобладающую тенденцию вызывать представление, следовавшее за ним прежде85. Так например представление страницы многократно следует за представлением книги, но ассоциация «книга — страница» далеко не частая. Однако стоит этот мнимый «закон репродукции представлений» формулировать как «закон репродукции речевых движений», и он будет вполне верен: «Если одно слово (фраза, речение и т. п.) следовало за другим, то при репродукции последнего имеется тенденция к репродукции первого». Например: «буря мглою...» и невольно хочется продолжить: «...небо кроет».

В экспериментальных исследованиях памяти, о которых идет речь здесь, не только моторно-речевые ассоциации изображались как ассоциации представлений, но вообще очень злоупотребляли термином «ассоциация». Конечно с известной точки зрения все что угодно можно называть «связью» или, несколько изменив обычное словоупотребление, «ассоциацией», но это в данном случае скорее выглядит как словесная натяжка, чем как научно обоснованные выводы. То и дело встречающиеся в подобных случаях «ассоциации» немецких исследователей (например того же Г. Мюллера) или «связи» американских психологов (например Торндайка) в огромном большинстве случаев или словесная натяжка, или нарочитое сужение выводов. Так например Г. Мюллер так формулирует один известный мнемический факт: «Данное большое число повторений дает более сильные и медленнее затухающие ассоциации, если они распределены на более длинном промежутке времени, чем тогда, когда они скучиваются в определенном пункте времени»84. Но вот я даю испытуемому заучить всего лишь одно эскимосское слово «тингумиссаралуарлонго», и этот же мнемический факт имеет место и здесь. Конечно при желании и здесь можно говорить о связи или ассоциации слогов, но от научного исследования мы вправе требовать не словесных натяжек, не игры значениями терминов, а ясной формулировки проблемы: если здесь хотят иметь право говорить об ассоциациях представлений, то надо указать, что здесь понимать под представлениями, сколько их и какие они и т. д. Обычный недостаток подобных исследований — умалчивание, между чем и чем та «ассоциация» и «связь», о которых так неустанно они говорят: избегают определенно указывать, что именно с чем в данном случае связывается или ассоциируется. Легко видеть, что в вышеприведенной формулировке Мюллера термин «ассоциация» с большим успехом можно заменить словом «впечатление» или «запоминание», а по отношению к слову термин «связь» имеет уже

совершенно иной смысл и легко может быть заменен термином «комплекс» (слово как комплекс слогов или звуков).
Метод (повторение) и материал (бессмысленные слоги и т. п.) исследований делали тему подобных исследований очень ограниченной. Но если бы недостаток этих исследований состоял только в той непрактичности и малоплодотворности, за которые их упрекал Джемс, это было бы еще полбеды. Основной недостаток этих исследований — их ошибки. Первая из этих ошибок — подмена тезиса: они претендуют дать «законы репродукции представлений», тогда как на самом деле они не это изучали и потому о репродукции представлений могут выставить лишь, как мы видели, отчасти неверные, отчасти путаные утверждения. Вторая из этих ошибок — стремление во что бы то ни стало всюду проводить ассоциационизм, или, как его называют в последнее время (Торндайк), коннекционизм, идя для этой цели на игру словами (quarternio terminorum), неопределенность утверждений (связь — между чем?) и т. п. Все это приводит к тому, что результатами многочисленных экспериментальных исследований памяти, ведшихся в духе Эббингхауза и Г. Мюллера, можно пользоваться лишь в очень небольшой мере, да и то с огромной осторожностью. Эти исследования были скорее тупиком для проблемы памяти, нежели путем с большими перспективами. На этот путь вышли только тогда, когда отошли от традиционых экспериментов в стиле Эббингхауза — Мюллера, и самые крупные работы по памяти за последнее десятилетие, работы Жане и Бартлетта, уже совершенно в ином стиле.
2. Сущность вербального запоминания. В нижеследующем описываю, как я запоминал вышеприведенное эскимосское слово «тингумиссаралуарлонго».
Прочитав про себя данное слово, я, не глядя на текст, повторил его. Репродуцирование вышло так: «тингу...лонго». Иными словами, я запомнил сразу только начало и конец слова; относительно середины слова я помнил только, что она есть, но какая она, воспроизвести не мог.
Тогда я обратился как раз к неудавшейся мне середине слова. Почти сразу я узнал здесь знакомое мне, и неудавшаяся при репродукции середина «миссаралуар» представилась мне как мис-сар-луар, причем было сознание, что мис — английская miss, сар — Саар, которое я обычно произношу как «Сар», и луар — Луара. Ассоциационист сказал бы, что я «ассоциировал» данные слоги эскимосского слова с соответствующими знакомыми словами. Но такое утверждение было бы просто теоретической выдумкой. Я конечно вовсе не «связывал» этих слогов с теми словами, а просто в этих слогах узнал те слова, и поэтому эти слоги стали для меня не бессмысленные слоги, но слова: не слоги я связывал с словами, а эти слоги перестали быть для меня слогами, стали словами.
Узнав в этих слогах знакомые слова, я опять, не глядя на текст, попытался воспроизвести данное слово и потом проверил. Оказа-

лось, что «все репродуцировано правильно кроме одного: вместо «саралуар» я сказал «сарлуар». Тогда я уже сознательно и преднамеренно применил поправку, чтобы не пропускать в будущем «а»: я эту середину осознал как «мис-сара-луар», т. е. «Мисс Сара» — «луар». В то время как в первый раз узнавание в слогах знакомых слов происходило сразу, без какого-либо усилия с моей стороны, и ни о каких мнемонических приемах я тогда не думал, теперь я уже преднамеренно пробовал использовать узнавание как полезный для запоминания прием, причем остановился на «мисс Сара» не сразу и с колебанием. Дальше получилось как бы одновременное сосуществование в сознании двух рядов: «мисСарЛуар» и «мисСараЛуар», т. е. и невольно и произвольно образованных рядов, и оно мне, как я чувствовал, очень помогало: в основном я пользовался рядом «мис Сарлуар», но ряд «мисСараЛуар» в то же время напоминал мне об «а».
Через 20 минут после этого я снова попытался вспомнить слово. Оказалось, что теперь, наоборот, я безошибочно воспроизвел (как и во всех последующих проверках, ведшихся на протяжении 24 часов) средину слова, а начало и конец его забыл. Тогда я обратился снова к чтению слова, сосредоточив внимание на начале и конце его. Очень скоро я узнал в конце «лонго» знакомое латинское слово, и с тех пор всегда удачно воспроизводил и конец, в первое время иногда немного сбиваясь в последней гласной (о — е). Но начало слова «тингу» мне упорно не удавалось запомнить. Я повторял много раз все слово, запоминал его, но при проверке через 1/2 часа забывал. Утром на следующий день (напоминаю, что весь опыт происходил на протяжении 24 часов), проснувшись, я снова не смог воспроизвести «тингу», воспроизведя все остальное. Тогда я принялся много раз повторять «тингу». Благодаря многократному и частому повторению мне удалось подняться над первой стадией моего запоминания этого слова — полного или частичного невоспроизведения его (например: «совершенно не помню», «т... г...» и т. п.). Но повторение не спасло меня от второй стадии — искаженного воспроизведения: я воспроизводил все, но искажая, причем искажения отличались известным постоянством (вместо «тингу» я чаще всего говорил «тангу» или «тинго»). Возможно, что эти искажения в сущности все были тем же превращением незнакомого в более знакомое: из «тинго» делалось «тангу» под влиянием «танго» и «тинго» под влиянием «лонго» и «динго». Однако повторения врезали все же в конце концов мне в память «тин», и я только помнил, что нельзя говорить «го», как в конце слова («лонго»).
Приведенный опыт показывает, что надо различать первичное и окончательное запоминания. В приведенном опыте первичным запоминанием было запоминание только начала и конца, т. е. того, что как раз было забыто в дальнейшем. Опыты над запоминанием рядов слогов, чисел, слов и т. п. показывают, что при прочих равных условиях начало репродуцируется лучше всего, а середина — хуже всего. Поскольку это положение уже давно устано-

влено в экспериментальной психологии, нет нужды здесь его специально доказывать, достаточно привести лишь соответствующую таблицу из Эббингхауза86.

Порядковое число членов ряда	Число подсказок экспериментатора при: 48 рядах из 10 слов	63 рядах из 12 слов
1	0	0
2	3	11
3	6	21
4	9	13,5
5	23	35
6	24	36
7	31,5	35
8	25	29,5
9	23	43
10	5,5	37,5
11		34
12		11

Окончательное запоминание зависит от той работы, которая велась по запоминанию. Эта работа состоит прежде всего в осознании знакомого. Это стремление узнавать в подлежащих заучиванию материалах знакомое настолько велико, что оно дает себя чувствовать даже в опытах с нарочито подобранными бессмысленными слогами: «Все снова и снова встречаются в соответствующих работах указания, что так называемая бессмысленность слогов вовсе не существует, что они, напротив, различнейшими способами достигают значения»87. Что в данном случае имеет место не связывание, ассоциирование, одного слова с другим («сар» с «Саар») и не подстановка другого слова вместо первого, а просто узнавание в данном начертании или произношении такого-то слова, — об этом уже говорилось выше. Но узнать известное, т. е. то, что помнишь, значит сильно облегчить себе запоминание.

В случае запоминания того, что действительно запоминается, а не узнается, т. е. в случае, типичном для проявления памяти как памяти, основное значение имеет повидимому число повторений. Так по крайней мере говорит нам повседневный опыт: в тех случаях, когда различные мнемонические приемы оказываются не имеющими применения, т. е. когда приходится брать, что называется, только памятью, приходится «просто запоминать», мы прибегаем обычно к повторениям. Однако, как ни странно, в психологической литературе мы находим скорее тенденцию недооценивать роль повторения.

Уже издавна указывают, как часто какой-нибудь единичный

случай, особенно если это исключительный случай, запоминается на всю жизнь, а, с другой стороны, весьма многократно повторяющееся впечатление вовсе не запоминается88. Здесь, мне кажется, имеет место столь обычное смешение различных видов памяти: зрительные образы повседневно повторяющихся впечатлений обычно смутны и менее ясны, как это показали еще в первом десятилетии нашего века опыты Филиппа, повторение здесь даже может вредить, но вряд ли кто станет утверждать, что повторение вредит в случае моторной памяти, т. е. при образовании привычки. Поэтому приведенные возражения в случае вербальной

памяти ничего в сущности не говорят. Если я не помню циферблата своих часов, на который то и дело смотрю, то ведь я смотрю на него, а не твержу его. Подобного рода возражения — не возражения, так как они относятся не к вербальной памяти.

В последние годы с отрицанием значения повторения выступал Торндайк89. Он полагает, что экспериментально доказал, что повторение само по себе значительной роли не играет. Так например он дает испытуемому читать пары, где первое слово — слово, второе — число (например хлеб 29, стена 16 и т. п.). Когда затем испытуемого спрашивают, какое слово идет за данным числом, он затрудняется в ответе, и количество повторений, оказывается, не играет роли: решающим, по мнению Торндайка, является «принадлежность» (Belonging) к одной и той же паре, вообще к одному и тому же целому. Рассуждения Торндайка поражают своей элементарной ошибочностью. Еще задолго до Торндайка, в эпоху Эббингхауза и даже раньше, было установлено, что при запоминании огромную роль играет «Zugehörigkeit zu einem Ganzen». Испытуемый в данном случае заучивал в качестве такого целого пары «слово-число». Отвечать же он должен был совершенно иное: не то, что он учил, а совершенно иное — не пары, а соединение конца одной пары с началом другой. Испытуемый должен был действовать в направлении, как раз противоположном тому, в котором он упражнялся: он упражнялся в парах, а здесь ему предлагали проявить уменье расторгать пары. То, что это не удавалось ему, не опровергает значения повторения, а, наоборот, подтверждает. Данный эксперимент Торндайка — эксперимент на способность разучиваться, освобождаться от привычной рутины, доказывающий обратное тому, что хочет им доказать Торндайк.

Что число повторений на самом деле играет роль, настолько, казалось бы, несомненно, что не стоило бы и доказывать это: массу вещей (слов, стихов, дат и т. п.) мы можем запомнить не сразу, но только повторяя несколько раз. Так например Эббингхауз запоминал ряд из 6 бессмысленных слогов сразу, а из 36 — лишь после 55 повторений. Роль повторения можно проиллюстрировать очень простым опытом. Испытуемому один раз читают ряд чисел (двухзначные или трехзначные), причем некоторые цифры повторяются чаще других, а затем просят воспроизвести. При воспроизведении ясно выступает влияние как начала ряда, так и повторяющихся цифр. Так например читаю испытуемому: 4, 61, 73, 89, 157, 165, 189, 207. Он репродуцирует: 4, 61, 157, 165. Первые два числа он запомнил как начальные. Что касается последних двух чисел, то единица в разряде сотен запомнилась как чаще других повторяющаяся. В десятках только 6 и 8 повторялись дважды, причем 6 фигурировало и в начале ряда, что дает ему преимущество. В единицах только 7 фигурировало два раза. Что касается пятерок, то в опытах с неоднозначными числами нередко можно заметить тенденцию испытуемого подставлять пятерки (в жизни цифра 5 — одна из самых частых).

В конце концов в запоминании все сводится к запечатлению, и повторение есть не что иное, как многократное запечатление, точно так же как запоминание сразу может быть рассматриваемо как однократное повторение, однократное запечатление. Узнавание в запоминаемом материале знакомого можно рассматривать как влияние уже раньше запечатлевшегося. Однократное или многократное запечатление совершенно нового или отчасти уже раньше запечатлевшегося впечатления — такова суть запоминания. Если речь идет о совершенно новом впечатлении, то при прочих равных условиях количество материала определяет, сразу ли или при помощи повторений можно его запомнить.

Утверждение, что проблема запоминания сводится к проблеме запечатления, могло бы показаться трюизмом, если бы не существовали взгляды, противоположные этому утверждению. Из нашего, казалось бы, тривиального утверждения следует огромное значение внимания и упражнения при запоминании. Но именно сейчас значение упражнения, точнее, повторения, резко оспаривается таким крупным авторитетом, как Торндайк: «Повторение связи в смысле простого следования двух вещей во времени — очень, очень малая сила, может быть никакая в качестве причины выучки». Зато огромное значение придается «закону эффекта»: учит результат. Эта, если можно так выразиться, прагматическая теория учения принимает аксессуар за сущность. Как уже указал Bexroad, приводимые Торндайком в доказательство этого закона опыты доказывают не то, что он думает, не влияние результата, а влияние знания результата. Поэтому Bexroad предлагает называть этот закон «законом знания результатов»90. Но в том случае, если речь идет о запоминании, голое знание того, что я ошибся, воспроизводя данное эскимосское слово, еще не дает мне само по себе лучшего запоминания его. Оно лишь побуждает меня снова повторить, т. е. получить еще раз впечатление, и притом может указать мне, на чем при повторении сосредоточить внимание, т. е. какое частичное впечатление тем или иным способом усилить. Контроль при запоминании играет огромную роль, и следовало бы говорить о контроле, а не просто о результате. Но и контроль играет роль не сам по себе, а косвенно, определяя надобность и характер повторения. В вышеприведенном опыте с запоминанием эскимосского слова, если бы я просто ошибся, пропустив «а», это ничего не значило бы (скорее, наоборот, я укрепился бы в своей ошибке), и даже если бы я знал, что ошибся, это также имело бы мало значения (я мог бы например теряться в бесплодных догадках, в чем ошибся): имело значение, когда я узнал, что ошибся в пропуске «а», но и это значение только косвенное: твердое запоминание наступало лишь тогда, когда у меня запечатлелось «мисСара» вместо «мисСар».

Итак сущность запоминания — запечатление, сразу или путем неоднократных повторений, вполне или отчасти нового. Но как понимать запечатление в случае вербальной памяти? В случае аффективной памяти это, как мы видели, скорее всего соответ-

ствующая повышенная нервная возбудимость. В случае зрительной памяти это — образы. Что же это в случае вербальной памяти?
При ближайшем рассмотрении вопрос оказывается сложнее, чем можно было бы ожидать. Надо различать два совершенно различных случая. Пример более простого случая — вышеприведенный: опыт с запоминанием эскимосского слова. Оно повторяется, репродуцируется. Помнить его значит быть в состоянии снова его произнести. Эта способность являлась результатом многократных, притом разнообразных произношений данного слова. Вот запись этих произношений: 1) тингумиссаралонго, 2) тингу... лонго; 3) тингумиссаралонго; 4) миссар; 5) миссарлонго (многократно); 6) миссар; 7) тингумиссаралонго; 8) а (несколько раз); 9) миссара (несколько раз); 10) миссаралонго, лонго (не лонге); 11) тан... тингу... миссаралонго; 12) танго... тинго... Эта запись не точна. Она охватила лишь произношения вслух во время сеанса. К этому надо прибавить почти неуловимые очень частые и многократные произношения про себя или даже вслух, но не во время сеанса, так что их нельзя было запротоколировать.
Подобного рода запечатления конечно иные, чем запечатления образов, не говоря уже о чувствах. Но зато они похожи на то, как запечатлеваются нами движения во время приобретения мануальных навыков. Там также одни движения удаются сразу, другие же только после неоднократных повторений. Там также легче всего удаются уже отчасти знакомые движения, и имеется тенденция сводить усваиваемый комплекс движений к уже усвоенным. Там также в первую очередь удается воспроизводить начальные движения, и при прочих равных условиях хуже всего воспроизводятся промежуточные движения, так сказать, середина данной мануальной операции. Эту аналогию можно было бы проводить в еще больших деталях (роль ритма, распределение повторений, упражнений во времени и т. д.), но вряд ли в этом есть нужда. Конечно сходство не есть тождество, и разница уже хотя бы та, что одни навыки — речевые, а другие — мануальные. Но для цели данной работы важно одно: запечатление в данном случае надо понимать как запечатление двигательных навыков.
Это и есть типичный случай вербальной памяти как таковой, которую стало быть можно определить как повышенную возбудимость соответствующих вербальных навыков. У Гегеля имеется очень верное описание того, как обстоит дело с сознанием при привычке: «В привычке наше сознание присутствует при данной вещи, интересуется ею и, наоборот, в то же время отсутствует, равнодушно к ней; субъект в такой же мере усваивает в этом случае вещь, как и отвлекается от нее»91. Но как раз такое переживание характерно для вербальной памяти, когда например мы говорим или мысленно повторяем что-нибудь заученное нами: с одной стороны, моя речь или такое мое мышление имеет вид простого механического действия, с другой стороны, в нем присутствует сознание, так как я сознаю, что я говорю или думаю.
От этого типичного, так сказать, случая вербальной памяти надо

отличать другой, который представляет собой в сущности не что иное, как совместную работу образной и вербальной памяти, в ряде случаев даже вовсе не вербальную память, а просто рассказ об имеющихся образах, т. е. образную память плюс рассказ. Так например в опыте с эскимосским словом моя репродукция состоит просто в том, что я снова и снова произношу его, ничего при этом не воображая. Это и есть вербальная память как таковая. Но у другого испытуемого процесс может происходить иначе: репродуцируется зрительный образ написанного слова, и испытуемый произносит его, как бы читая. Здесь нет вербальной памяти, а есть репродуцирующее воображение плюс чтение.

В учении о памяти много путаницы получалось не только потому, что думали, что репродуцирующее соображение и вербальная память работают по одним и тем же законам, но также и потому, что рассказ по репродуцированным образам смешивали с вербальной памятью как таковой.

3. Своеобразие вербальной репродукции наглядного материала. Надо различать рассказ по репродуцированным образам и вербальную репродукцию наглядно воспринятого. О другой стороны, надо различать вербальную репродукцию наглядно воспринятого и вербальную репродукцию вербального материала. Эти различения предохраняют нас от многих путаниц.

Так как в моих опытах, описанных в главе о воображении, выяснилось, что при прочих равных условиях испытуемые склонны к образной репродукции, когда им приходится вспоминать с трудом вспоминаемое, сильно забытое, то для выяснения особенностей рассказа по репродуцированным образам я просил испытуемых вспоминать какую-нибудь полузабытую полосу их жизни, например давний малозначительный любовный роман, давнее малозначительное путешествие и т. д. При этом я останавливался, если имелась возможность выбора, на том, о чем испытуемый заявлял: «ну, это я совершенно забыл, ничего не помню, какие-то отдельные сцены» и т. п.

Оказалось, что порядок возникновения этих образов не был ни хронологическим, ни логическим. Как уже указывалось в главе о воображении, образы повидимому скорее репродуцировались сообразно эмоциональной силе соответствующих впечатлений, однако я бы не поручился, что это всегда так. Но так или иначе, рассказ по ним испытуемого не отличался последовательностью: то он начинал с середины, то вспоминал в дальнейшем начало и т. д. Рассказ был перепрыгивающим, непоследовательным, беспорядочным.

Но в то же время, что касается отдельных сцен, отдельных частей рассказа, то в этом отношении он был очень обстоятелен, сплошь и рядом описывая мельчайшие детали. Временами получалось впечатление, что рассказчик почти неисчерпаем в своем рассказе, точнее, описании. Обычно у меня как экспериментатора нехватало времени выслушивать столь подробные рассказы: испытуемый же по своей инициативе прекращал рассказ обыкновенно

не потому, что он исчерпался, а потому что устал, прискучило и т. д. Это понятно, исчерпать словесным рассказом конкретные зрительные образы не так уж легко.
Третья особенность подобного рассказа — вариативность его. Во время опыта я иногда под каким-нибудь предлогом прерывал рассказ, а потом предлагал спустя значительное количество дней (1—2 декады) возобновить его снова с самого начала. В результате нередко получался как бы новый вариант рассказа, а полные совпадения по содержанию в этих рассказах были скорее нечастым явлением, и особенно редки были эти совпадения в деталях, тем реже, чем больше этих деталей. Для придирчивого судьи, который бы слушал начальный и вторичный рассказ, представилось бы много поводов ловить испытуемого в несогласованности и даже в противоречиях. Все это я объясняю, судя по данным самонаблюдения, следующим: репродукция образов не совсем в нашей власти, и потому рассказу приходится выражать образ в той его случайной форме, в какой он в данный момент репродуцируется; при этом образ склонен трансформироваться, искажаться; наконец он может быть неполон и неясен, с пробелами, а рассказывать приходится связно. В результате рассказ варьирует, а иногда впадает в противоречие вследствие трансформации образа и даже присочиняет, поскольку словесному изложению приходится интерполировать пробелы образов.
Еще одна особенность подобного рассказа по репродуцированным образам — уверенность испытуемого, представляющая любопытный контраст с его жалобами, что он плохо помнит эту историю, что он только немногое может вспомнить и т. п. Несмотря на это, он уверенно рассказывал то, что как бы видел. Я объясняю эту уверенность наглядностью образов: ведь рассказчик действительно как бы мысленно видит.
Против моих опытов можно с первого взгляда сделать возражение, что здесь мы имеем дело с репродукцией полузабытого. Ну, так что же? Образы-то обычно у испытуемого были отчетливые, и «полузабытость» относится не к ним. Поэтому на них вполне подходяще исследовать рассказ по репродуцированным образам, тем более что установленные в этих экспериментах положения подтверждаются повседневными наблюдениями. Так например, когда дети (да и вообще люди, относительно которых можно предполагать, что вербальная память у них гораздо менее доминирует над образной, чем у образованных взрослых) рассказывают, то их рассказ обычно непоследователен, беспорядочен, чрезмерно подробен в отдельных своих частях, очень варьирует при переспрашивании, не чужд фантазирования и присочинений, но в то же время имеет уверенный тон. Такой рассказ характерен для субъектов с сравнительно сильным репродуцирующим воображением (образной памятью).
Уже во время писания этой книги я познакомился с работой Бартлетта «Воспоминание» (Remembering, 1932). Бартлетт, предлагал испытуемым описывать по памяти показанные им открытки,

нашел, что когда воспоминание основывается на визуализации (т. е. на зрительных образах), то визуализация в качестве первичного метода репродукции «(a) имеет тенденцию вести к смешению по отношению к порядку предъявления; (b) благоприятствует введению материала из постороннего источника; (c) имеет в качестве общего результата такой установки состояние уверенности, не имеющей никакого отношения к объективной точности»92. Результаты, полученные Бартлеттом, отчасти совпадают с моими результатами и тем самым отводят сомнение, что я имел дело с репродукцией полузабытого и потому не должен был опираться на эти эксперименты. Так, возражающие упускают из виду, что полузабытость относится не к образам: наоборот, они-то и выступают на первый план.

Дело в том, что при забывании происходит своеобразная деградация памяти, как бы спускание ее на низшую стадию. Довольно значительное забывание для человеческой памяти, вербальной по преимуществу, означает, как это показывают опыты, возможность вспоминать лишь при помощи образов93.

А там, где забывание зашло еще дальше? Я имел случай сопоставить воспоминания нескольких испытуемых о комнате, которую они посещали 27 лет назад и сейчас почти не помнят, с этой комнатой, так сказать, в натуре. Их воспоминания-рассказы основывались на образах, причем при свободном (без вопросов с моей стороны) рассказывании рассказчики были уверены в том, что утверждали. А на самом деле их рассказы были своеобразными гротесками действительности, сильными стилизациями ее: репродуцировались в очень преувеличенном виде какие-нибудь 1—2 детали этой комнаты и к ним присоединялись в том же роде небывшие детали. Самое же характерное то, что больше всего говорили не о комнате, а о своих очень аффективно окрашенных впечатлениях от нее, и именно эти аффективные впечатления, чувства детерминировали присочинение. Так, деградация памяти выражалась здесь в том, что на первый план выступала аффективная память. Наши старые, почти стершиеся воспоминания обычно гораздо аффективней новых и очень сохранившихся.

От рассказа по репродуцированным образам надо отличать вербальную репродукцию наглядно воспринятого. О ней мы говорим в том случае, если субъект рассказывает о чем-либо, ничего при этом образно не представляя. Если в случае рассказа по репродуцированным образам испытуемый нередко утверждает: «это и сейчас стоит у меня перед глазами», «я как будто сейчас это вижу» и т. п., то в случае подлинной вербальной репродукции таких утверждений нет.

Опыты по выяснению вербальной репродукции наглядно воспринятого пожалуй были для меня самыми трудными из всех, какие только я производил в связи с данной работой. Основная трудность состояла в том, что если испытуемый испытывал затруднение в репродукции, то он или (чаще всего) обращался к помощи образов, или отказывался рассказывать («не помню»),

или то и дело перебивал свой репродуцирующий рассказ, так сказать, самокритикой — сомнениями, поправками, колебаниями и т. п. Поэтому я поступил так: в свободной, непринужденной беседе придавал ей такое направление, что испытуемому приходилось вспомнить что-либо, очевидцем чего он был, и, так «поймав» его воспоминание, проверял потом при помощи вопросов, были ли у него образы. Этот прием оказался плодотворным, но нельзя не признать, что возможны сомнения, в самом ли деле образы отсутствовали или непредупрежденный испытуемый оказался плохим самонаблюдателем. Но эти сомнения не имеют решающего значения, так как во всяком случае образы здесь не играют первой роли.

Так установленные вербальные репродукции наглядно воспринятого имели ряд своеобразий. Это были преимущественно рассказы, насыщенные действиями (особенно самого рассказчика) и репродуцируемыми фразами. В этих рассказах испытуемый обычно вспоминал, что он делал, что он говорил или думал и что говорили другие. Во всем этом рассказ был сравнительно подробен. Но там, где он должен был бы рассказывать, что рассказчик видел (действия других или — особенно — виды местности и т. п.), рассказ был очень краток. Таким образом уже по типу содержания рассказ при вербальной репродукции отличается от рассказа по репродуцированным образам. В последнем случае рассказ очень детален, в первом он детален только в передаче слов и (преимущественно собственных) действий, а в остальном скорее краток. Таким образом, что касается вербальной репродукции виденного (а не сделанного, сказанного или услышанного), то она имеет тенденцию к сжатости, краткости.

Только что сказанное не надо понимать так, что вербальная репродукция дает скорее рассказ, разговор или рассуждение, а рассказ по репродуцированным образам скорее описание. Описание может быть и при вербальной репродукции, но это скорее наименование (например длина столько-то метров) или оценка (очень длинный), чем конкретное детальное описание самого предмета. С другой стороны, рассказ по репродуцированным образам может быть насыщен действием разных лиц, но при этом обычно довольно детально описываются результаты этого действия, обстановка, в какой оно происходило, эмоциональное впечатление от него и т. п.

Вторая особенность вербальной репродукции — последовательность рассказа. Бартлетт в своих опытах установил, что если первичным основным методом воспоминания (the primary method of reaoll) является вокализация, то «она благоприятствует классификации предъявленного материала по известному правилу»94.

Я нашел то же самое.

Третья особенность вербальной репродукции — ее тенденция к сравнительной стойкости. Если субъект, вербально репродуцируя виденное, дал рассказ, то последующие его рассказы об этом до известной степени повторяют первый рассказ при условии,

если они часты. В качестве свидетеля он менее вероятно смутил бы судью разногласиями при переспросе. Устанавливается привычка рассказывать так, а не иначе.

4. Вербальная репродукция рассказа. Бартлетт давал испытуемым читать рассказ, а потом они должны были репродуцировать его спустя различные сроки времени, притом неоднократно. Такие же эксперименты проводил и я. На основании их я подтверждаю вывод Бартлетта, что «в цепи репродукций, получаемых от отдельного индивидуума, общая форма или контур замечательно постоянны, раз дана первая версия», причем «при частой репродукции форма и текст вспоминаемой детали быстро становятся стереотипными и затем терпят мало изменений»95. Вербальная репродукция рассказа оказывается еще гораздо более склонной к шаблону, чем вербальная репродукция виденного: первая репродукция в сильной степени предопределяет последующие. Образовывается как бы привычка репродуцировать так, а не иначе. Правда, то же мы замечаем и при вербальной репродукции виденного, когда в результате частых рассказов о ней испытуемый в конце концов начинает вспоминать одно и то же, давая как бы заученный рассказ. Но там, инструктируя испытуемого «вспомнить иное или иначе», мы сравнительно без труда добиваемся нового варианта, тогда как при репродукции рассказа изменить стереотипность репродукции трудно. Она стала укоренившейся привычкой рассказывать именно так. Точно так же я подтверждаю и другой вывод Бартлетта, что та деталь в рассказе, которая почему-либо привлекла особое внимание испытуемого, или, как выражается Бартлетт, соответствовала его интересам и тенденциям, часто при репродукции передвигается к началу рассказа, причем часто трансформируется.

Точно так же можно согласиться с Бартлеттом, что в тех случаях, когда репродукция благодаря нечастому повторению не сделалась стереотипной, репродукция может все меньше и меньше соответствовать оригиналу, причем имеют место: а) опускание деталей, б) упрощение событий и структуры, в) трансформация в более знакомое, более привычное и г) привнесение. Бартлетт устанавливает, что привнесение (так сказать, отсебятина) нарастает с течением времени, причем ему содействует пользование зрительными образами. То же заметил и я, причем вижу в этом проявление того, что я называю деградацией памяти в области вербальной репродукции.

Под «деградацией памяти» я понимаю следующее: по мере забывания начинает более заметно выступать деятельность памяти низшего с генетической точки зрения уровня. Так, в предыдущем параграфе мы видели, что вербальная репродукция наглядно воспринятого переходит, если последнее очень забыто, в образную репродукцию. В свою очередь по мере забывания образов выступает на первый план аффективная память. Наконец, как это можно подтвердить массой психопатологических казусов, от бывшего эмоционального потрясения может остаться, повторяться

лишь соответствующее движение, а эмоция может совершенно забыться, но анамнез в ряде случаев подобных автоматических движений открывает эмоциональное происхождение их. Но то же происхождение открывает во многих наших непатологических инстинктивных и привычных движениях генетическая психология.
Такое же проявление деградации памяти имеем мы и в том случае, когда при вербальной репродукции рассказа с течением времени все более заметную роль начинают играть зрительные образы: полузабытый рассказ отчасти начинает зрительно представляться.
Бартлетт устанавливает, что «во всех следующих друг за другом воспоминаниях очень выступает рационализация, сведение материала к форме, с которой можно быстро и удовлетворительно действовать». Эта рационализация, часто основывающаяся на аффективной установке, иногда придает всему рассказу в целом специфический характер. Иногда же она направляется на детали, или связывая их друг с другом так, чтобы получился более связный рассказ, или связывая данную деталь с другой, которой в действительности не было в тексте. В последнем случае, по Бартлетту, рационализация имеет следующие три формы: 1) данный материал связывается с каким-либо другим (обычно с каким-нибудь объяснением) и трактуется как символ его, причем может иногда быть замененным им; 2) рационализация отражает индивидуальные особенности темперамента и характера испытуемого; 3) имена, фразы и события изменяются так, что принимают вид, обычный в той социальной группе, к которой принадлежит субъект96.
Я не могу согласиться о учением Бартлетта о роли рационализации в воспоминаниях. Прежде всего я считаю неточным самый термин благодаря его двусмысленности (рационализация понимается Бартлеттом как облегчение воспоминания, но обычно под рационализацией в таких случаях понимают делание текста более логичным). Но дело конечно не только в терминах (рационализация как приспособление и рационализация как логизация)97. Дело прежде всего в самих выводах. Бартлетт давал своим испытуемым индейский фантастический рассказ. Понятно, что они эту фантастику стремились рационализировать, символизировать, а весь рассказ сделать более связным и последовательным. Словом, они «европеизировали» индейский фантастический рассказ. Бартлетт не должен был бы обобщать этот частный случай. Но тогда из его выводов исчезает вся рационализация и остается только очень общее положение, что в воспоминании отражаются психологические особенности вспоминающего (его темперамент, характер, социальная принадлежность и т. п.). Это положение бесспорно, но оно слишком общее.
Я производил следующие опыты над школьниками различных классов: просил их рассказать мне о каком-нибудь хорошо известном им животном и затем давал им учить по учебнику статью о тюлене. Оказалось, что собственные рассказы испытуемых и репродукция ими рассказа учебника имели много общего. Так

например если испытуемый в своем собственном рассказе о животном останавливался преимущественно на его образе жизни, то это же лучше всего он усвоит и из учебной статьи. Если например в своем рассказе он игнорировал форму животного, то чаще всего он не упомянет о ней и при репродукции учебной статьи. Можно предположить, что собственный рассказ испытуемого отражает, как он обычно представляет себе животное. Тогда возможно утверждать, что при репродукции рассказ изменяется соответственно тому, как обычно данный субъект представляет соответствующие явления. Так можно уточнить слишком общее положение Бартлетта.

Можно также уточнить и характер делаемых при репродукции пропусков. Опускаются обыкновенно детали, частности, и то, что остается от оригинала при репродукции, тем самым приобретает более общий характер. Таким образом здесь имеет место общеизвестный закон Рибо, по которому в первую очередь забываются собственные имена, а общие понятия забываются гораздо позже.

Точно так же можно уточнить и характер привнесений (отсебятины): чаще всего привносятся или эмоционально более аффективные выражения (поэтому пересказ имеет при случае некоторую тенденцию к гиперболам) пли детали репродуцирующихся трансформированных образов.

Таким образом при вербальной репродукции рассказа опускаются детали, частности, специфическое, и весь рассказ трансформируется соответственно особенностям представлений репродуцирующего, который также привносит эмоционально более аффективные выражения и детали возникающих образов.

Привнесения легко объясняются деградацией памяти; пропуски в конечном счете сводятся к забыванию непривычного (специфического, оригинального в рассказе, который тем самым ошаблонивается); трансформирование рассказа в свою очередь есть придание ему привычной для данного субъекта формы. Таким образом вербальная репродукция словесного материала, поскольку в ней не фигурирует деградация памяти, сводится к опусканию непривычного и репродукции привычного или превращенного в привычное. Так даже в однократной или во всяком случае нечастой вербальной репродукции проявляют себя законы привычки. Многократная же вербальная репродукция, как уже говорилось раньше, превращается уже явно в заученный рассказ.

Несколькими параграфами выше мы определили вербальное запоминание как запечатление вербальных навыков, а теперь мы находим, что вербальная репродукция состоит в репродукции привычного вербального материала. Так, вербальная репродукция может быть с этой точки зрения вообще рассматриваема как вербальная привычка.

5. Вербальная репродукция и социальная среда. Одно из самых глубоких различий между вербальной памятью, с одной стороны, и аффективной или образной — с другой, состоит в том, что аффективная, или образная, память в отличие от вербальной социально

непосредственно не выявляется. Я репродуцировал зрительный образ моего знакомого, но этот образ вижу только я, и я никак не могу, не прибегая к посредству речи, рисования, драматизации и т. п., сделать так, чтобы этот образ возник у другого человека. Я испытываю неприятное чувство при бритье, так как меня однажды очень сильно напугали порезом, но это чувство я не могу вызвать у другого тем, что я испытываю его. Совершенно иначе обстоит дело с вербальной памятью. Вербальная память есть привычка говорить (вслух или про себя) определенным образом, но «язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание»98. Поэтому и моя вербальная память благодаря языку существует для других, как в свою очередь их вербальная память может существовать для меня.

Та вербальная память, объектом которой является вербальный материал, питается исключительно из общения с другими людьми, но и та вербальная память, которая является, строго говоря, не вербальной памятью, а рассказом по репродуцирующим образам, а тем более вербальная репродукция наглядно воспринятого, социально регулируется, поскольку один мой рассказ о виденном удовлетворяет, а другой не удовлетворяет моих слушателей. Так, проблема вербальной памяти, этой специфически человеческой памяти, является одной из глав социальной психологии.

Два вопроса в особенности представляют интерес в так поставленной проблеме: как репродуцируется вербальный материал, передаваемый от одного субъекта к другому? как изменяется вербальная репродукция под влиянием социальных требований? По отношению к первому вопросу заслуживают внимания опыты Бартлетта, произведенные по методу так называемой серийной репродукции. Сущность этих опытов состояла в том, что, после того как испытуемый А репродуцировал оригинальный материал, испытуемый Б должен был репродуцировать уже не оригинал, а репродукцию А, испытуемый В в свою очередь должен был репродуцировать версию Б и т. д. Бартлетт давал как словесный материал, так и картины (для рисования), но мы изложим здесь лишь те результаты, которые он получил на вербальном материале, так как нас в данный момент интересует лишь вербальная репродукция.

Оказалось, что «человеческое воспоминание в норме исключительно подвержено ошибке». Несмотря на то, что все испытуемые старались репродуцировать как можно лучше, от оригинала даже всего лишь через несколько звеньев мало что оставалось: «эпитеты изменялись в их противоположности, инциденты и события переставлялись, имена и числа редко оставались в целости больше, чем на небольшое количество репродукции, мнения и заключения извращались», — словом, текст радикально изменялся. При этом он терял свои индивидуальные особенности, а оригинальное в нем заменялось так называемыми «общими местами». В то же

время текст очень сильно сокращался. Но вместе с тем явно обнаружилась тенденция к большей конкретизации99.

Опыты Бартлетта интересны тем, что они очень ярко показывают полную ненадежность устной передачи по памяти вербального материала через ряд передатчиков, даже когда число передатчиков небольшое (меньше десяти, а во многих случаях и пяти лиц). Не надо забывать, что испытуемые Бартлетта были очень квалифицированные по подготовке и установке передатчики и что передавали они «на свежую память». Таким образом здесь были налицо такие благоприятные условия, какие в повседневной жизни обычно отсутствуют, и следовательно несовершенство вербальной передачи по памяти в социальной группе через ряд лиц обычно еще большее, наступая раньше и проявляясь резче. Конечно в общественной жизни такое несовершенство передачи представляет большие неудобства. Оно очень ограничивает возможность правильной связи между людьми в пространстве и времени. Всякая передача через третье, а тем более через четвертое, пятое и т. д. лицо уже недостоверна. Достоверна только непосредственная передача и следовательно только своего личного опыта, а не узнанного от других. При таких условиях наука не очень может развиваться.

Но несовершенство связи, передачи не неизбежно. В цивилизованном обществе письменная связь парализует в сильнейшей степени это несовершенство. Но даже и в этом обществе не всегда удобно и даже не всегда возможно прибегать к письму, когда приходится передавать не непосредственно. Кроме того человеку свойственно делиться с другими не только тем, что он сам видел или делал, но и что он слышал, и запрещение передавать или слушать слухи было бы нереальным. Тем более в нецивилизованном обществе, не знающем письменности, выступает несовершенство вербальной репродукции слышанного.

Два средства имеет такое общество против подобного несовершенства. Первое — твердое усвоение, выучка. Второе — краткость того, что подлежит передаче. Остановимся на каждом из них.

Очень часто смешивают проблему усвоения с проблемой памяти, но на самом деле это разные проблемы: можно иметь хорошую память и все-таки плохо усваивать уроки, можно иметь посредственную память и прекрасно знать уроки. Критикуя в одном из предыдущих параграфов Торндайка, мы выяснили огромное значение повторения: вербальное запоминание состоит в запечатлении соответствующих вербальных навыков, а повторение есть еще и еще раз запечатление этих навыков. Вот почему, если люди хотят что-либо лучше запомнить, то они повторяют его нужное число раз. Какое же число повторений нужно, это решает контроль.

Я производил опыты над тем, как усваивают учащиеся заданный для выучки урок. С этой целью я задавал им выучить на моих глазах статью из учебника и ответить мне ее только тогда, когда они будут хорошо ее знать. В основном удалось установить четыре

стадии, которые проходит усвоение. Первая стадия — отсутствие всякого самоконтроля: малыш-ученик заявляет о своей готовности отвечать, на самом деле еще не усвоив урока и никак не проверив себя. Вторую стадию я назвал бы стадией полного самоконтроля: испытуемый проверяет себя посредством сплошного повторения, он предварительно рассказывает себе, а потом уже, если это удается ему, рассказывает мне. В этой стадии можно различать две подстадии: на первой из них испытуемый контролирует, все ли он рассказал, не пропустил ли чего, т. е. контролирует полноту репродукции; на второй — он контролирует также и правильность ее, не перепутал ли чего-либо. Следующая стадия — стадия выборочного самоконтроля: испытуемый проверяет себя «по вопросам», только «главное» и т. п. Наконец на последней — четвертой — стадии самоконтроль с первого взгляда как бы снова отсутствует. Испытуемый после повторений никак не проверяет себя: он решает вопрос, что он знает, уже на основании того, что он повторил столько-то раз, а текст статьи не требует большего числа повторений, или на основании того, что «текст легкий» и т. п. Это используемый, уже опытный в учении с уже большим стажем самоконтроля, и он судит о том, знает он или нет, так, как судит о чем-либо очень опытный мастер этого дела по какой-нибудь может быть ничтожной самой по себе, но очень показательной примете100.

Самоконтроль при репродукции ставит все время вопрос о том, верно ли репродуцировано, т. е. о соответствии репродукции оригиналу. Усвоение неразрывно связано с проверкой, а проверка ставит субъекта лицом к лицу с вопросом об истине (так ли? верно ли? не наврал ли? и т. д.). Проблема истины стоит перед человеком не только в том смысле, соответствуют ли его восприятия объективной материальной действительности, верно ли отражают его зрение, слух и т. д. эту действительность. Проблема истины стоит перед человеком еще и в том смысле, соответствуют ли его репродукции оригиналу, так как искажать действительность может не только восприятие, но и память. В человеческом обществе стоит остро также вопрос о том, соответствуют ли слова переданного подлинным словам. Школьник многие годы живет изо дня в день под этим вопросом.

Современный школьник проверяет себя по книге. В нецивилизованном обществе было много способов проверки и запоминания, входить в рассмотрение которых выходит за пределы данной книги. Укажем хотя бы на то, что наука нередко излагалась стихами или мерной прозой, что очень облегчало конечно не только запоминание, но также и самоконтроль. Укажем также на широко практиковавшееся заучивание наизусть посредством огромного количества повторений текста, который сам нередко изобиловал повторениями, но самоконтроль заученного наизусть легче, чем когда приходится контролировать репродукцию только главных мыслей. В обществе без письменности сплошная репродукция нередко была пожалуй менее рискованным делом, чем выборочная.

Первоначальная форма выборочной репродукции — репродукция

по вопросам. В истории человеческой памяти (и не только памяти) отвечание на вопросы играло огромную роль. Ведь если сейчас школьник разбирает придаточные предложения по вопросам, то некогда придаточные предложения развивались из вопросов, и не в школе школьник или учитель ставил вопросы: «который? какой? чей? что? когда? куда?» и т. д., а в жизни слушатель говорил эти слова, а рассказчик, повторяя их, давал ответ, и так развились наши придаточные предложения, начинающиеся с «который», «что», «когда» и т. д. Вопросы слушателя стимулировали считаться при репродукции со слушателем, и это могло послужить одной из причин выделения в репродукции наиболее интересного и в этом смысле наиболее главного, важного.

При вербальной репродукции слышанного репродуцирующий оказывается в двойном отношении — к тому, от кого он услышал, и к тому, кому он говорит. Первый требует точной репродукции, второй — интересной для него. Тем самым репродуцирующий оказывается стоящим перед двумя вопросами — соответствует ли его репродукция оригиналу и выделяет ли она главное, важное. Но такая репродукция уже сближается с мышлением, и память подходит здесь к той грани, которая отделяет ее от мышления.

При вербальной репродукции виденного репродуцирующий также оказывается в двойном отношении — к слушателю и к себе. Сам по себе репродуцирующий стремится обычно к максимально подробной репродукции: будет ли его репродукция репродукцией, выражаясь термином Бартлетта, его вокализации при восприятии, будет ли она рассказом по репродуцируемым образам, конкретно индивидуальным, она будет в том и в другом случае стремиться к максимальной репродукции, которая в последнем случае может быть чуть ли не неисчерпаемой. Но такая репродукция может устраивать слушателя только на самых низших стадиях культуры, когда речь еще слабо развита и обстоятельность речи помогает пониманию ее. Вообще же слушатель при обычных условиях расположен слушать только интересное, важное для него. Значит и здесь репродуцирующий стоит перед теми же двумя вопросами, которые так сильно приближают память к мышлению.

Точность вербальной репродукции обеспечивается не только заучиванием. Чем короче сообщение, тем меньше риска исказить его при передаче. Желание точности обычно приводит не к многословным, как, казалось бы, можно было ожидать с первого взгляда, но, наоборот, к кратким формулировкам, и например математические формулировки, отличающиеся своей точностью, в то же время отличаются также своей краткостью. Но краткости репродукции при прочих равных условиях требует и слушатель, то ли потому, что ему неинтересно слушать неважные для него детали, то ли потому, что у него нет времени слушать их. Равным образом краткость репродуцируемого материала устраивает и передающего и слушателя.

Краткость репродукции является нередко также результатом неполного забывания. Я читаю испытуемому дюжину трехзначных

чисел и прошу его затем повторить их. Он не в состоянии повторить, но это не значит, что он их совсем забыл: так например он помнит, что это были трехзначные нечетные числа. Другой пример: я совершенно забыл свою поездку много лет назад в Серпухов и не могу рассказать о ней ни одной детали, но я помню, что я ездил в Серпухов.

Результатом забывания в области вербальной репродукции являются не только краткость, но и общность репродуцированного. В сущности здесь уже нельзя говорить о репродукции как воспроизводящем повторении. Мы имеем здесь сжатое, краткое повторение. Здесь неуместно даже слово «повторение»: тут испытуемый, который говорит, что он слыхал трехзначные нечетные числа, ничего не повторяет, — он обобщает.

И тот мой слушатель, который расположен слушать только главное, важное, а не несущественные детали, также не требует от меня многословной полной репродукции. Скорее он томится ею и в повседневном быту и в общественных учреждениях так часты пререкания между рассказчиком и слушателями, когда рассказчик стремится воспроизводить «все подробности», а слушатель призывает его «говорить покороче». Но это не простое требование краткости: это такое требование краткости, которое в то же время является требованием репродуцирования самой сущности дела, самого существенного.

И своеобразие забывания при вербальной репродукции, и интересы верности репродукции, и требования слушателей вербальной репродукции ведут к одному и тому же — к краткости. Но эта краткость — специфическая краткость. Это такая краткость, которая в то же время дает обобщение максимально существенное и вместе с тем стремится обеспечить правильность воспоминания. Термины «воспроизведение», «репродукция» или «повторение» не соответствуют здесь действительности. Вспоминать здесь не значит репродуцировать или повторять. Даже в случае репродукции слышанного такое воспоминание может не содержать ни одной фразы оригинала и в то же время быть несравненно ценнее абсолютно полной репродукции.

Такова в сущности и есть обычная человеческая память. Когда я вспоминаю прочитанную книгу или разговор, я менее всего репродуцирую, повторяю их. Я вспоминаю самую суть, и мое воспоминание нередко такое краткое, что может уложиться всего лишь в одной фразе, как бы обобщающей эту повесть или беседу. При желании, возможно, я разверну эти или другие свои воспоминания в более или менее подробный рассказ, но, во-первых, это вовсе не обязательно, наоборот, так бывает даже скорее редко, а, во-вторых, этот рассказ также может не быть ни в какой степени дословным повторением прочитанного рассказа.

Так обычно мы вспоминаем, и именно такую память надо считать типичной человеческой памятью. Это самая совершенная память, память par excellence. Но вот тут же, как только мы подошли в результате наших длительных изысканий к памяти,

достигшей высшей ступени своего развития, к памяти, которая по степени своего совершенства может быть объявлена образцом памяти, нас начинают одолевать сомнения, память ли это, настолько эта память начинает походить на мышление. Даже в повседневной речи на каждом шагу мы смешиваем эту память с мышлением и нередко употребляем promiscue в таких случаях термины «вспоминать» и «думать». Мы часто говорим: «я думал о прошлогодней экскурсии» там, где также возможно было сказать: «я вспоминал прошлогоднюю экскурсию».

6. Проблема памяти в свете социальной психологии. В последнее десятилетие благодаря работам Жане во Франции, Бартлетта в Англии, Выготского, Лурия и Леонтьева в СССР проблема памяти становится проблемой социальной психологии. Жане отличает память от простого повторения, составляющего сущность привычек и тенденций, и проводит разницу между «souvenir» и «reminiscence», очень несовершенной памятью-повторением. Он приводит пример одной девушки, которая в ужасающих условиях была единственной свидетельницей смерти матери. Это так потрясло ее, что она психически заболела. Она отрицала, что ее мать умерла. Она ничего не помнила о смерти ее. В то же время порою она с точностью повторяла свое поведение в ту страшную ночь, как она ухаживала за умирающей, как разговаривала с ней, как старалась поднять ее упавшее тело. Только спустя полгода она пришла в себя и вспомнила смерть матери. По мнению Жане, только с этих пор можно говорить о памяти у нее, раньше же у нее была амнезия: у нее не было воспоминания (souvenir), была только реминисценция, автоматическое повторение действий, которые она совершала в ту трагическую ночь.

Какая же разница между воспоминанием и реминисценцией? Реминисценция — очень длинная: три-четыре часа рассказывать историю, это абсурд, непрактично. Воспоминание — краткое: рассказывают о том, что было, в нескольких словах. Реминисценция не является социальным поведением, она ни к кому не адресуется: наша больная никому не отвечала, никого не понимала и повторяла одно и то же иногда даже тогда, когда была совершенно изолирована. Наоборот, воспоминание социально, оно отвечает на вопросы, обращается к другим. Третье различие состоит в том, что реминисценция бесполезна, она ничему не служит, тогда как воспоминание полезно, мы пользуемся им в нашей жизни. Наконец последнее различие — то, что реминисценция автоматична. У животных имеется привычка, а не память. «Акт памяти является человеческим изобретением... Память имеет целью торжествовать над отсутствием, и именно борьба против отсутствия характеризует память».

Жане дает историю этого изобретения. Борьба с отсутствием имеет много видов, начиная с самых простых. Уже ожидание представляет собою такую борьбу, правда, еще довольно смутную. В дальнейшем ожидание осложняется исканием. Наконец изобретают «отсроченное действие», которое, по мнению Жане, является

и исходным пунктом памяти: «Память вышла из отсроченного действия. Вы можете сказать, если хотите, что она вышла из искания и ожидания». Но «именно в момент отсроченного действия память становится сознательным поведением». Связь ожидания, искания и отсроченного действия Жане поясняет примером хозяйки, которая сначала ждет приглашенного, затем ищет его (звонит по телефону, где он) и наконец, садясь обедать без него, откладывает блюдо для отсутствующего.

Начальная форма отсроченного действия (action différée) — сохранение. Когда действия простого сохранения оказались недостаточными, было изобретено поручение (commission), которое также является зародышем памяти. Элементарные поручения — поручение перенести предмет, принести предмет отсутствующему. Но переноска вещей представляет много затруднений, и не все может быть перенесено. К счастью незадолго до памяти человечество изобрело такие удобопереносимые вещи как знаки и — особенно — язык. Вербальное поручение это уже память. Следующий этап памяти — рассказывание наизусть (récitation), которое Жане отличает от простого повторения: повторение — вид подражания, оно копирует полностью, но вестник, передающий приказ вождя, не копирует вождя, он — все же вестник, а не вождь. В первобытном обществе рассказывание наизусть достигло большой силы.

Но оно не совсем удовлетворяло людей. К отсутствующим приходится переносить не только приказы, но и ситуации. Так развивается третья форма памяти — описание: «Способность описывать — настоящая память, это то, что делает предметы присутствующими». Жане замечает: «Я думаю, что первобытные рассказывали наизусть пением. Возможно, что они описывали, танцуя, жестами, мимикой. Эти жесты стали позже рисунками. Наконец наиболее усложненная форма — описание словами, представление образами... Думали, что они существовали повсюду. Это очень сомнительно. Они существуют только у существ, способных к описанию». Но описание — элементарная память, так как она относится к предметам, продолжающим существовать. Только впоследствии память начинает иметь дело с переставшим существовать, с прошлым, и становится повествованием (narration), описывающим не предметы, а события. Эта память пожалуй менее полезна. Но почему тогда она развилась? Потому что повествование сообщает отсутствовавшим то удовольствие, которое имели, кушая, смотря, одерживая победу, словом, торжествуя в своем действии.

В памяти различают запоминание и припоминание. Жане считает, что «письмо — явление памяти, а не языка; это — настоящая память... Изучение памяти есть изучение письма и образования письма». С другой стороны, проблему повествования он ставит как проблему фабуляции, которая имеет целью вызвать у отсутствующего чувства, которые были бы у присутствующего: «это — усилия заставить его радоваться, улыбаться, торжествовать, как если бы он присутствовал». На этой стадии память становится как бы игрой. «Фабуляция создала события и последовательность

событий». Исходя из этого ярко идеалистического тезиса, Жане утверждает, что время развилось на основе памяти, и от «проблемы памяти переходит к проблеме времени. Нам нет оснований следовать за ним в глубь его идеалистической философии, доходящей до утверждения, что «все в нашем человеческом познании — построения духа... Время и пространство также построения (construction) духа».

Для Жане память — «то, что рассказывают». Его ошибка в том, что только это он считает памятью. Для него у вышеупомянутой больной не память, а амнезия, т. е. отсутствие памяти. Но в данном случае он слишком резко противопоставил память и амнезию как нечто несовместимое, тогда как в действительности память на каждом шагу переходит в амнезию, а амнезия в память: мы на каждом шагу забываем то, что помнили, и вспоминаем то, что забыли. Как ни парадоксально с первого взгляда, но несомненный факт, что вспомнить что-нибудь значит забыть на это время другое. У больной Жане была амнезия смерти матери, но у нее не было полной амнезии, у нее не было амнезии болезни матери. О ней можно сказать, что она не могла вспомнить, как умерла мать, потому что слишком хорошо помнила, как умирала она. Частичная амнезия этой больной — результат частичной слишком сильной памяти ее. Жане не понял этого и потому вывел ошибочные заключения. Его различение реминисценции и воспоминания и отрицание за реминисценцией права называться памятью похожи на плохую игру словами.

Вторая основная ошибка Жане — та, что, по его мнению, образы существуют только у существ, способных к описанию. Находящийся в аментном состоянии тифозный больной неспособен к описыванию, но образы может видеть. Больная Жане в трансе видела образы последней ночи матери, но в этом состоянии она была неспособна к описыванию их.

Эти ошибки привели Жане к неправильному утверждению, что память только «то, что рассказывают». Один, правда, высший вид памяти он принял за всю память. Но его увлечение имело и положительную сторону. Стремясь отмежевать память-рассказ от того, что он неправильно считал непамятью, Жане много сделал для выявления специфических особенностей этого вида памяти. Очень правильно он подчеркнул социальный характер этой памяти. Его энергичная фраза «одинокий человек (un homme seul) не имеет памяти и не нуждается в ней» правильна, если только ограничить ее — отнести лишь к памяти-рассказу. Уже a приори ясно, что память-рассказ возможна только в человеческом обществе, поскольку речь служит средством общения людей. Трудней доказать a posteriori, поскольку абсолютно изолированный от общества человек невозможен, и даже когда человек физически один, социально он не один. Но довольно симптоматично, что в условиях длительного одиночного заключения, особенно если отсутствуют книги, склонно чрезмерно развиваться воображение, оперирующее обра-

зами. Также симптоматично, что у людей с ярко выраженной психологией «одиночества» имеется тенденция к развитию грезерства.
Жане вполне прав, утверждая социальный характер памяти-рассказа. Прав в основном он и тогда, когда устанавливает в качестве характерных особенностей этой памяти следующее: 1) она не автоматична, 2) мы пользуемся ею, утилизируем ее, 3) она адресуется к другим людям, 4) она кратка. Только пожалуй это положение можно было бы формулировать так: 1) эта память, выражаясь обычными терминами психологии, произвольна, т. е. с неврологической точки зрения относится к высшему нервному уровню; 2) она в качестве социального явления социально регулируется (отсюда, по моему мнению, часто ее краткость).
Жане глубоко прав, настаивая, что эта память — специфически человеческая память, имеющая ярко социальный характер. Он прав и в своем стремлении дать историю этой памяти, связанную со всей историей человечества. Мы сказали бы еще определенней: как дочеловеческая память имеет свою историю, зависящую от всей истории животного мира и в частности от истории нервной системы (моторная память — аффективная память — обонятельная память — зрительно-образная память), так и специфически человеческая память имеет свою историю, определенную всей историей человеческого рода.
Но попытка дать историю специфически человеческой памяти у Жане вышла очень неудачной, притом по очень простой причине: он не изучал эту историю, как она была в действительности, но произвольно конструировал ее на основании априорных соображений в идеалистическом духе. Его цепь (ожидание — искание — отсроченное действие — поручение — словесное поручение — рассказ наизусть — описание — повествование) никаким фактическим материалом не подтверждается. Поэтому нет нужды в особой критике ее. Она просто не доказана, и будущему исследователю предстоит еще установить путем исследования фактов, что приходилось помнить человечеству в разные эпохи его истории и чем в каждую из этих эпох была память. Много соответствующего материала дает история общественных отношений, а также история языка, словесности и письменности.
Жане правильно сближает память с рассказом, но его ошибка в том, что он не только сближает их, но даже отождествляет. Бесспорно неправильно отождествлять память только с репродукцией, и пора наряду с продуктивным воображением восстановить встречающееся еще у Гегеля понятие «продуктивная память», конечно с соответствующими поправками. Несомненно также, что эта продуктивная (а не только репродуктивная) память проявляет себя именно в речи, т. е. именно вербальная память является продуктивной памятью. Но отсюда еще не следует, что память и рассказ одно и то же. Рассказы Чехова — продукт не только памяти Чехова. Мы изучаем вербальную память обыкновенно на рассказе испытуемого, но мы должны не забывать, что в этом рассказе

проявляет себя не только память. Поэтому лучше говорить не о памяти-рассказе, а о вербальной памяти.
Точно так же правильно Жане сближает проблему памяти и проблему времени, но его выводы из этого сближения нас совершенно не удовлетворяют. Он понимает время чисто идеалистически, и у него время — построение духа, и в частности в этом построении огромную роль играет память-рассказ, тогда как на самом деле рассказ отражает время как форму бытия, а не создает его.
Таким образом Жане внес много ошибочного и произвольного в учение о памяти вследствие своего идеалистического мировоззрения и склонности к априорным конструкциям. Но все же его книга — шаг вперед. Разбор ее мы заканчиваем следующими выводами: 1) специфически человеческая вербальная намять (как репродуктивная, так и продуктивная) есть явление высшего нервного уровня; 2) она в качестве социального явления социально регулируется; 3) она имеет историю, зависящую от всей истории человеческого рода.
С этими выводами мы переходим к работе Бартлетта. Бартлетт определенно говорит о «социальной психологии воспоминания». По его мнению, и материал воспоминания и манера вспоминать социально определяются. Бартлетт считает экспериментально доказанным, что интересы решают то, что человек вспоминает, но сами интересы очень часто — непосредственно социального происхождения. Что выделяется сначала и что вспоминается впоследствии, в каждой общественной группе, в каждую эпоху, в каждой местности является результатом тенденции, интересов и фактов, ценность которых признается обществом.
С другой стороны, по Бартлетту, манера вспоминать зависит главным образом от темперамента и характера, которые также социально обусловлены, и Бартлетт говорит в данном случае о групповом характере в том смысле, что господствующие в данной социальной группе тенденции влияют на манеру вспоминать.
С оговорками, что это еще несовершенная попытка, Бартлетт все же пытается установить некоторые закономерности. Он устанавливает, что если социальная организация не имеет организующих тенденций со специфической направленностью, а имеет только группу приблизительно одинаково сильных интересов, то воспоминание — простого рекапитулирующего типа. Это имеет место в повседневной жизни первобытной социальной группы. Вообще это характерно для такой умственной жизни, которая имеет сравнительно мало интересов, притом ее интересы конкретны, из которых однако ни один не доминирует. Но где имеются сильные, предпочтительные, постоянные, специфические социальные интересы, там воспоминание будет уже непосредственно относящимся к делу, и не относящегося непосредственно к делу будет минимум. Бартлетт находит возможным говорить при объяснении такого воспоминания о социальных «схемах» его. Наконец где эти сильные, предпочитаемые, постоянные социальные тенденции подвергаются энергичному общественному контролю (например критикуются

пришлой высшей группой или находятся в оппозиции с общей тенденцией общественного развития группы), там социальное воспоминание, сознательно или бессознательно, принимает творческий и изобретательский характер. В этом случае манера вспоминать становится более догматической и уверенной, и воспоминание нередко сопровождается возбуждением и эмоцией.
Бартлетт особо останавливается на процессе, как перерабатывается культурный материал, приходящий в данную социальную группу извне. Здесь имеет место, с одной стороны, ассимиляция, уподобление культурным формам, существующим в усваивающей группе, а с другой стороны, симплификация, устранение элементов, являющихся особенностью той группы, от которой приходит материал. Однако в ряде случаев происходит также удержание некоторых этих деталей. Наконец имеет место «социальное творчество» внутри усваивающей группы со стороны отдельных членов ее так, что получается в конечном счете как бы коллективный продукт. Весь этот процесс Бартлетт называет конвенционализацией.
Заслуживает внимания и метод, каким работал Бартлетт.
С одной стороны, это — эксперимент по методу так называемой серийной репродукции, о котором мы уже имели случай говорить. С другой стороны, Бартлетт придает большое значение сравнительному изучению фольклора с однородным приблизительно содержанием, изменяющимся в зависимости от данной социальной группы.
Если разбор работы Жане мы оставили с выводом, что специфически человеческая память есть социальное явление, общественно определяемое, то работа Бартлетта помогает до известной степени выяснить вопрос, как общество определяет память индивидуума. Общество определяет как материал памяти, так и способ запоминания и вспоминания. Содержание, материал памяти определяется интересами индивида, которые являются в своей основе интересами соответствующей общественной группы. Так, в конечном счете классовые интересы определяют в классовом обществе содержание памяти индивидуума. При этом нужно лишь не забывать, что дело не только в социально определенных интересах индивидуума, но и в общественных требованиях к его памяти: так например при условии всеобщего обучения общество требует, чтобы в таком-то возрасте граждане помнили то-то.
Бартлетт сравнительно много остановился на способе вспоминать в тех или иных социально-исторических условиях. Подходя к этому вопросу другим путем, именно анализируя примитивное рассказывание, мы также установили в предыдущей главе, что детальная репродукция — примитивный вид вербальной памяти. Можно согласиться в основном с Бартлеттом о различии манеры вспоминать в консервативном и преобразовывающемся обществе. Правда, его утверждения о способе вспоминать в преобразовывающемся обществе нуждаются в проверке и вероятно в поправках: они кажутся слишком априорными и общими. Больше значения имеет его учение о социальных схемах воспоминания; мы бы сказали, в сравни-

тельно застывшем обществе устанавливаются социально обусловленные шаблоны манеры вспоминать. Можно даже, в виде гипотезы пока, предположить, что вообще различные исторические эпохи и разные общественные группы имеют свои схемы, свои шаблоны и манеры вспоминать.

Будущий исследователь истории человеческой памяти в рассказах и мемуарах различных эпох, как правильно указывает Бартлетт, найдет большой материал для этого. Но только здесь всегда будет трудность отличить своеобразно воспринятое от своеобразно запомненного. Я считаю, что по отношению к различным общественным группам возможно и экспериментальное исследование. Я производил такой опыт: наметив двух субъектов с противоположными классовыми установками, которые бы наверняка прочитывали ежедневно весь отдел телеграмм в «Известиях», расспрашивал их раз в шестидневку о прочитанном. Получились чрезвычайно любопытные результаты. Несмотря на то, что читали они одно и то же, ярко проявилось различие того, что запоминалось ими. Их память как бы подбирала соответствующий материал. Было поразительно, как один из них каждый раз серьезно и убежденно уверял, что «я этого не читал», «этого не было» и т. п. До такой степени он глубоко забывал прочитанное. Не менее велика была разница и в манере вспоминать: у одного это была скорее репродукция, у другого же — много пропусков и еще больше привнесений.

Таким образом разбор книги Бартлетта мы заканчиваем выводами: 1) содержание памяти социально обусловливается как интересами той социальной группы, класса и т. д., к которой психологически принадлежит данный субъект, так и доминирующими общественными требованиями; 2) различные социальные группы и различные исторические эпохи имеют свои особые шаблоны запоминать и вспоминать.

Я добавил бы: они отличаются также и силой памяти. О французских белоэмигрантах эпохи Великой французской революции говорили, что они ничего не забыли и ничему не научились. Иными словами, у них было нечто вроде антероградной амнезии в политической области, а, с другой стороны, в этой области они отчасти напоминали больную Жане. Маркс говорил об эпохе реакции, что ей свойственно забывать. С другой стороны, не так давно мы пережили период мемуаров.

Бартлетт в своей работе останавливался на социальной обусловленности содержания памяти и — особенно — манеры вспоминать, но на социальной обусловленности способа запоминать он мало останавливался. Как раз история запоминания занимает центральное место в работе тех советских психологов, которые поставили проблему памяти исторически. В 1030 г., т. е. за два года до опубликования работы Бартлетта, вышли «Этюды по истории поведения» Выготского и Лурия. В этой книге Выготский дает историю развития памяти первобытного человека. Следуя за Леви-Брюлем, он утверждает, что «в психике и поведении первобытного человека

память играет гораздо более значительную роль, чем в нашей умственной жизни, потому что определенные функции, которые она выполняла некогда в нашем поведении, выделились из нее и трансформировались. Наш опыт конденсируется в понятиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную массу конкретных впечатлений. У первобытного же человека почти весь опыт опирается на память». Эта память первобытного человека, по Леви-Брюлю и Выготскому, качественно очень отлична от нашей: «Постоянное употребление логических механизмов, абстрактных понятий глубоко видоизменяет работу нашей памяти. Примитивная память одновременно и очень верна и очень аффективна. Она сохраняет представления с огромной роскошью деталей и всегда в одном и том же порядке, в каком они в действительности связаны одни с другими. Во многих случаях... механизм памяти заменяет первобытному человеку логический механизм: если одно представление воспроизводит другое, это последнее принимается за следствие или заключение. Поэтому знак почти всегда принимается за причину». Таким образом у первобытного человека превосходно развита натуральная или естественная память, которая как бы с фотографической точностью запечатлевает внешние впечатления. При этом — и это в высшей степени существенно — «первобытный человек должен полагаться только на свою непосредственную память: у него нет письменности».

Выготский примыкал к тем исследователям, которые считают, что первобытного человека отличает главным образом эйдетическая форма памяти, лежащая в основе всякого образного, конкретного мышления. В подтверждение этого Выготский ссылался на исследование Данцеля. Вслед за Данцелем он указывал, что в деятельности примитивной памяти нас поражает «непереработанность материалов», сохраняемых памятью, последовательная фотографичность ее, более высокая, чем у нас, репродуктивная функция ее. Второе, что характерно для нее, — ее комплексный характер: «первобытный человек в своей памяти вовсе не переходит с усилием от одного элемента к другому, потому что его память сохраняет ему целое явление как целое, а не части его». Наконец первобытный человек еще плохо различает восприятие от воспоминания. Все это находит свое объяснение в эйдетическом характере примитивной памяти.

Из всего вышеуказанного Выготский сделал очень важный вывод: «Органическая память первобытного человека, или так называемая мнема, основа которой заложена в пластичности нашей нервной системы, т. е. в способности ее сохранять следы от внешних возбуждений и воспроизводить эти следы, — эта память достигает у первобытного своего максимального развития. Дальше ей развиваться некуда». Он даже утверждает, что «по мере врастания первобытного человека в культуру мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение ее, подобно тому как мы наблюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребенка». Но тогда встает вопрос, по какому пути идет развитие памяти первобытного чело-

века, если эта память, как единогласно показывают исследования, не совершенствуется в дальнейшем.

Выготский указывал, что примитивная память функционирует стихийно как естественная, природная сила. Человек пользуется ею, но не господствует над ней. Наоборот, эта память господствует над ним: «Она подсказывает ему нереальные вымыслы, воображаемые образы и конструкции. Она приводит его к мифологии... Историческое развитие памяти начинается с того момента, когда человек переходит впервые от пользования своей памятью как естественной силой к господству над ней». Накапливая психологический опыт, знание законов, по которым работает память, человек переходит к использованию этих законов. «Решительный шаг в переходе от естественного развитя памяти к культурному заключается в перевале, который отделяет мнему от мнемотехники, пользование памятью — от господствования над ней, биологическую форму ее развития — от исторической».

Вместе с Леруа Выготский считал, что умение первобытного человека ориентироваться и восстанавливать сложные события по следам объясняется не памятью: без знака, следа он не находит дороги. «От следопытства первобытного человека, т. е. от его уменья пользоваться следами как знаками, указывающими и напоминающими целые сложные картины, от использования знака первобытный человек на известной ступени своего развития переходит впервые к созданию искусственного знака. Этот момент есть поворотный момент в истории развития его памяти». «Клод считает первой стадией в развитии письменности мнемоническую стадию. Любой знак или предмет является средством мнемотехнического запоминания». Такими знаками у западноафриканских рассказчиков являются фигурки, каждая из которых напоминает какую-нибудь сказку, и значит все вместе является как бы примитивным описанием. Более абстрактным знаком являются узелки. «Стоит только сравнить память африканского посла, передающего слово в слово длинное послание вождя какого-нибудь африканского племени и пользующегося исключительно натуральной эйдетической памятью, с памятью перувианского «офицера узлов», на обязанности которого лежало завязывание и чтение квипу, для того чтобы увидеть, в каком направлении идет развитие человеческой памяти по мере роста культуры и — главное — чем и как оно направляется». Окончательный вывод Выготского: «Память совершенствуется постольку, поскольку совершенствуется система письма, система знаков и их использования. Совершенствуется то, что в древние и средние века называлось memoria technica, или искусственной памятью». Конечно это оказывает влияние и на естественную или органическую память: она совершенствуется и развивается очень односторонне, приспособляясь к господствующему в данном обществе виду письма и следовательно во многих отношениях даже деградируя.

Хотя работа Выготского вышла раньше работы Бартлетта, мы занялись ею в последнюю очередь, так как работа нашего прежде-

временно умершего советского ученого представляет еще больший шаг вперед. Самое ценное в работе Выготского — указание, что решающим сдвигом в истории человеческой памяти является пользование знаками и изобретение мнемонических знаков. Как и Жане, Выготский сводит историю человеческой памяти к истории письменности, но у него вербальная человеческая память не появляется как deus ex machina, но, правильно отмечая репродуктивный характер ее в начале ее истории, он связывает ее с эйдетической памятью и тем самым не делает крупных ошибок, какие делает Жане, который чрезмерно отделяет репродукцию от памяти и считает, что образы имеются только на той стадии развития, когда уже способны давать описания. В отличие от Жане Выготский основывается на реальных исторических фактах, и потому у него нет той фантастической истории памяти, которую создает Жане. Вместе с Выготским мы принимаем, что первоначально человеческая память в сильной степени была эйдетической памятью и что это — одна из причин (не единственная, по нашему мнению), почему примитивная человеческая память в такой сильной степени репродуктивная память. Точно так же мы согласимся с ним в том, что благодаря письменности память цивилизованного человека сильно отличается от памяти людей без письменности. Наконец мы соглашаемся с ним в том, что история человеческой памяти есть история пользования и изобретения знаков. Очень важна и правильна также мысль Выготского, что человечество в ходе своего исторического развития переходит от пользования памятью как естественной, природной силой к господству над ней. Если Бартлетт выявляет скорее только факт социальной обусловленности памяти, то Выготский идет гораздо дальше: он хочет дать историю человеческой памяти в связи с основными эпохами истории культуры. Но преждевременная смерть нашего исследователя помешала ему развить, уточнить, а иногда и исправить свою концепцию. Поэтому мы не можем ограничиться ею в том виде, как она дана.

Прежде всего нет оснований сводить примитивную зрительно-образную память только к эйдетической памяти, которая всего лишь одна из видов этой памяти и возможно, как это показывают эксперименты по эйдетизму у детей, не самый ранний вид ее. Следует говорить в таких случаях вообще о зрительно-образной памяти и даже шире — вообще о воображении как оперировании образами. Истории вербальной памяти предшествует история воображения — репродуцирующей образной памяти, фантазирования и творческого воображения. Тогда ясней стало бы, почему примитивная память не только репродукция, но и фантазия: и то и другое вместе. Мне кажется достойным сожаления, что Выготский не подчеркивал с достаточной энергией и частотой, что специфически человеческая память — вербальная память. Тогда в развитии своей очень верной мысли, что история человеческой памяти состоит главным образом в истории употребления и изобретения знаков, Выготский больше обратил бы внимание на то, что еще

задолго до того, как человек стал писать, человек стал разговаривать; задолго до того, как он стал пользоваться письменными знаками, он стал пользоваться звуковыми знаками — словами. В истории человеческой памяти речь играет не меньшую, а даже большую роль, чем письменность: с письменности начинает свою историю память цивилизованного человека, а с речи начинает свою историю вообще память человека как существа, отличного от животного.

Выготский не был далек от этого хода мыслей. Рассуждая о языке, он говорит: «Первобытный человек не имеет понятий, абстрактные родовые имена для него совершенно чужды. Он пользуется словом реже, чем мы... Слово может быть употреблено как имя собственное, как звук, ассоциативно связанный с тем или иным индивидуальным предметом. В этом случае он является именем собственным, а при помощи него выполняется простая ассоциативная операция памяти. Мы видели, что в значительной степени примитивный язык стоит именно на этих ступенях развития... Вот почему мышление первобытного человека фактически отходит на задний план по сравнению с деятельностью его памяти». Судя по этим высказываниям, Выготский очень близко стоит к признанию факта, что с самого начала своей истории язык связан с простой ассоциативной операцией памяти и что в эту эпоху вследствие особенностей примитивного языка память стоит на первом месте по сравнению с мышлением. Характерно также, что в выше разобранной работе его он от памяти тотчас же переходит к речи. Но тем не менее он не развил до конца этих мыслей, и трудно сказать, пришел бы он в конце концов к выводу, что речь есть то, через что происходит переход от памяти к мышлению. Тема «Память и речь» осталась как бы недоработанной. С другой стороны, мало останавливаясь на воображении, развитие которого предшествует развитию вербальной памяти, Выготский не смог или не успел выяснить, как приходит человек к пользованию знаками. Больше того, он как будто бы разделяет мнение Леруа, что даже на самых первых порах (например следопытство) «здесь выступают на первый план функции наблюдательности и умозаключения скорее, чем память». Не оспаривая роли наблюдательности, тем энергичней мы стали бы оспаривать роль умозаключения при пользовании знаками. Это утверждение никак не обосновано и не может быть обосновано. Ни первобытный человек, идущий по следам зверя, ни цивилизованный человек, читающий книгу, не осмысливают видимых знаков при помощи умозаключения: подумать только, сколько это заняло бы времени. Происходящий здесь процесс гораздо проще: это — воображение. У Гегеля, материалистически прочитанного, можно было бы найти немало ценных замечаний о том, что символизм — одна из функций воображения, и именно здесь и начинается путь развития «создающей знаки фантазии». Выготский упустил из виду как раз роль этой фантазии при употреблении, пользовании и создании знаков.

Развитие памяти. В результате нашего изучения памяти мы пришли к выводу, что в основном существуют четыре основных вида памяти: моторная память, или привычка, аффективная, образная, память и наконец вербальная память. С генетической точки зрения самым элементарным из видов памяти является моторная память, или привычка. Так как рассмотрение этого вида слишком далеко отвлекло бы нас от основной темы нашего исследования «Память и мышление», то мы специально не останавливались на изучении психологии привычки, и пожалуй только несколько положений здесь привлекает наше внимание. Привычку можно определить как предрасположение к определенным движениям, к большей возбудимости определенных движений в ответ на данный стимул при прочих равных условиях: при прочих равных условиях я реагирую наиболее привычным движением. Привычка образуется в результате очень многократного действия стимула или вследствие достаточно частого повторения данного движения.

В результате, правдоподобно предположить, происходят органические, в частности нервные, изменения. Стоя на точке зрения теория наследования приобретенных признаков, можно рассматривать инстинктивные движения как унаследованные в результате долгой истории родовые привычки. Подробнее рассмотрели мы аффективную память, которую интерпретировали как повышенную возбудимость определенных чувств при прочих равных условиях по отношению к данным (или однородным) стимулам. Наши симпатии и антипатии, наша осторожность, наше аффективное отношения к новому или уже знакомому (элементарное узнавание) объясняются в значительной степени часто аффективной памятью. Наша деятельность в большой мере состоит из инстинктивных и привычных движений, и наше отношение основывается часто на нашем аффективном опыте.

Инстинкты, привычки и аффективная память присущи не только животным, но и человеку. Печать их животного происхождения сохраняется и у человека: они отмечены сравнительной независимостью от воли (и обычно не ими управляют, но они управляют) и сравнительной далекостью от сознания, — психологи обычно говорят здесь о «бессознательном» и «подсознательном».

Память как движение и память как аффективное (обычно неосознаваемое) отношение — эти этапы своего развития память проходит еще до человека. Остается открытым вопрос, у человека ли в самые первые времена его полуживотной жизни или еще у самых высших животных начинается третий этап развития памяти — образная (может быть преимущественно обонятельная у некоторых животных и преимущественно зрительная у человека) память. Только с этих пор можно говорить о памяти не только как о моторно-аффективном опыте, но как о запечатлевшемся в представлениях знании, как об интеллектуальной памяти. На первых порах эта память функционирует как непроизвольная репродукция образов сенсорных впечатлений, притом очень склонная к трансформации образов и следовательно к искажению их. Непроизвольная

репродукция и столь же непроизвольное трансформирование их — таковы (первые стадии развития воображения, и возможно, что именно с них начинается развитие человеческой памяти в самые начальные моменты ее истории. Тогда непроизвольное образное воспоминание, быстро переходящее в фантазирование, является первой главой этой истории. Но развитие фантазии приводит к тому, что фантазия из пассивного фантазирования, искажающего действительность, становится продуктивной силой, оперирующей символами и знаками.

Речь — одно из основных отличий человека от животного, и именно вербальная память — специфически человеческая память. Но речь — средство социального общения, и вербальная память — социальное явление, история которого уже социально обусловлена.

Эта история еще не написана, и сейчас мы можем характеризовать ее только в общих чертах. На первых этапах человеческой истории вербальная память вероятно очень тесно сотрудничала с образной памятью, и поэтому ранняя вербальная память — репродуцирующая и в то же время фантазирующая память. Такова память человека в эпоху дикости, еще весьма несовершенная. На следующей стадии, в эпоху, отделяющую века дикости от веков цивилизации, вербальная память, судя по соответствующим источникам, достигает максимального расцвета. Возможно, что именно к этой эпохе следует отнести утверждение Бартлетта о воспоминании по более или менее твердым социальным «схемам». Именно в эту эпоху развилась социальная организация воспитания памяти в виде систематического словесного обучения, обязательного в варварских обществах в эпоху полового созревания юношей. Наконец в эпоху цивилизации письменность создает новый этап истории человеческой памяти, которая уже прошла свой зенит. На смену гегемонии памяти идет гегемония мышления.

VIII. ПАМЯТЬ, РЕЧЬ И МЫШЛЕНИЕ

1. Возможна ли мысль без слов? «Непосредственная действительность мысли, это — язык... Задача спуститься из мира мыслей в действительный мир превращается в задачу спуститься от языка к жизни». «На «духе» с самого начала тяготеет проклятие «отягощения» его материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка»101. По поводу желания мыслить без слов Гегель удачно вспоминает Месмера, которого, по его собственным словам, подобное предприятие едва не привело к безумию.

Для непредубежденного человека положение, что он думает, пользуясь словами, настолько очевидно, что на вопрос: «на каком языке вы думаете?» ответ: «на русском», «на татарском» и т. д. следует без замедления. Что люди думают на том или другом языке, — это общеизвестный факт. Самое простое и в то же время самое сильное опровержение тех, кто отделяет мышление от речи, — предложить им экспериментально доказать свою теорию, попробовав например несколько часов думать без слов: их постигнет судьба Месмера. Можно сколько угодно доказывать, что мышление существует отдельно от речи, но на деле нельзя и минуты мыслить без слов. Но «практика человека и человечества есть проверка, критерий объективности познания»102. Практическая невозможность мышления без речи опровергает теорию тех, кто пробует отделить их друг от друга.

Наиболее детально развивал аргументацию в пользу отделения мышления от речи Ессен еще в 70-х годах прошлого столетия, и до сих пор обычно пользуются его аргументацией103. Ессен считает, что понимание и мышление — центростремительный процесс, а рассуждение и речь — центробежный. Этот аргумент насыщен крупными ошибками. Странно так резко отделять, даже противополагатъ мышление и рассуждение, тогда как в действительности рассуждать значит думать. Сблизить с речью рассуждение все равно, что сблизить с речью мышление. Сближать же с речью рассуждение и в то же время резко обособлять от рассуждения и тем самым от речи мышление — не что иное, как ребячество. С другой стороны, неправильно так тесно сближать мышление с пониманием: когда мы понимаем, мы обыкновенно не думаем; наоборот, мы думаем, когда что-нибудь трудно понимать. «Это так ясно, что я вовсе не думал», «я сразу не понял и стал думать», — такие высказывания обычны при экспериментах над мышлением.

Если аргумент Ессена истолковать так, что понимание и мышление — познавательные процессы, а рассуждение и речь — выражающие, экспрессивные, эффекторные, то и это не верно. Было бы странным не считать рассуждение познавательным процессом. С другой стороны, внутренняя речь не может считаться исключительно эффекторным процессом. В моих опытах с течением зрительных образов испытуемые нередко описывали следующее положение: данный образ начинает трансформироваться, видится нечто неопределенное, постепенно этот неопределенный образ становится несколько определеннее, но тем не менее испытуемый продолжает переживать неясность, неопределенность, колебание; вдруг в известный момент приходит в голову название оформляющегося образа, и тотчас он становится очень определенным, а все неподходящее в нем под это название оставляется без внимания, как бы исчезает для испытуемого. На известной стадии восприятия называние влияет на окончательный результат его, и еще Потебня доказывал, что слово является также средством апперцепирования. Таким образом, как ни интерпретировать аргумент Ессена, все равно он полон ошибок. Больше того, если признать, что рассуждать значит думать, что этот аргумент тогда доказывает даже противоположное тому, что хочет доказать. Рассуждение неотделимо от речи, слышимой или внутренней.

Ессен указывает, что есть мысли, которые трудно передать словами, и есть слова без мыслей (например бред), как есть и мышление без слов (афатики, глухонемые). Остановимся на последнем положении: можно мыслить без слов. Прежде чем перейти к вопросу о мышлении афатиков и глухонемых, изложу сначала результаты одного своего исследования.

Как было уже сказано вначале, испытуемый обыкновенно без особого труда отвечает, на каком языке он мыслит, и думать ни на каком языке, по крайней мере для говорящего человека, невозможно. Я имел возможность опросить трех «многоязычных» испытуемых. Два из них были «двуязычными» и одна — «трехъязычной», т. е. одинаково владеющая тремя языками. Оказалось, что и думали они на нескольких языках, насколько можно судить по их сообщениям, в зависимости от ситуации (например с кем разговаривали) и отчасти от темы (например: один из них серьезные научные темы обдумывал обычно только на русском языке). Тем не менее они все же каждый раз думали на каком-то языке.

Я имел случай изучать несколько школьников 10—13 лет, «двуязычных», но плохо говорящих на обоих языках. Не только хромала грамматика, но и словарь их был очень скуден как на одном, так и на другом языке. Знающие их учителя квалифицировали их как очень неразвитых, и именно в качестве таковых они попали мне на обследование, которое подтвердило отзыв учителей (при обследовании я пользовался картинами и тестами на действие, требующими интеллектуального развития). Так, плохо развитая речь шла рука об руку со слабо развитым мышлением.

Но вот один взрослый испытуемый, до 13 лет росший в Англии и с тех пор живущий в Москве. Он думает по-русски, но иногда и по-английски. По-английски его речь несовершенна, несовершенна и русская речь его: дефекты относятся не только к произношению, но также к синтаксису и словарю. Тем не менее умственное развитие его гораздо выше среднего. Опрос его выяснил, что в результате двуязычия словарь не беднее, а гораздо богаче, чем при одном языке: «у меня много синонимов», так характеризует он свой словарь, и действительно у него до известной степени получилось нечто вроде какого-то общего русско-английского словаря. Два довольно несовершенных языка дали в итоге сравнительно высоко совершенный (в психологическом — семасиологическом — смысле) язык.

Последний случай наводит на мысль, что при оценке речи (а также мышления) испытуемых надо остерегаться невдумчивых, поверхностных оценок: ведь последний случай (по видимости недостаточно совершенное развитие речи при очень развитом мышлении) мог бы легко попасть в число примеров, призванных обосновать теорию, доказывающую независимость мышления от речи. Возможно, что и ссылки на мышление глухонемых и афатиков также поверхностны. Я не изучал специально ни глухонемых, ни афатиков, и потому считаю себя некомпетентным в этом вопросе. Но не меньше некомпетентность и тех, кто доказывает этими ссылками возможность мышления без слов. Мы знаем в общем, что умственное развитие глухонемых весьма невысоко, но что мы знаем о мышлении глухонемых? Решать вопрос о взаимоотношении между мышлением и речью ссылкой на мышление немых значит решать этот вопрос ссылкой на неизвестное. Доказывать возможность мышления без слов мышлением глухонемых значит доказывать тем, о чем ни тот, кто доказывает, ни тот, кому доказывают, ничего не знают. Разве нельзя предположить, что наше мышление так же похоже на соответствующий процесс у глухонемых, как наша речь на его знаки? Так же точно бросается в глаза некомпетентность и тех, кто доказывает возможность мышления без слов ссылками на афатиков. Несмотря на огромную литературу, афазия и до сегодняшнего дня недостаточно изучена. Правда, мышление афатиков более известно нам, чем мышление глухонемых, о котором ничего не знаем. Однако, насколько оно мало известно, видно из того, что даже знаменитое утверждение Мари, что у всякого афатика интеллект ослаблен, до сих пор еще ни доказано, ни опровергнуто с полной бесспорностью.е Но если все же кое-что о мышлении афатиков нам известно, причем все больше и больше выявляется своеобразие этого мышления, то что нам в конце концов известно о внутренней речи афатиков? Почти ничего, кроме самых общих и довольно гадательных положений вроде того, что при сенсорной афазии наблюдаются как будто бы большие расстройства внутренней речи и вместе с тем большие затруднения в мышлении, а при моторной афазии внутренняя речь обычно более сохранена. И вот, когда нам говорят, что афа-

тики мыслят, не говоря при этом о том, какие афатики, каков характер и какова степень их афазии, как обстоит у них дело с внутренней речью, каково их мышление и т. д., то разве это можно принимать за сколько-нибудь серьезное доказательство? Итак, ссылаться в доказательство несвязанности мышления с речью на глухонемых, чье мышление неизвестно, и на афатиков, чья внутренняя речь немногим больше известна, это значит находить себе asylum ignorantiae: настолько слаба позиция сторонников этой теории и настолько мало опоры дают им несравненно больше известные факты психологии здорового человека.

Зато заслуживает внимания утверждение Ессена, что бывает речь без мышления: примером такой речи может порою служить речь маниакального больного или схизофреника. Впрочем нет необходимости обращаться в клинику за примерами речи без мышления: к сожалению в повседневной жизни можно также встретить случаи, когда люди «говорят, не думая». Это относится также и к внутренней речи. Иногда нам случается ловить себя на том, как повторяешь про себя какую-либо иногда совершенно бессмысленную фразу. Любой из нас может говорить про себя выученные наизусть стихи на иностранном языке, притом совершенно непонятные для него. Любая, в том числе и внутренняя, речь может существовать без мышления: говорить вслух или про себя далеко не всегда значит думать.

Вот почему следует относиться с большой осторожностью к формулировке: «Мышление есть внутренняя речь», всегда помня, что эту формулировку нельзя обратить, нельзя сказать: «Внутренняя речь есть мышление», так как возможна внутренняя речь без мышления. Совершенно уже никуда не годится бихевиористское определение мышления как «скрытых речевых навыков», так как говорим вслух или про себя, не думая, мы обыкновенно как раз именно привычное, а при данном определении стирается грань между речью-привычкой, речью-памятью, с одной стороны, и речью-мышлением — с другой. Выражаясь образно, внутренняя речь есть как бы поле встречи памяти и мышления.

Пожалуй с еще большим вниманием следует отнестись к утверждению Ессена, что есть мысли, которые трудно выразить словами. В такой формулировке это неверно, и еще Гегель указывал, что то, что нельзя выразить словами, также и мыслится смутно, несовершенно, хотя тот же Гегель отмечал, что язык выражает в сущности лишь всеобщее, но то, что думают, есть особенное, отдельное: «Поэтому нельзя выразить на языке то, что думают». Но это уже глубоко философская проблема восхождения мышления от отдельного конкретного явления к общему понятию. Отвергая неправильное утверждение Ессена, так как ясную, оформившуюся мысль всегда можно выразить словами, мы должны в то же время не забывать, что выразить словами все конкретное богатство предмета мышления конечно нельзя и что «познание есть вечное, бесконечное приближение мышления к объекту»104.

То, что внушило Ессену, весьма поверхностно отнесшемуся

к вопросу, лишь неверное утверждение возможности мышления без слов, на самом деле, при более вдумчивом отношении, могло бы явиться стимулом к постановке проблемы, как развивается мышление.
В результате критического рассмотрения взглядов Ессена мы нашли, что может быть речь без мышления, но не может быть мышления без речи, как в этом может убедиться каждый на своем собственном опыте, пытаясь определенное количество времени думать без помощи слов. Этот опыт настолько убедителен, что защитникам противоположного мнения не остается ничего больше, как ссылаться на научно неисследованное мышление глухонемых или на афатиков, чья внутренняя речь известна науке пожалуй столь же мало.
2. Генетические корни мышления и речи. Впрочем в последнее время появилось еще одно доказательство у защитников этого мнения. Это доказательство принадлежит Выготскому и формулируется им так: «Мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни»105. Это совершенно неверное положение: на каком деле мышление и речь имеют генетически один и тот же корень — действие, практическую деятельность. К сожалению наш талантливый психолог не заметил, что это легко доказывает им же самим приводимый, правда, для противоположной цели, материал.
Вместе с Келером Выготский признает общение между обезьянами при помощи жестов, мимики. «Животные прекрасно «понимают» мимику и жесты друг друга. При помощи жестов они «выражают» не только свои эмоциональные состояния, — говорит Келлер, — но и желания и побуждения, направленные на других обезьян или на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случаях состоит в том, что шимпанзе начинает то движение или действие, которое он хочет произвести или к которому хочет побудить другое животное (подталкивание другого животного и начальные движения ходьбы, когда шимпанзе «зовёт» его итти с собой; хвататeльные движения, когда обезьяна хочет у другого получить бананы и т. д). Все это — жесты, непосредственно связанные с самым действием». Я бы сказал еще резче: все это речь-действие.
Лернед, как указывает Выготский, даже составил словарь звукового языка шимпанзе, состоящий из 32 «слов», имеющих определенное значение «в том смысле, что они характерны для определенных ситуаций, как например ситуаций или объектов, которые вызывают желание или удовольствие, неудовольствие или злобу, стремление избежать или страх и т. д... Легко заметить, что это — словарь эмоциональных значений».
Из всего вышесказанного Выготский делает вывод: «Речь — не только выразительно-эмоциональная реакция, но и средство психологического контакта с себе подобными. Как обезьяны, наблюдавшиеся Келером, так и шимпанзе Иеркса и Лернеда с совершенной несомненностью обнаруживают эту функцию речи».

И вдруг после этого Выготский, правда, вместе с Бюлером и другими авторами, утверждает «независимость действий шимпанзе от речи». Это утверждение тем необыкновенней, что Выготский считает, что «речь вовсе не встречается исключительно в звуковой форме. Глухонемые создали и пользуются зрительной речью». Разве жесты, то, что я назвал речью-действием шимпанзе, не влияют на действия других шимпанзе? Разве не влияют на эти действия и «слова»? Конечно да.

Говоря о речи обезьян, Выготский говорит, что «менее всего эта реакция может напомнить намеренное, осмысленное сообщение чего-нибудь или такое же воздействие». Но разве, когда шимпанзе «зовет» другого шимпанзе итти с собой, производя начальное движение ходьбы, это не намеренное воздействие на него? Конечно да. «Мы не знаем ни одного намека на употребление знака у шимпанзе», — говорит Выготский. А что же такое эти начальные движения ходьбы, как не пантомимический знак? Выготский, как мне кажется, ограниченно понимает знак как предметный знак, тогда как знак может означать (и означал вначале) действие или эмоционально сильно стимулирующую ситуацию.

Подведем итоги относительно речи шимпанзе, пользуясь приводимым у Выготского материалом из Келера, Лернеда и других авторов. Звуковая речь развита у шимпанзе настолько слабо, что не служит у них средством общения друг с другом. Так как только членораздельная словесная речь, по моему мнению, заслуживает названия речи, то я бы не стал говорить о речи шимпанзе; в конце концов ведь шимпанзе все же не разговаривает, не рассказывает. Не надо растягивать чрезмерно значение слов, чтобы не прибегать к натяжкам. О речи у шимпанзе можно говорить только в условном смысле слова, как зачатках речи, еще лучше, как о средствах общения, непосредственно предшествующих человеческим средствам общения. Такое средство общения, предшествующее человеческому средству общения, у шимпанзе — жест. Но и термин «жест» может ввести в заблуждение благодаря придаваемому ему необычному значению: ведь мы жестикулируем руками. Говоря о «речи» шимпанзе, не надо забывать об отсутствии у них прямой походки и недоразвитии их рук. «Жест» шимпанзе — пантомимический жест.

В интересной работе «Worttaubheit, Melodientaubheit u. Gebärdenagnosie» (Когерер на клиническом материале различает четыре ступени выразительных движений: 1) пантомимические, 2) автоматические (угрожать, давать знаки и т. п.), 3) мимика, 4) смех, плач и т. п.106. Он доказывает на невропатологических фактах, что можно различать эти ступени как более древние и более поздние. Принимая это как доказанное им, мы только проинтерпретируем каждую из этих ступеней. На первой из них, которую мы назовем драматической, выражается действие полностью, притом всем телом. На второй из этих стадий, которую мы назвали бы символической, выражается только частичное действие, притом преимущественно рукой. Работы о выразительных движениях

уже давно доказали, что жесты, многие из которых теперь перестали быть даже символическими движениями и стали простыми автоматическими движениями, были когда-то движениями-действиями107. На третьей — мимической — стадии выразительные движения становятся преимущественно лицевыми, а на четвертой — звуковой. — преимущественно голосовыми. Так постепенно выразительные движения из движений всего тела становились движениями преимущественно только руки и лица, а в конце концов на первый план выступают звуковые выразительные движения, в конечном счете речь. Разумеется, не надо представлять, что каждая следующая стадия выступает лишь после полного исчезновения предыдущей: скорее они сосуществуют в тот или иной момент как отмирающие и нарастающие. Так вот то, что называют «речью» шимпанзе, соответствует первой стадии, пожалуй в эпоху приближения ее ко второй — символической — стадии. Здесь нет еще действия как только символа, но здесь есть уже выделение частичного действия, здесь есть уже, так сказать, синекдохическое действие. Не надо забывать, что символические действия также имеют свою историю и предысторию. Вместе с Выготским вспомним утверждение Вундта, что по отношению к указательным жестам обезьяны находятся на переходной ступени от хватающего действия к указательному жесту.

Как бы то ни было, «речь» шимпанзе еще очень большим количеством стадий отделена даже от начала человеческой речи. Она в контексте нашей темы представляет интерес как предыстория, притом еще довольно далекая, человеческой речи. Эта предистория — действие. Таков генетический корень речи.

Каков же генетический корень мышления? Характерно, что, говоря о мышлении шимпанзе, Выготский чрезвычайно растягивает этот термин, чуть ли не ставя знака равенства между мышлением и «интеллектуальной реакцией», что явно неправильно. Широко используемый Выготским Келер говорит об «Einsicht», вводя довольно неопределенный и двусмысленный термин. Эта неясность, это оперирование чрезмерно расширенными или чрезмерно неопределенными терминами лучше всякой критики демонстрирует, как трудно сближать этим авторам человеческое мышление и мышление обезьян.

Сближение истории и предыстории человеческого мышления лежит не на этом пути. Правильный путь сближения намечен известным положением Энгельса: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, следовательно также абстракция (родовое понятие четвероногих и двуногих), анализ неизвестных предметов (уже разбивание ореха есть налицо анализ) синтез (в случае проделок животных) и в качестве соединения обоих — эксперимент (в случае новых препятствий и при независимых положениях). По типу все эти методы, т. е. все известные обычной логике средства научного исследования, вполне одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени развития (соответствующего метода)

они различны». Несмотря на крайнюю сжатость формулировки Энгельса, легко заметить, что здесь говорится о действиях животных: начало анализа Энгельс видел в разбивании ореха, синтез — в проделках животных, эксперимент повидимому — в пробах их. Генетический корень мышления — действие.
Выготский пробует свою теорию в различии генетических корней речи и мышления доказать также на онтогенетическом развитии. Казалось бы, когда исследователь переходит от такой темной области, как речь и мышление шимпанзе, к такой несравненно более близкой и лучше изученной области, как ребенок, он должен был бы чувствовать себя лучше. На самом же деле как раз наоборот: «В онтогенезе отношение обеих линий развития — мышления и речи — гораздо более смутно и спутанно». Мы уже имели случай видеть не раз, как сторонники обособления речи и мышления лучше всего чувствуют себя, когда оперируют почти неизвестным (мышление глухонемых, внутренняя речь афатиков, мышление и речь шимпанзе).
Уже выше мы видели, что Выготский чуть ли не ставит знак равенства между мышлением и «интеллектуальной реакцией», тогда как и восприятие, и внимание, и память, и воображение — также «интеллектуальные реакции». В сущности он имеет в виду «доречевое вызревание интеллекта ребенка». Но кто сомневается, что можно говорить об интеллектуальном развитии (в самом широком смысле этого слова) грудных младенцев и даже новорожденных? Однако суть вопроса — не вообще интеллектуальное развитие, а развитие именно мышления. «Независимость зачатков интеллектуальных реакций от речи» несомненна, и ее можно было бы доказать даже несравненно проще, если только эта общеизвестная истина вообще нуждается в доказательстве. Мы имеем явную подмену тезиса: мы ждем, что будут доказывать независимость мышления от речи, а нам начинают доказывать совершенно иное. Поскольку речь идет именно о мышлении, то максимум, что вместе с Бюлером находит Выготский до речевого мышления, это то, что он называет инструментальным мышлением (Werkzeugsdenken), т. е. «понимание механических соединений и придумывание механических средств для механических конечных целей». Формулировка этого определения звучит по отношению к 10—12-месячному младенцу конечно слишком пышно и ни в какой степени не удовлетворяет научным требованиям точности определения, не говоря уже о неправильном приравнивании мышления и понимания. Максимум, о чем здесь идет речь, это — о зародышевой форме применения наиболее примитивных орудий. Как и что думал при этом грудной младенец, вероятно навсегда останется секретом сторонников критикуемой теории. Максимум, что мы имеем право утверждать, это — существование до мышления действия, практической деятельности, начинающей в зародышевой форме применять наиболее примитивные орудия. Только в том возрасте (2-й год жизни), в котором Выготский находит «зависимость развития мышления от речи», мы находим у него

невызывающее сомнений мышление ребенка, действительно как мышление. Мы можем согласиться с Выготским о доинтеллектуальных корнях речи, но, вопреки ему, до речевого мышления мы находим не какое-то иное мышление, а всего лишь предысторию мышления — практическую деятельность.

3. Проблема внутренней речи. Когда мы говорим о связи мышления с речью, мы имеем в виду в первую очередь внутреннюю речь, и Выготский прав, утверждая, что «как ни решать сложный и все еще спорный вопрос об отношении мышления и речи, нельзя не признать решающего и исключительного значения процессов внутренней речи для развития мышления». Мы согласимся с Выготским также в критике Уотсона, весьма упрощенно отождествлявшего мышление и внутреннюю речь. Примем также и критику Выготского совершенно не соответствующего действительности утверждения Уотсона, что внутренняя речь развивается из громкой речи через шопот.

Но в то же время мы вряд ли можем согласиться с утверждением самого Выготского, что средним звеном, соединяющим внешнюю и внутреннюю речь, является описанная Пиаже так называемая эгоцентрическая речь. Опровержение теории Выготского дает последовательно вытекающий из нее, сделанный им самим, вывод, что внутренняя речь появляется поздно: «Тип внутренней речи у школьника является еще в высшей степени лабильным, неустановившимся, что говорит в пользу того, что перед нами генетически молодые, недостаточно оформившиеся и определившиеся процессы». Этот вывод о столь позднем характере внутренней речи находится в столь кричащем противоречии с действительностью, что является самым лучшим опровержением той теории, из которой необходимо он следует.

Вопрос о внутренней речи слишком мало изучен, и всякие утверждения о генезе внутренней речи надо признать преждевременными. Не с целью отстаивания нижеизлагаемой гипотезы как единственно правильной, но с целью демонстрирования возможности иных путей решения, чем те, которые сейчас признаются единственными, позволяю себе высказать одно предположение. Стремятся обыкновенно связать развитие громкой и внутренней речи, предполагая, что внутренняя речь развивается из громкой. Но откуда развивается вообще речь ребенка? И крик и лепет только предпосылка развития речи ребенка, но не из них развивается она: если бы ребенок рос среди неумеющих говорить, он и кричал бы, и лепетал бы, но не говорил бы. Глухорожденный тем самым немой. Речь ребенка развивается из слушания речи других. Но если так, то почему исключается возможность предположить, что по крайней мере в онтогенезе внутренняя речь, как и громкая, развивается из слушания речи? Что эта гипотеза имеет некоторое правдоподобие, видно из того, что при сенсорной афазии, а не при моторной чаще и сильней всего страдает внутренняя речь. Исследования Пикка показали, что эхолалия, автоматическая и даже произвольная, развивается еще до понимания слов, даже

при соответствующем предмете109. Она имеется у сенсорного афатика, не понимающего слов. Слушание речи — не простое только слушание: до известной степени мы как бы говорим вместе с говорящим. Конечно здесь нет полного повторения его слов, даже внутреннего (хотя иногда такое полное повторение, даже громкое, например хоровое повторение припева, бывает). Но возможно, что зачатки внутренней речи именно здесь.

Конечно при современном малом знании проблемы внутренней речи вышеизложенная гипотеза так же мало обоснована, как и всякая другая. Она имеет в данном случае только иллюстративное значение. Но то общее положение, иллюстрировать которое призвана эта гипотеза, мне представляется единственно правильным. Это положение можно формулировать так: так как язык «возникает из потребностей сношения с другими людьми», то объяснение развития его надо искать именно в этом. Неправильно объяснять развитие как внешней, так и внутренней речи исключительно физиологическими или индивидуально-психологическими причинами.

Если бесспорно, что онтогенетически речь развивается из общения с другими людьми, то трудней согласиться с этим по отношению к филогенезу. Однако эта трудность только видимая. В любом разговоре, при любом рассказе всегда имеются две стороны: говорящий и слушающий. На ранней стадии речи членораздельные звуки у говорящего были только придатками к его действиям — пантомимическим движениям, жестам и т. п., были только сопроводительными выразительными звуками. Но слушатель улавливал связь этих звуков с соответствующими движениями, ситуациями и предметами, т. е. понимал значение этих звуков. Чтобы данный комплекс звуков вошел во всеобщее употребление, он должен был быть повторен многими людьми: слушание и в филогенезе по всей вероятности не было только простым слушанием, но и повторением. Слушатель в свою очередь становился говорящим.

Если бы человеческие слова были все лишь «естественными звуками», исключительно лишь психофизиологически обусловленными, тогда для объяснения их было бы мало нужды прибегать к факту общения между людьми. Но они были таковыми лишь в самый первый момент предыстории языка. Разнообразие языков даже в первобытном обществе, и наиболее всего как раз именно в нем, указывает, что действовали главным образом социально-психологические причины. Так сказать, пропагандировали, распространяли данные слова слушатели. Они были не только слушателями, но и повторяющими.

Уже в предыдущих главах неоднократно говорилось о том, какую роль играло повторение в ранней истории вербальной памяти, которая первоначально была репродукцией, репродуктивной вербальной памятью. Дело не только в том, что слушатель бывал нередко и передатчиком. Дело прежде всего в простой подражательности. В юном возрасте мне приходилось проводить

иногда почти целые дни в обществе людей, говорящих по-русски с большим акцентом и своеобразной фразеологией, и когда я возвращался домой, то иногда мать по моей речи определяла, что я был именно в этом обществе. Сейчас я, если часто слушаю заграничное радио на определенном языке, то потом ловлю себя на том, что повторяю впоследствии непроизвольно некоторые слышанные речения.

Но если слушание так сильно связано с повторением, то и в филогенезе не так уж трудно представить себе первоначальное развитие внутренней речи именно из слушания. Возможно, что вначале это была непроизвольная, тихая, зародышевая, про себя производимая, симультанная, т. е. происходящая одновременно со слушанием, эхолалия, или (чтобы не пользоваться этим клиническим термином) симультанная репродукция.

Что такая симультанная репродукция при слушании речи действительно существует, это может подтвердить самый простой, повседневный, но в высшей степени интересный опыт. Когда я смотрю на что-нибудь, я свободно могу одновременно и внимательно смотреть и говорить про себя что-нибудь. Когда я внимательно слушаю музыку, я также могу в то же время думать, говорить про себя. Но общеизвестно, как трудно в одно и то же время внимательно слушать говорящего и внутренне говорить что-либо про себя: если мы внимательно слушаем, мы не можем думать или говорить про себя, например хотя бы знакомое стихотворение наизусть, больше того, мы замечаем, что при очень внимательном слушании мы повторяем про себя слова говорящего; если мы, наоборот, начинаем в это время думать, говорить про себя (не речь говорящего), то мы перестаем слушать речь говорящего и переживаем нечто вроде сенсорной афазии, примерно на той стадии ее, когда слова слышатся как слова, но еще не понимаются: мы слышим все, что говорят, но повторить ничего не сможем, так как речь до нашего, так сказать, «психического» слуха не дошла. По Пикку, эта стадия сенсорной афазии предшествует стадии эхолалии. Таким образом эту стадию сенсорной афазии можно вызвать экспериментально: для этого только надо во время слушания речи думать о чем-нибудь другом, произнося это про себя. Правда, временами кажется, что в одно и то же время мы слушаем, понимая другого и сами внутренне говоря иное, но при более тщательном анализе в этих случаях всегда оказывалось, что имело место колебание внимания между слушанием речи и посторонней внутренней речью.

Невозможность при внимательном слушании речи внутренне говорить о другом объясняется тем, что при слушании речи происходит симультанная репродукция ее: если так, вышеописанный опыт состоит в попытке одновременно иметь две внутренние речи, что конечно физически невозможно. Во избежание неправильного понимания моей интерпретации этого опыта считаю нужным подчеркнуть, что речь идет в нем не о полной, а о частичной сенсорной афазии, именно об экспериментально вызванной определенной

стадии ее, той именно, которая, по Пикку, непосредственно предшествует (если итти от самой глубокой стадии этой афазии) непроизвольной эхолалии.
Можно попытаться даже дать объяснение вербальной репродукции. Это — подражательность. Не надо забывать, что подражательность по еще неизвестным нам причинам с исключительной силой проявляется как раз по отношению к тем явлениям, где участвуют так или иначе органы речи (кашель, смех, зевание, пение). У детей и у первобытного человека возможно предполагать подражательность более сильной, чем у взрослого цивилизованного человека. Отсюда возможно предположить, что и вербальная репродукция, в том числе симультанная, у них гораздо сильнее и значит тем легче было из этого развиться внутренней речи. Еще один простой опыт подтверждает это: гораздо легче писать что-либо и в то же время внимательно слушать чью-либо речь, чем слушать ее и в то же время читать. Однако это имеет место только при таком писании, которое не сопровождается внутренней речью: в том случае, если испытуемый пишет, в это же время произнося про себя, внимательное слушание очень затрудняется почти так же, как и при чтении. Получается все та же стадия сенсорной афазии.
Вполне допуская, что развиваемая мной гипотеза при проверке ее потерпит существенные изменения, я считаю то главное положение, которое лежит в основе ее, обоснованным и при теперешнем состоянии наших знаний. Это положение можно формулировать так: речь есть средство общения и потому является процессом не односторонним, а двусторонним. Там, где разговаривают, есть не только говорящий, но и слушающий. Разговор есть общение. В данный момент разговора, рассказа и т. д. и говорящий и действительно слушающие думают одно и то же, быть может только иначе относясь к нему, например один положительно, другой отрицательно. Говорить в этом случае значит думать вслух, слушать значит думать про себя. Говорящий и слушающий оба говорят, притом одно и то же, только один вслух, а другой про себя. Ставить вопрос о том, что развивалось раньше — речь или мысль — неправильно: речь, подлинная речь, без мысли на речь, и мысль без слов не существует. Речь и мышление, внешняя и внутренняя речь, развивались одновременно. Как и внешняя речь, внутренняя речь социального происхождения: начало ее надо искать не в чисто физиологических причинах (превращение шопота во внутреннюю речь) и не в эгоцентризме, а в том, в чем надо искать происхождение вообще речи, — в общении. Но если так, то тем самым мышление — социальный продукт. «На «духе» с самого начала тяготеет проклятие «отягощения» его материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также

и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не «относится»; для животного его отношение к другим не существует как отношение. Таким образом сознание с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди»111.

Выросший на необитаемом острове Адам не говорил бы и не испытывал бы потребности говорить. У него не было бы и внутренней речи, и вербальной, т. е. специфически человеческой памяти. Он бы не мыслил, не рассуждал. Проще говоря, его интеллект был бы интеллектом не человека, а животного.

4. Память и речь. Наитеснейшим образом сближая мышление и речь, надо остерегаться все же отождествлять их: в речи участвует не только мышление, но и память. При полной вербальной амнезии я (в качестве говорящего) не помнил бы, как что называется, а в качестве слушателя не помнил бы, что какое слово значит.

В чем состоит «помнить значение слов»? В психологии еще не так давно господствовал неправильный взгляд на это. Утверждали, что помнить значение слов значит быть в состоянии представить себе соответствующую объективно существующую ситуацию. Это не соответствует действительности. Если я забыл немецкий язык, я не понимаю немецкой речи: при амнезии нет понимания. Но когда я понимаю немецкую речь, то, слушая ее, я могу ничего не представлять в том смысле, что никаких предметных, образных представлений у меня нет. Большая заслуга так называемой вюрцбургской психологии, правда, затемненная многочисленными недостатками, в том и состояла, что она экспериментально доказала отсутствие необходимости, обязательности наглядных представлений при осмысливании значения слов или фраз.

Функция слов состоит не в том, что слова вызывают наглядные представления, а как раз наоборот — в том, что эти наглядные представления становятся не необходимыми. Гегель выразил его в очень энергичной формулировке: «Образ умерщвляется, и слово заменяет образ». Он пишет: «Речь есть умерщвление чувственного мира в его непосредственном чувственном бытии, снимание его и превращение его в наличное бытие, являющиеся призывом, который находит себе отголосок во всех представляющих существах»112.

Как материалистически представить замену словом образа или предмета? Слово — знак, сигнал. Значит разрешение вопроса надо искать в психологии замены явления знаком или сигналом. На современном уровне знаний больше всего материала по этому вопросу мы находим в учении об условных рефлексах. Слово действует в основном и элементарном аналогично знаку, сигналу, но знак, сигнал, может быть интерпретирован как услов-

ный раздражитель. Элементарно-основное действие слов аналогично действию условных раздражителей.
Существенное свойство условного раздражителя то, что при известных условиях он вызывает ту же реакцию, какую вызывает с самого начала ассоциированный с ним безусловный. Существенное свойство слова — вызывать то же переживание, какое вызывает означаемое словом явление. И в случае условного раздражителя и в случае слова выражение «та же реакция» надо понимать с оговорками. В огромном большинстве опытов с условным раздражителем это гораздо более слабая реакция, однако в незначительном случае эта реакция может быть приблизительно равной или даже большей силы. Но таково и действие слов. В огромном большинстве случаев слова вызывают гораздо более слабые переживания, чем означаемые ими явления, но в исключительных случаях, например в гипнозе, переживание может быть той же силы. Второе отличие действия условного раздражителя в том, что латентное время обыкновенной условной реакции определенно больше, чем соответствующей безусловной, причем латентное время обыкновенного условного рефлекса приблизительно то же, что и при соответствующем волевом (произвольном) акте. Но и при действии слов латентное время вызываемого словом переживания явно может быть гораздо более длительным, чем при означенном им явлении. С другой стороны, сходство произвольного волевого акта с актом, стимулируемым, определяемым внутренней речью, настолько большое, что некоторые психологи даже отождествляют одно с другим, например определяя произвольное внимание как внимание, регулируемое мыслью. Понимание развитой совершенной воли как воли, определенной мышлением, рассудком, разумом и т. д., красной нитью проходит через всю историю психологии и этики. Наконец общеизвестно угасание действия условного раздражителя, если он не подкрепляется безусловным. Но и слова, не подкрепляемые, не подтверждаемые действительностью, перестают действовать113.
Таким образом аналогия между действием слова и действием условного раздражителя большая. Во избежание неправильных пониманий надо подчеркнуть, что утверждается лишь аналогия между элементарно-основным действием слов и действием условных раздражителей: подобно последним, слова вызывают переживания, изначально вызываемые означаемыми реальными явлениями, но только обыкновенно в более слабой форме, притом не всегда так же быстро, и перестают вызывать их, если не подтверждаются действительностью. Однако речь не идет об отождествлении слов с условными раздражителями: это значило бы сильно упрощать вопрос.
Но то сходство, которое так ясно удалось обнаружить, дает основание сделать вывод, что «помнить значение слов» — сравнительно простое дело, сводящееся к так называемой ассоциативной памяти Леба или к действию условных раздражителей. Что это действительно так, доказывает тот факт, что значение

слов запоминают не только совсем маленькие дети, но в известной мере и некоторые животные: «Собака и лошадь развили в себе благодаря общению с людьми такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что в пределах свойственного им круга представлений они научаются понимать всякий язык... Научите попугая бранным словам так, чтобы он усвоил себе их значение (одно из главных развлечений возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он так же верно применяет свои бранные слова, как берлинская торговка»114.

Поэтому нет оснований преувеличивать сложность проблемы значения слова: помнить значение слов — настолько сравнительно простой процесс, что легко может быть истолкован с точки зрения действия условных раздражителей. С психологической точки зрения эта проблема относится к проблеме ассоциаций, связей между стимулами и реакцией и является пожалуй одной из тех немногих проблем психологии, которые вполне разрешаются на почве ассоциационизма (собственно говоря, исторически он именно на этой почве развился и окреп). Поэтому менее всего оснований существует для того, чтобы делать именно эту проблему особой проблемой мышления без слов, создавая резкий дуализм слова и значения: слово, не имеющее значения, не есть слово; оно — бессмысленный набор звуков. Гегель очень правильно писал: «Посредством словесного знака конкретное представление вообще становится чем-то безобразным, отождествляющимся со знаком» (разрядка моя П. Б.). Но если это, ставшее безобразным, представление отождествляется со знаком, т. е. со словом, то искать его вне слова, как это делают те психологи, которые ищут «чистой», «бесплотной» мысли без слов, значит делать примерно то же, что искать душу, не довольствуясь материей.

Слушая (или читая), мы запоминаем слова, фразы, рассказы, рассуждения и т. д. Если этот факт общеизвестен до тривиальности, то несравненно менее общеизвестно то, что из него следует: с социально-психологической точки зрения рассматриваемые в процессе передачи от одних к другим мысли из продуктов мышления становятся объектами вербальной памяти. Те законы Ньютона, которые когда-то были открыты мышлением английского физика, сейчас просто помнятся школьником. Процесс подобного перехода мышления в память может в известных случаях зайти так далеко, что порою то, что раньше было продуктом мышления, может превратиться просто в автоматические речевые движения, т. е. элементарную вербальную привычку. Этот процесс превращения мыслей в «избитые слова», которые можно назвать словами только с генетической точки зрения на том основании, что они были словами (в настоящем это только автоматические речевые движения), имеет место еще в следующих случаях: 1) в тех случаях, которые вообще благоприятствуют образованию привычных движений, 2) при снижении нервного уровня, напри-

мер при некоторых тяжелых психических заболеваниях (схизофрения).

Выражаясь образно, речь — та область, где память и мышление соприкасаются и переходят друг в друга, иногда такими незаметными переходами, что трудно даже бывает определить, что в данной речи принадлежит памяти, а что — мышлению. Мы только что видели, как мысли, чужие и собственные, становятся достоянием вербальной памяти — репродукциями мыслей, а то и просто автоматическими речевыми движениями. Но происходит и обратный процесс — переход памяти в мышление. Рассмотрением именно этого мы и займемся сейчас. Как совершается переход от памяти к мышлению? Как проходится путь от простой вербальной репродукции к размышлению и рассуждению?

IX. ОТ ПАМЯТИ К МЫШЛЕНИЮ

1. История памяти. В предшествующем изложении подробно было рассмотрено развитие памяти. Были установлены следующие четыре основные ступени памяти: моторная память — аффективная память — образная память — вербальная память. Проявление памяти на каждой из этих ступеней настолько своеобразно, что мы можем дать особое название ему. Проявление моторной памяти — инстинктивные движения, условные рефлексы и привычки. Мы не останавливались в нашем исследовании на этой памяти как потому, что как самая элементарная она далека еще от мышления, так и потому, что это тот вид памяти, который наилучше освещен в науке. Поскольку «привычка может быть рассматриваема как система условных рефлексов, а условный рефлекс — как элемент привычки»115 и поскольку инстинктивные движения рассматривать как вид моторной памяти возможно лишь тем, кто считает инстинктивные движения унаследованными рефлексами или родовыми привычками, постольку проявлениям моторной памяти может быть дано общее название привычки. Сущность проявлений аффективной памяти состоит в аффективной антиципации соответствующего действия стимула, когда это не может быть объяснено из наследственности. Там, где имеет место аффективная антиципация, не могущая быть объяснена наследственностью, мы можем говорить об аффективной памяти. Мы не знаем пока точно сроков, когда у ребенка впервые появляются подобные антиципирующие чувства и эмоции. Судя по имеющимся данным, например у Дарвина, улыбка при виде матери появляется у ребенка в середине второго месяца. Когда у ребенка впервые появляется необъяснимая наследственностью осторожность или антипатия, трудно сказать, но вряд ли мы рискуем сильно ошибиться, сказав, что во всяком случае не раньше этого же месяца. Значит можно предполагать, что аффективная память появляется приблизительно на втором месяце. Если даже мы несколько ошибемся в этом сроке, то во всяком случае несомненно, что она появляется позже моторной памяти, но разница не превышает немногих декад. Также очень трудно сказать, когда кульминирует аффективная память. Некоторый свет проливает анамнез фобий и т. п. аффективных состояний. Всячески критикуя сексуальные теории Фрейда, тем не менее следует признать, что им собран материал, достаточно убеждающий в том, что большинство этих состояний восходит к раннему дошкольному детству (3—5 лет). С другой стороны, как раз по

отношению к этому возрасту широко практикуются в бытовое жизни рассчитанные на аффективную память меры воздействия на ребенка, например болевые наказания. Таким образом аффективная память появляется в онтогенезе после появления моторной памяти, но в общем очень рано и кульминирует в раннем дошкольном возрасте, приблизительно на четвертом году.
В учебниках психологии обыкновенно воображение следует за памятью, но если под памятью понимать специфически человеческую, т. е. вербальную намять, то в онтогенезе мы имеем несколько иное отношение: дошкольный возраст — возраст кульминационного развития воображения, а школьный возраст — возраст кульминационного развития вербальной памяти.
Несмотря на чрезвычайно богатую литературу о детском воображении, психология его известна еще плохо. В частности мы совершенно не знаем, когда появляются у детей образы. Судя хотя бы по проявлениям pavor nocturnus, можно предположить, что образы, по крайней мере в сновидениях, могут иметься уже у двухлетних детей. Так как сновидения бывают даже у немых детей, то правдоподобно предположить, что оперирование образами появляется раньше оперирования словами. Чрезвычайно конкретный характер ранних детских воспоминаний также дает основание предположить, что ранняя детская память в сильной степени является образной памятью и что чем моложе ребенок, в тем большей степени его вербальная память сотрудничает с образной. С другой стороны, нам ничего неизвестно об образах младенца и даже сновидениях его. Осторожнее всего будет при таких условиях сделать следующий вывод: образная память появляется несколько раньше вербальной, но значительно позже моторной и аффективной.
Но мы видели, что репродуцированные образы чрезвычайно склонны к трансформации, и потому образная память как репродукция существует скорее как фантазирующее воображение. Это чрезвычайно хорошо подтверждается онтогенезом: с того возраста, как мы имеем возможность получить от детей их воспоминания, мы имеем их фабуляции. Середина дошкольного возраста, насколько мы можем судить по имеющимся данным, — кульминационный пункт фантазирующего воображения.
В развитии вербальной памяти мы можем различать три основных стадии: простую репродукцию, социально обусловленную избирательную репродукцию и грамотную память, пользующуюся письменностью. Онтогенетическое развитие вербальной памяти начинается на втором году несомненно с репродуцирующей вербальной памяти: иначе ребенок не усвоил бы языка. Согласно наиболее авторитетным данным наивысшей силы репродуцирующая вербальная память достигает к началу полового созревания, но максимально быстрое развитие происходит в дошкольном возрасте, и репродуцирующая память ребенка 7—8 лет не так уже сильно отличается от максимума этой памяти. Начиная с юношеского возраста эта память ослабевает.

Но если репродуцирующая вербальная память является исходным пунктом онтогенетического развития вербальной памяти, то развивающаяся под сильнейшим влиянием социальных требований, в частности воспитания и обучения, рассказывающая память (избирательно репродуцирующая вербальная память) очень быстро оттесняет ее на задний план, и в сущности развитие вербальной памяти в детстве есть главным образом развитие именно этой памяти: она развивается в дошкольном детстве, но наиболее энергичное культивирование ее происходит в школе. Вряд ли мы ошибемся, сказав, что максимальной силы достигает эта память в юношеском возрасте. Развитие этой памяти находится в теснейшей связи с развитием мышления и речи, и потому к анализу ее нам придется еще раз вернуться. Здесь же мы упоминаем об этом для того, чтобы объяснить, почему эта память так поздно развивается.

Память, пользующаяся письменностью, развивается конечно позже всего — в школьном возрасте, но наивысшего своего развития достигает только в зрелом возрасте. Таким образом онтогенетическое развитие показывает, что наша теория развития памяти соответствует действительности. Точно так же подтверждает ее филогенетическое развитие. Моторная выучка имеет место, как мы уже видели в соответствующей главе, даже у низших животных. Также имеется у них, как мы там видели, и аффективная память. Мы еще не настолько хорошо знаем зоопсихологию, чтобы детализировать историю животной памяти. Поэтому придется ограничиться более кратким обзором, чем это имело место по отношению к онтогенетическому развитию. Но даже такой обзор подтвердит нашу теорию.

Моторная память не является специфически человеческой памятью. Мы говорим об условных рефлексах и привычках животных, а подражательность обезьян вошла в поговорку. Еще вопрос, имеет ли моторная память человека преимущества перед моторной памятью животных, по крайней мере высших. Так же сильна и аффективная память этих животных: так например лошадь, сильно испугавшись, проезжая мимо чего-нибудь, еще долго и сильно будет испытывать страх, проезжая там снова.

Образная и вербальная память присущи человеку, первая — больше чем кому-либо из животных, вторая — исключительно ему. В истории человечества, как и в онтогенетическом развитии, воображение выступает на первый план раньше точно репродуцирующей вербальной памяти. Фантазия характеризует примитивную психологию, насколько мы знаем ее. И точно так же, как нельзя объяснить недостатками восприятия фабуляцию девочки 21/2 лет, рассказывающей со всеми деталями прогулку, которой на самом деле не было, точно так же конечно не дефектное восприятие создало фантастические басни о животных или рассказы о мифических существах: их создало воображение. Нефантазирующая память лишь весьма постепенно развивалась в истории человечества.

Современная генетическая психология склонна утверждать существование сильной образной памяти у первобытных племен. Репродуцирующая вербальная память некультурных народов, стоящих на ранней ступени развития, поражает своей силой путешественников. Репродукция им удается, насколько можно судить по имеющимся данным, лучше пересказа, и заучивание наизусть характеризует раннюю дидактику. Наконец память цивилизованного человека широко пользуется письменностью.
Так, онтогенетической и филогенетической историей в одинаковой мере подтверждается последовательность ряда: условные рефлексы, привычки и подражательность — аффективный опыт, или приобретенные антиципирующие чувства — воображение — вербальная память (репродуцирующая — рассказывающая — пользующаяся письменностью).
2. Первые этапы мышления. В задачи настоящего исследования не входит рассмотрение проблемы мышления во всем ее объеме: наша тема гораздо уже — отношение между мышлением и памятью. Это отношение теснее всего на самых первых этапах мышления, и потому на них следует особо остановиться. При этом, чтобы избежать произвольных конструирований, следует взять за основу изучения действительный ход развития мышления, как он происходит в онтогенезе и филогенезе. Так как с психологической стороны онтогенетическое развитие лучше изучено, то будем основываться преимущественно на нем.
Общеизвестны основные особенности самых ранних детских высказываний — моновербизм и аграмматизм. Моновербизмом я называю тот факт, что эти высказывания состоят только из одного слова. Было бы большой натяжкой считать это слово, как это делают многие исследователи, предложением, суждением: оно так же похоже на суждение, как зерно на растение. Если оставить в стороне эмоциональные высказывания типа междометий, то лучше говорить о наименованиях. Ребенок еще слишком плохо владеет речью для того, чтобы рассуждать и высказывать суждения. Его речевых способностей хватает только для того, чтобы называть, обозначать словом.
Аграмматизм даже того малютки, который говорит на флексирующем языке, приводит к тому, что его слово имеет менее диференцированное значение, чем соответствующее слово у взрослого. Крайняя ограниченность словаря малютки приводит к тому же.
Филогенетически мы имеем то же. Можно принять как доказанное лингвистикой, что словарь первобытного человека был весьма ограничен. Аграмматизм же его языка был настолько большой, что значение слова не могло не быть плохо диференцированным. И сейчас еще в ряде нефлексирующих языков одно и то же слово нередко означает и существительное, и прилагательное, и глагол.
Известный лингвист Тромбетти пишет: «Есть очень распространенное мнение, что примитивный язык не имеет слов для общей идеи. Леви-Брюль («Интеллектуальные функции в низших

обществах», стр. 155) уверяет, что примитивный язык «не будет обладать общим термином... для «дерева» или для «рыбы», но специальными терминами для каждого варианта дерева и для каждого варианта рыбы». Нет ничего более неверного»116. Скорее наоборот, слова примитивных языков должны были поражать мало диференцированным значением. Даже такие слова, как «отец» или «мать», означали в первобытном языке несравненно большее количество лиц, чем сейчас, и, как это ни парадоксально, их слова совершенно неравнозначны этим нашим словам. В меланезийском языке слово «отец» — тамаи, но так же зовутся и братья отца: все они — «отцы». Но «тама» значит «подобно», и «тамаи» точнее всего перевести через «похожий». Мать же на этом языке «веве», но так же зовутся и все сестры матери: все они — «матери». Но «равеве», собственно говоря, значит «деление», «отдел» (ребенок принадлежит к тому же «делению» племени, к ка--кому и мать с ее сестрами).

Если первоначальной функцией языка являлось называние, то стало быть в начале истории мышления стоит понятие, а не суждение и тем более не умозаключение. При этом первоначальные понятия отличались малой диференцированностью. «Первая отличительная черта понятия — всеобщность», и именно эта черта его выступает в истории мышления раньше всего, пожалуй даже в утрированном виде.

Образ при прочих равных условиях тем ярче, чем менее обычно то, чего он образ. Наоборот, слова при прочих равных условиях закрепляются тем лучше, чем обычней то, что они называют. С самого начала мышление и воображение проявляют себя в различных областях: воображение продуцирует больше всего и самые яркие образы в области необычного, и фантазия любит устремляться в мир необычного, там она чувствует себя особенно хорошо; мышление продуцирует больше всего и самые определенные понятия в области обычного, и в этой именно области мышление успешней развивается. Но воображение предшествует мышлению, и именно к необычному преимущественно тяготела первобытная наука, которая была скорее плодом фантазии, чем мышления, скорее мифом, чем наукой.

«Несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». Например: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу»117. Наиболее частая причина ошибочного применения слов малютки та, что он называет одним и тем же словом явления, сходные не в существенном, а в поражающем, необычном. Так например ребенок одинаково называет всех животных с необычно длинной шеей — петуха, лебедя, фазана, аиста и даже жираффа и верблюда. Но характерно при этом, что всех их он называет петухом, т. е. тем, что наиболее обычно. Другой пример: в курице на картинке ребенка поразил ее угрожающий клюв, и, увидев на картинке рыбу с открытыми острыми челюстями, он также называет ее курицей. Таких примеров можно привести бесчисленное

количество. Все они указывают на то, как близко примитивное мышление к воображению и как сильно вначале влияют на понятия образы: всеобщность примитивного понятия малютки обусловливается сходством не в существенном, но в необычном. В этом смысле примитивные понятия фантастичны в буквальном смысле этого слова.

Уже давно психологи, изучавшие ребенка, с несомненностью установили, что первоначальная тенденция его — скорее отождествлять, чем различать. Поэтому вполне понятно, что различие должно быть вначале необычно большим, чтобы быть замеченным. Лишь весьма постепенно ребенок научается различать на основании существенных признаков, и первоначальное отбрасывание несущественных признаков как чаще исчезающих, в противоположность «плотно держащимся» существенным, есть дело памяти, так как конечно именно память дает возможность узнавать обычно остающееся, сохраняющееся.

В современной экспериментальной психологии очень распространен взгляд, что образование понятий является в основном делом внимания, и наиболее популярные соответствующие эксперименты в сущности не что иное, как эксперименты на абстрагирование внимания: проблема понятия подменена проблемой внимания. Принято думать, что понятие получается вследствие того, что внимание сосредоточивается на одних (существенных) признаках и отвлекается от других (несущественных). В действительности дело обстоит не так просто. В действительности, как мы только что видели на примере детей, внимание сплошь и рядом сосредоточивается как раз наоборот — на несущественном — поверхностном, необычном, поразительном и т. п. Это имеет место не только у детей. История науки демонстрирует то же самое: прежде всего привлекало внимание необычное — «чудесное», диковинки, разные необыкновенные явления. Если бы внимание действительно играло такую решающую роль в образовании понятия, наши понятия рисковали бы навсегда остаться фантастическими или поверхностными.

Несравненно большую роль играет повторение, т. е. память. Повторение запечатлевает часто встречающееся, пребывающее, менее изменяющееся, менее разнообразное, более общее. Но оно запечатлевается не в виде образов: наоборот, образы здесь отступают на задний план. Оно запечатлевается в субъекте как однообразие его реакции, в данном случае как однообразие вербальной реакции, называния.

Речь возникла из потребности сообщить что-то друг другу, возникшей в свою очередь в результате более тесного сплочения членов общества по мере развития труда. Так, слова получили сигнификативное значение. Но эти знаки, сигналы, называния стали средством образования понятий, потому что слова только тогда могут пониматься, когда они всякий раз называют одно и то же: слушатель не может понять, если одно и то же слово каждый раз означает иное, да и говорящий привыкает реагировать, называть

одним и тем же словом одно и то же. Концентрация внимания на сходном есть результат, а не первичное явление, так как внимание первоначально склонно концентрироваться как раз на изменяющемся, новом. Внимание, концентрирующееся на сходном, остающемся, есть уже внимание, определяемое понятием, мышлением. Такое внимание обычно требует некоторого усилия и является чаще всего произвольным, волевым вниманием, стоящим уже на высокой ступени развития.

Критикуемая теория образования понятий делает понятие продуктом произвола внимания, интереса субъекта, и поэтому она субъективна. На самом же деле понятие является результатом запечатления наименее изменяющегося, т. е. отражает существенное в объективной действительности. Критикуемая теория в лучшем случае есть теория образования детских, фантастических понятий, где воображение еще берет верх над мышлением. Она то, чем перестают быть понятия, принимает за то, чем они становятся.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что мышление свою деятельность начинает с образования понятий, но примитивные понятия — плохо диференцированные и фантастические или поверхностные. Они еще слишком зависят от случайного восприятия, непроизвольного внимания, плохого различения и воображения. Мало отошедшее от воображения мышление отражает случайное, поверхностное, несущественное в действительности. Филогенетически эти плохо диференцированные фантастические или поверхностные понятия были продуктом мозга того первобытного человечества, которое, живя в слабо диференцированном обществе и плохо владея техникой, имело лишь весьма поверхностное, часто фантастическое знание, плохо разбираясь в объективной действительности. Но все возрастающий практический опыт запечатлевал в памяти людей существенные свойства явления и слово являлось средством объединения явлений на основании их сходства в существенном. Практический опыт и память (практическая память, также и вербальная) сыграли роль в первоначальном развитии понятий и в обособлении мышления от воображения. Из наблюдений над ранней детской речью общеизвестно, как склонны на этой стадии дети смешивать слова с противоположным значением: теплый — холодный, темно — светло, рано — поздно, вчера — завтра и т. д. Но лингвисты находят то же и в истории языка: одно и то же или чуть измененное слою (например altus) имеет противоположные значения то в том же самом языке, то в родственном. Как ни объяснять эту «амбивагантность» значений, несомненно одно: противоположные понятия не принадлежат к наиболее ранним. Пожалуй косвенное подтверждение этому можно видеть в том огромном, порою суеверном внимании, с которым относилась к противоположным понятиям ранняя философия.

Еще менее развиты вначале отрицательные (противоречащие) понятия. По моим понятиям, они не вполне развиты даже у ма-

леньких школьников, судя по тому, что при прочих равных условиях им труднее отвечать на вопрос, где фигурирует отрицательное понятие. Так например тот же ребенок, который сразу отвечает на вопрос, что самое красивое, затрудняется ответить, что самое некрасивое. Но то же мы находим и в языке. Анализ почти любого немецкого словаря африканских, полинезийских и т. п. языков показывает, что столь многочисленным отрицательным немецким словам (с префиксом un—) чаще всего соответствуют вовсе не отрицательные слова (или если отрицательные, то искусственно созданные неологизмы) данного языка.

Все это дает основание наметить некоторую схему развития понятий, правда, в самых общих чертах и скорее как гипотетическую, чем как твердо обоснованную. Первоначальное развитие понятий проходит как будто три основных стадии. На первой из них, самой начальной, мышление находится в сильнейшей связи с непроизвольным вниманием и воображением, и понятие отражает случайное, поверхностное, несущественное в действительности. Это стадия плохо диференцированных поверхностных или даже фантастических понятий. Содержанием понятия является чаще всего поразительное, необычное, т. е. то, что заинтересовывает внимание и оставляет яркие образы. Именно на этой стадии преимущественно образуются фантастические понятия которые как трудно отличить порой от мифологических образов. На второй стадии мышление находится в сильнейшей связи с практическим опытом, привычками и вербальной памятью, и понятие отражает сходное, тождественное, остающееся неизменным чаще другого, неслучайное, не быстровременное и в этом смысле существенное. Это — стадия общих понятий, содержанием которых является сходное, чаще всего встречающееся, обычное, наименее изменяющееся, т. е. то, что прочней всего запечатлевается в моторной и в вербальной памяти. Если первая стадия богата фантастическими понятиями, родственными мифологическим образам, то вторая стадия не менее богата метафизическими, застывшими, неподвижными понятиями, располагающими оперирующее ими мышление к метафизике и вербализму. Наконец на третьей стадии мышление оперирует уже противоположностями и противоречиями, а также относительными понятиями, развитие которых, как показали работы Пиаже, происходит поздно. Это мышление отражает действительность уже не только в ее тождестве и единстве, но и в ее противоречиях и противоположностях, в ее отношении и связях. Оно уже идет к тому, чтобы стать диалектическим мышлением.

Два препятствия приходится преодолеть здесь мышлению в своем развитии — случайность непроизвольного внимания и фантастику воображения, во-первых, и консерватизм памяти и вербализм, во-вторых. Но это такие препятствия развитию мышления, которые в свое время являлись опорой, исходным пунктом для него.

3. Ранние суждения. Наиболее ранний вид суждения — положительные суждения. В этом убеждает тот факт; что в онтогенезе положительные суждения возникают раньше отрицательных. «Нет» у ребенка вначале отдельное слово, фигурирующее в однословных ответах или — несколько позже — указаниях, но не в контексте фразы, не в суждении. Даже когда оно появляется в суждении ребенка, оно сначала занимает своеобразное место в конце, как бы знаменуя этим, что мышление ребенка все еще начинает с утверждения: «я хочу нет». В детской речи спонтанное отрицательное предложение — редкость по крайней мере до школьного возраста.

Ранние детские суждения — обыкновенно единичные суждения. Маленький ребенок говорит о каком-нибудь отдельном частном случае, о какой-нибудь данной ситуации, данном предмете. В этом отношении его мышление очень конкретно.

Вряд ли нуждается в доказательстве, что ранние детские суждения категоричны и ассерторичны. «Если», «или — или», «может быть», «необходимо» в ранних детских высказываниях, как правило, отсутствуют.

Ранние детские суждения обычно относятся к наглядной действительности и в лучшем случае лишь на немного отходят от нее. Они основываются главным образом на восприятиях, и даже память играет в них не первую роль. Этим и объясняются вышеуказанные особенности их. Они выражают воспринимаемые факты и потому ассерторичны и категоричны. Эти факты — всегда индивидуальные факты, и потому эти суждения единичны. Наконец эти факты — то, что есть, и суждения о них — положительные суждения.

Очень долго детские суждения продолжают оставаться категорическими, ассерторическими и единичными. Таковы в большинстве случаев даже суждения ребенка 7—8 лет. Несколько раньше начинают заметно фигурировать отрицательные суждения.

Суждения, выражающие воспринимаемые факты, сами по себе малозначительны. Это скорее мысленный аккомпанимент восприятия, чем подлинное мышление, тем менее развитое логическое мышление. Посредством внимательного самонаблюдения такой мысленный аккомпанимент восприятия мы можем без особых трудностей подметить у себя при напряженно внимательном восприятии чего-либо, но у взрослых в повседневной жизни он встречается чаще всего в несколько анормальных состояниях (очень сильное впечатление, нервное изнеможение и т. п.). У дошкольника он развит по всей вероятности несравненно больше, судя по его монологам. Вот пример из Пиаже: «Ну, она подвигается (черепаха), она подвигается, она подвигается, она подвигается. Отойди. Да она подвигается, она подвигается. Иди, черепаха»». Немного позже, поглядев на аквариум, произносит монолог: «Ах, как она (саламандра) удивляется этому великану (рыбе)»; восклицает: «Саламандра, надо есть рыб».

Подобные монологи появляются у ребенка вскоре после того, как он начал говорить, достигают максимума в 3—4 года и потом постепенно падают к школьному возрасту. В них Пиаже видел проявление эгоцентризма речи и мышления ребенка. Правильнее в них видеть (там, где нет разговора с воображаемыми существами) речевое проявление мысленного аккомпанимента восприятия. Целые годы (главным образом младший дошкольный возраст) уходят на развитие отражения воспринимаемой действительности в мышлении. Этот аккомпанимент мышления с возрастом начинает до известной степени из сопровождающего восприятия превращаться в определяющий до известной степени течение и результаты восприятия, которое таким образом становится мыслящим восприятием, направленным на существенное. Так развивается наблюдательность, открывающая в воспринимаемых явлениях существенные свойства их.

4. Начатки рассуждающего мышления. Мышление, которое настолько еще не развито, что является всего лишь как бы аккомпаниментом восприятия, и суждения которого преимущественно единичные суждения, далеко от развитого, научного мышления. Продуктом такого мышления является скорее рассказ, чем рассуждение. И действительно, первобытная «наука» — это прежде всего рассказы, всевозможные истории. Таковы всевозможные предания и мифы. Таковы многочисленные сказки, окончание которых «вот почему с тех пор бывает...» уже почти выветрилось в европейских сказках, но еще часто например в индейских сказках. Даже там, где казалось бы без рассуждений невозможно обойтись, во всякого рода религиозных, моральных и т. п. предписаниях, мы сплошь и рядом встречаем все тот же рассказ, и наши басни — рудимент той эпохи, в которой этика была не философской системой, как в настоящее время, а рассказом, обосновывающим то или иное моральное предписание.

И даже там, где повидимому имеет место рассуждение, вначале оно является скорее делом памяти, чем мышления, скорее воспоминанием или привычкой, чем рассуждением. Антропоморфизм пропитывает всю первобытную науку. Но антропоморфизм основан на аналогии с человеком и человеческой деятельностью, т. е. с тем, что наиболее известно. Объяснить значило свести неизвестное на известное, представить неизвестное похожим на то, что известно первобытному человеку.

Что здесь действительно основную роль играет память, а не рассуждение, можно хорошо видеть на ранних детских объяснениях. Если мы ставим дошкольнику вопросы о происхождении различных предметов природы, то, как показал Пиаже, его объяснения будут также антропоморфизмы: все это сделано какими-то людьми. Ребенок думает, что горы произошли так, как он видел образование их и как может быть он сам образовывал их, т. е. «их насыпали». Это — объяснение по памяти, а не рассуждение.

И то, что здесь имеет место воспоминание, а не рассуждение, подтверждает та манера давать объяснения сразу, не задумы-

ваясь, которая так поражает нас в маленьких детях. Так же сразу, не задумываясь, объясняет и некультурный человек, и объяснения его — сведение к знакомому, известному и т. п.
Аналогия играет огромную роль в примитивном рассуждении, которое, как мы видели, даже трудно еще назвать рассуждением, настолько оно обычно моментально. Вот почему я предпочел бы в этих случаях не говорить об умозаключении по аналогии, так как здесь нет еще развитого умозаключения, а только максимум слабый зародыш его. Просто сходные причины вызывают сходные действия: сходные явления вызывают сходные реакции, сходные суждения. Здесь еще скорее суждение по сходству, чем цепь суждений, умозаключение. Широкое пользование аналогиями в первобытной науке и у детей демонстрирует, как на этой стадии мышление стоит еще очень близко к памяти.
Общеизвестно также, какое огромное место в примитивном мышлении занимает то, что в школьной логике называют индукцией через простое перечисление: от ряда случаев, где имело место какое-нибудь явление, заключают, что во всех подобных случаях будет непременно это же явление. Пожалуй только по отношению к примитивному мышлению не следовало бы говорить об индуктивном умозаключении, во-первых, потому, что у него нет всей цепи суждений, а, во-вторых, потому, что вывод не обобщение. Оно просто на основании аналогичных бывших случаев думает, что в таком же отдельном случае, с которым оно встречается, будет то же. Иными словами, примеры определяют новое суждение. Пример убеждает, и самое раннее доказательство, как это показывают опыты с детьми, — пример: примером опровергают, примером обосновывают. При этом вначале нет даже сознания, что это — пример, так как такое сознание уже несколько уменьшает его значение. Просто вспоминает, что было, и этого достаточно, чтобы сказать, как будет.
Судить на основании прецедентов значит не так рассуждать, как вспоминать. Первобытная «наука» в значительной степени была собранием таких прецедентов, хранителем которых являлась память стариков, сообщавших о них в нужных случаях. «Так никогда за нашу память не было» нередко было синонимом: «Это неправильно».
В первобытной «науке» огромную роль играют всевозможные приметы. Но приметы в огромном большинстве случаев или увековечение какого-нибудь происшедшего случая навсегда, или аналогия. Ряд примет имеет историческое происхождение. Такова например примета, что встреча с попом означает несчастье, в основе которой лежат исторические факты насильственного крещения, увода детей и т. п. Такие приметы могут быть рассматриваемы как сильно выветрившиеся воспоминания, как память, забывшая свое основание. Другие приметы основаны на аналогии. Такова например примета о том, что встреча с несущим пустые ведра означает неудачу.
Так как тема нашего исследования «Память и мышление», то мы в вышеизложенном подчеркивали роль памяти. Но конечно не

только память играет здесь большую роль. Особенность примитивной памяти, как мы много раз уже об этом говорили, та, что эта память очень сближается с воображением. Поэтому говорить, что в примитивном мышлении огромную роль играет память, значит тем самым сказать, что в нем огромную роль играет также воображение. Если основанием для антропоморфизмов является память (объяснение наиболее известным), то содержание их создается обычно воображением. Если основанием для прецедентов и примет является также память, узнающая в новом старое и предрасполагающая высказывать привычные суждения, находить всюду сходство, то содержание этих прецедентов сплошь и рядом трансформируется воображением почти до неузнаваемости, и это же воображение, роль которого в образовании символов нами уже выяснена раньше, создает ряд символических примет, примером которых может служить вышеприведенная примета пустых ведер.

Достигая высшего развитя и становясь все более богатой, память тем самым однако подготовляет замену себя рассуждающим мышлением. Это мышление развивается лишь на определенном — притом весьма высоком — уровне развития памяти. Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она рассуждать.

Это очень хорошо показывает опыт с детьми. Маленький дошкольник не задумывается в своих объяснениях. Он сводит неизвестное к известному, а так как известно ему немногое, то он не смущается выбором возможных объяснений, и его утверждение ассерторично. Но в школьном возрасте начинают уже развиваться проблематические суждения. Маленький школьник 10—12 лет также стремится объяснить известным. Но данное явление может быть следствием разных причин, и школьник, чей опыт богаче опыта дошкольника и чьи знания более многочисленны, останавливается перед различными возможностями. Он не утверждает ассерторически, но говорит: «может быть». Это «может быть», как показали соответствующие опыты, сначала звучит почти ассерторически: испытуемые останавливаются на этой возможности. Но вскоре оно становится множественным, он называет несколько «может быть», и тон его высказывания экспериментатору становится вопросительным. Проблематическое суждение становится проблемой.

Я предлагал испытуемым решать лабиринты различной степени трудности. Если лабиринт был слишком легок, например состоял из двух параллельных ломаных линий, каждая из которых представляла собой горизонтальную линию и перпендикуляр к ней в конце ее, то испытуемый сразу действовал: карандашом быстро входил и выходил. Но если лабиринт был несколько труден, испытуемый задумывался. При этом поведение его все же не было одинаковым, но разнообразилось в зависимости от трудности лабиринта. При известной степени трудности лабиринта поведение было таково: испытуемый задумывался, думал и затем, сообразив так же быстро, как и при вышеописанной ситуации, действовал.

Таким образом если в первом случае было просто действие, то во втором — это же действие плюс предшествующее ему размышление. В чем состояло это размышление? По словам испытуемых, они «мысленно» (некоторые прибавляли «глазами») проходили лабиринт. Так, лабиринт «проходился» дважды: один раз мысленно, другой раз действительно. Но возможен и третий случай: еще более трудный лабиринт. Тогда поведение испытуемого снова изменяется. Опять начинает в большой степени фигурировать действие — ряд пробующих действий. Получается поведение, действующее, как любят выражаться в таких случаях американские психологи, по методу проб и ошибок. Резюмируя данные всех подобных опытов, можно установить как бы следующие ступени: совершенно удачное действие — предварительное размышление плюс последующее совершенно удачное действие — пробующее действие, сопровождаемое размышлением до или после него, а иногда происходящее и без размышления. Только что формулированное резюмирование несколько схематично, но достаточно для вывода о характере этого размышления: это пробующее мышление, мысленная проба, замена пробующего действия мысленной пробой.

То же подтверждают опыты, состоящие в том, что испытуемый должен искать определенную вещь. Очень показательны эти опыты, если их производить с испытуемыми различных возрастов и различного интеллектурного развития или если задания искать делать всяческими способами, различными по степени трудности. Тогда, при очень легком для данного субекта задании он прямо идет и находит; при несколько более трудном — несколько задумывается, «мысленно» ищет и потом прямо идет и находит; наконец при еще более трудном задании получается чередование мышления и пробующих действий, а иногда (особенно у маленьких) только действия — пробы, неудачи, снова пробы и т. д.

Во время размышления некоторые испытуемые размышляли вслух. Эти размышления иногда бывали очень кратки: восклицание «а, там-то!», вопрос «не там ли?». Иногда они были полнее: присоединялось возражение себе («нет, вряд ли»), изредка с мотивировкой. В опытах с прохождением лабиринта были случаи, когда размышление вслух представляло собой прохождение на словах намечаемого пути: «иду туда, затем туда...» и т. п.

Так, в описанных опытах мы имеем различнейшие варианты отношений между мышлением и действием, причем в огромнейшем большинстве случаев имеет место переход действия в мышление и обратно, но иногда налицо только действие, а иногда дублирование одного другим. Но эти опыты — решение лабиринта и искание спрятанного — представляют собой проблемы. Решение проблемы с психологической точки зрения есть действие действительное или мысленное.

В процессе мышления проба начинается с вопроса «может быть?». Этот вопрос становится предположением, от которого затем переходят к следствию: если это, то тогда то-то. «Формой раз-

вития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза», — писал Энгельс в «Диалектике природы». Это положение можно применить вообще к мышлению: в наших рассуждениях мы то и дело предполагаем, делаем выводы из них, отвергаем их или развиваем их дальше, делая подтвержденный вывод основой для новых предположений.

В задачи настоящего исследования не входит проблема мышления как таковая. Оно рассматривает мышление лишь в его отношении к памяти. Опыты по возникновению проблематических суждений и предположений, произведенные нами над детьми и описанные выше, показали, как возникновение этих суждений и предположений тесно связано с памятью — богатством содержания памяти и умением пользоваться ею. Но даже если возьмем не первые шаги мышления, а то умозаключение, которое обычно считают высшей формой умозаключения, разделительное умозаключение, оказывается, как показали опыты, решение его наталкивается у малоразвитого мышления сразу на трудности запоминания и припоминания. Пиаже давал детям условно-разделительный силлогизм: «Если у этого животного длинные уши,— это мул или осел, если у этого животного толстый хвост, — это лошадь или мул. У животного длинные и уши и толстый хвост. Что это такое?». Оказалось, что «ребенок то думает о длинных ушах, но так как он забывает, что животное должно иметь также толстый хвост, он не видит, почему бы искомому животному не быть ослом или мулом, то он думает о хвосте и забывает, что нужно, чтобы у этого животного были длинные уши, а потому не видит, почему это скорее мул, чем лошадь»118. В ряде опытов Пиаже обнаружил огромную забывчивость в трудностях решения детьми 7—8 лет маленьких задач на рассуждение. Но такую же, если не большую, роль там, где не даются подобные силлогизмы, а ставят их перед необходимостью самим прибегать к разделительному умозаключению, играет плохо еще функционирующее вспоминание: даже если все возможные «или» известны ребенку, он не вспоминает их всех, и даже если его просят вспомнить их, он очень часто не может это сделать.

Но опыты с лабиринтами или исканиями показывают и противоположность между памятью и мышлением. Мышление теснейшим образом связано с действием, до известной степени затрудненным. Экспериментальное изучение мышления, при котором экспериментатору необходимо вызвать у испытуемого работу мышления, начинается обыкновенно с того, что испытуемого ставят перед известным затруднением, которое надо ему преодолеть. В этом отношении между мышлением и памятью обнаруживается разница: испытуемый начинает думать там, где привычка или прежнее знание оказываются недостаточны. При выполнении привычного или очень похожего на привычное задания не думают или мало думают. Легкий лабиринт в моих опытах — очень привычный для испытуемого путь. С этой точки зрения разницу между памятью и мышлением провести можно так: содержание памяти — быв-

шие впечатления; содержание размышления — проблема, еще не решенная.

Конечно мышление основывается на памяти: это следует хотя бы из того, что «все идеи заимствованы из опыта». Но «исключительный эмпиризм, позволяющий себе мышление в лучшем случае разве лишь в форме математических вычислений, воображает себе, будто он оперирует только бесспорными фактами. В действительности же он оперирует преимущественно традиционными представлениями, устаревшими большей частью продуктами мышления своих предшественников... Даже экспериментально установленные факты связываются у него мало-помалу неразрывным образом с соответствующими традиционными толкованиями их... Этот эмпиризм не в состоянии изображать правильно факты, ибо в изображение их у него неизбежно входит традиционное толкование фактов»119. История науки демонстрирует подмену мышления памятью. Но мышление идет дальше памяти.

Один из первых шагов этого мышления — постановка проблемы, формулировка предположения, гипотезы и вытекающее из этого предположения действие, эксперимент, действительно или только мысленно производимый. «Все формы умозаключения, начинающие с единичного, — экспериментальны и основываются на опыте»120. Эксперимент, практика подтверждают или отрицают истинность данного предположения, причем во многих случаях нет нужды на деле производить такую проверку, так как она или подобная ей уже была произведена раньше, и сейчас достаточно повторить ее только мысленно — посредством соответствующего умозаключения. Но «проблема умозаключения как таковая уже выходит за пределы данного исследования. Мы остановимся на утверждении, что, именно строя предположение и умозаключая, мышление идет дальше памяти.

5. Память и мышление в повседневной жизни. В процессе исследования нашей проблемы мы сосредоточились на памяти. Выделив ее для изучения, мы проследили ход развития ее, начиная с той стадии, где она — только автоматическое движение, и кончая той, где она переходит в мышление. На страницах книги ее стадии являлись содержанием отдельных глав. Но в жизни положение иное. Мозг — единый орган, хотя различные его отделы выполняют различные функции. В жизни на каждом шагу мы имеем связь и переходы различных стадий памяти, а также связь и переходы памяти и мышления, не говоря уже о других функциях. Наше исследование было бы незаконченным, если бы мы ограничились лишь абстрактным рассмотрением проблемы памяти и мышления, хотя понятно в процессе исследования прибегать к отвлечениям было необходимо.

Как же самонаблюдение обнаруживает взаимоотношение между памятью и мышлением в повседневной жизни? Я спал, и в глубоком сне не функционировали ни память, ни мышление. Но мой сон не все время был глубок, и конечно перед пробуждением он был наименее глубок. Я проснулся с остатками бывшего снови-

дения. Я видел сновидение, и хотя не все его образы были только зрительные, тем не менее зрительные образы настолько преобладали, что я имею полное право утверждать, что я видел сновидение. В этом сновидении был ряд образов впечатлений моей бывшей бодрствующей жизни, но в общем эти образы настолько трансформировались, что в целом сновидение — меньше всего воспоминание: для этого в нем слишком много небывалого и фантастического. Так, во сне проявляло себя воображение как простая репродукция образов, вернее, как трансформация их, т. е. именно как воображение.

Я проснулся и от сна перехожу к своей бодрствующей деятельности. Я произвожу ряд движений, огромное количество которых — привычные движения, с которыми не связывается работа моего мышления. В числе этих движений есть также ряд вербальных — произнесенных мною фраз, настолько привычных, что, говоря их, я вовсе не думаю. Привычка в моем повседневном поведении играет огромную роль, причем мышление с ней связано разве только в том смысле, что привычная деятельность дает возможность функционировать мышлению вне связи с этой деятельностью. Я вижу много разнообразных вещей, среди которых узнаю много мне знакомых. Но на этих знакомых, понятных мне вещах мое мышление не задерживается, хотя бы я и действовал ими. Я задумываюсь в таких случаях скорее над необычным, над тем, что плохо понимаю, над тем, что в известном мне еще не совсем известно.

Так сплошь и рядом в моей повседневной жизни память и мышление как бы полярны друг другу: когда делаешь привычное или имеешь дело с вполне известным и понятным, об этом не думаешь; зато думаешь, когда оказываешься в непривычной, новой, непонятной ситуации. Больше того: размышление мешает привычным движениям, расстраивает их и — еще недостаточно общеизвестный факт — при интенсивном сосредоточенном мышлении, устремленном на нее, даже очень знакомая вещь, например знакомая печатная фраза, начинает казаться менее известной и более непонятной.

Но это относится только к памяти-привычке и памяти-узнаванию. Никоим образом нельзя отнести вышеуказанное утверждение вообще к памяти. Обратимся снова к анализу повседневной бодрствующей деятельности. Она состоит, разумеется, не только в привычных деятельностях и восприятии известного и понятного. Далеко не вся моя деятельность протекает так гладко, и именно с этой деятельностью, а не привычной и легкой, главным образом связывается деятельность моей вербальной памяти и мышления. Если в сновидениях память проявляет себя как воображение, то наяву память преимущественно моторная и вербальная память. Эти две памяти, если можно так выразиться, своеобразно поделили свои функции: первая (моторная привычка) проявляет себя в обычной и легкой деятельности, вторая же скорее тяготеет к тому, что беспокоит или затрудняет меня. Я помню, что я дол-

жен делать, — ряд дел, относительно которых стараюсь «как бы чего не забыть». Но кроме того, что я должен помнить, в моей памяти персеверирует также то, чего я не могу забыть. Это обычно то, что беспокоит, тревожит меня. Так, содержание моей актуальной памяти определяется, с одной стороны, социальными требованиями, а с другой — моими интересами, причем конечно то и другое может совпадать. Все это так может занять мое сознание, что я ни о чем больше не могу думать. Да в крайних случаях нельзя сказать даже и по отношению к этой ситуации, что я думаю. Мое мышление как бы застряло на этом, как бы топчется на одном месте, твердит одно и то же. В таких случаях иногда говорят: «не выходит из памяти, и я ни о чем не могу думать», и так говорить пожалуй правильнее. Обыкновенно мысли, занимающие так сильно мое сознание, столь сильно в нем персеверирующие, мысли-персеверации имеют эмоциональный характер.

Мы говорим о «мыслях, которые не выходят из памяти», и уже подобное выражение демонстрирует, насколько тесна здесь связь между мышлением и памятью. В сущности это конечно память: «я помню». Но помню я «мысли». И хотя эти мысли то «не выходят из памяти», т. е. персервируют, то «то и дело вспоминаются», т. е. репродуцируются, иными словами, здесь имеют место такие явления памяти, как персеверация и репродукция, однако есть все же и движение этих мыслей.

Самонаблюдение легко обнаруживает двоякий характер движения подобных мыслей, или, как правильней их назвать, воспоминаний. Иногда они движутся в форме рассказа, который бывает то воспоминанием, то фантазией, то смесью того и иного. Я замечаю, что «думаю», т. е. вспоминаю и воображаю целые истории или эпизоды. При этом происходит обыкновенно некоторое как бы распределение функций: начинается с репродуцирующего рассказа, т. е. я вспоминаю какие-то бывшие события, ситуации и т. п., а затем я начинаю фантазировать, продолжая эти события в будущем: что будет, что выйдет из него. Мое воображение-рассказ как бы предугадывает будущее этой ситуации, в то время как память отразила прошлое ее. Но это предугадывающее воображение-рассказ настолько своеобразно, что даже возникает сомнение, насколько приложим здесь термин «предугадывающее». Иногда этот термин вполне уместен, потому что это действительно предугадывание, догадка. Но гораздо чаще это гипотетизирующее воображение — рассказ: предполагается определенная возможность, и воображение развертывает рассказ, исходя из этой возможности. Но это не все. Рассказ, представляющий воображаемое будущее, развертывается в известном направлении, так же эмоциональном по своему характеру, как и то воспоминание, из которого оно вышло. Можно заметить, что если развертываясь он доходит до неприятного, то или персеверирует на нем (что бывает значительно реже) или — чаще — отталкивается от него, начиная развертываться в ином направлении — желательном. Не только сказки и романы имеют обыкновенно счастливый конец. Счастливый

конец имеют обычно и те рассказы, которые строит наше воображение, представляющее, предполагающее будущее.

Нередко критикуют психологов за то, что они как бы персонифицируют психологические функции, говоря например: память или воображение делают то-то. Конечно наши способы выражаться ограничены несовершенством нашего языка и потому несовершенны. Но я лично не считаю эти выражения очень порочными. Конечно все это делает не «память», «воображение» и т. п. как персонифицирующие способности, но вспоминающий и воображающий субъект, но это такая поправка, которая слишком очевидна и заниматься которой было бы таким же педантизмом, как вычеркивать подобные же персонифицирующие выражения из физики или физиологии. Больше того: на данном этапе наших знаний и нашего языка мы рискуем, вычеркнув все подобные глаголы, тем самым стушевать действенный характер происходящих процессов, тогда как его надо, наоборот, подчеркнуть.

В данном случае воображение-рассказ чаще всего именно строит будущее. Это не простое развертывание какого-то бесстрастного предположения. Сплошь и рядом это рассказ о том, что я и другие будут делать, как бы проектирование действий так, чтобы в конце концов получился благоприятный конец. Огромное большинство подобных рассказов, в сущности говоря, рассказы обо мне, строящем лучшее будущее и устраняющем нежелательное будущее.

Но не все мои мысли только в этом роде — только воспоминания и фантазии. Наоборот, такими они бывают лишь в некоторых определенных случаях, точно еще не проанализированных, но во всяком случае эмоциональный характер которых несомненен. Правда, в повседневной жизни, там, где мы сравнительно предоставлены самим себе, т. е. в часы досуга, именно эмоциональное начинает особенно нас занимать.

Но даже и в этих случаях то и дело стирается грань между рассказом и рассуждением, воображением и мышлением до такой степени, что трудно бывает решить, что я сейчас — воображаю или рассуждаю. Чтобы решить этот вопрос, вспомним это место из учения Гегеля о понятии: «Суждения отличны от предложений; в последних содержатся такие определения субъектов, которые не стоят в отношении всеобщности к ним — состояние, отдельный поступок и т. п. Цезарь родился в Риме в таком то году, вел в продолжение десяти лет войну в Галлии, перешел Рубикон и т. д., — все это предложения, а не суждения. Совершенно нелепо также сказать, что такого рода предложения, как например: — сегодняшнюю ночь хорошо спали» или «становитесь под ружье!» — могут быть облечены в форму суждения. Лишь в том случае предложение, гласящее «карета проезжает мимо», было бы суждением, а именно субъективным суждением, если бы могло подвергаться сомнению, есть ли движущийся мимо предмет карета, либо описывали бы, движется ли предмет, или тот пункт, с которого мы его наблюдаем, — лишь в том следовательно

случае, когда мы интересуемся тем, чтобы найти определение для еще неопределенного надлежащим образом представления»121. Но такие сомнения и вопросы часто встают в повседневной жизни. Практическая деятельность требует правильных предположений, а не фантастических, и желательное вызывает вопрос, насколько оно возможно. Если я хочу, чтобы моя деятельность протекала бы удачно, я не могу только фантазировать и воображать: я должен мыслить. Так вместо предположений воображения выступают гипотезы мышления, и вместо рисующих будущее рассказов выступает размышление, рассуждение. Я рассуждаю о различных возможностях и останавливаюсь на одной из них, которую считаю более правильной, более реальной. Я строю ряд предположений — гипотез и интересуюсь, какое из этих предположений соответствует действительности и какие последствия вытекают из него.

«Вопрос о том, свойственна ли человеческому мышлению предметная истина, вовсе не есть вопрос теории, а вопрос практический. На практике должен человек доказать истинность, т. е. действительность и силу, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолированного от практики, есть чисто схоластический вопрос» (Маркс). Истинность моих предположений подтверждается или опровергается практикой. Но было бы неосторожно проверять всякий раз свои предположения ответственной практической деятельностью, т. е. такой, где я мог бы жестоко поплатиться за свое неправильное предположение. Я проверяю часто поэтому свои предположения нерискованными, тщательно продуманными экспериментами. Такая экспериментальная проверка предположений в повседневной жизни пожалуй не менее часта, чем в науке. Но нередко не бывает необходимости прибегать на деле даже к таким экспериментирующим пробам, так как на основании моего прежнего опыта я легко могу мысленно предвидеть последствие моего предположения, вытекающее из данной гипотезы следствие. Проносящиеся в моей голове мысли, если это не воспоминания и не фантазии, — одно из трех: или рассуждения примерно вышеописанного типа, либо высказывания отрывочных суждений, часто в связи с оценками и решениями, либо наконец то, что в одном из предыдущих параграфов мы назвали мысленным аккомпанементом восприятий и действий. При этом, насколько я могу посредством самонаблюдения уловить, мое мышление все время переходит от мысленного аккомпанемента восприятий и действий (мышление-называние) к мышлению-суждению и мышлению-умозаключению, причем это — самые разнообразные переходы от одного к другому, но (по крайней мере так сужу на основании своего самонаблюдения) точка сгущения этих переходов, если можно так выразиться, находится около суждений: чаще всего я ловлю себя на суждении или на чем-то близком к нему.

Гегель в свое время настаивал, что но отношению к мышлению надо говорить не о переходе, а о развитии. С психологической точки зрения пожалуй действительно в данном случае лучше пользоваться термином «развитие». Тот очень характерный факт, который открывает самонаблюдение относительно процесса мышления, это — что мысли, которые я обнаруживаю у себя, то какие-то зачаточные мысли, скорее называния, «мысленный аккомпанимент» восприятий и действий, то уже что-то вроде суждений, то цепь суждений, рассуждение.

Психологическое изучение мышления находится еще в детской стадии. Большая часть посвященных ему работ основана в конце концов на самонаблюдении — исследователя или испытуемых. Самонаблюдение справедливо считается в современной психологии одним из самых несовершенных методов, и хотя мы не отбрасываем его вовсе, так как без него в психологии нельзя обойтись, все же оцениваем его низко. Мы вынуждены были пользоваться им в настоящем параграфе, но отдаем себе отчет в том, что с помощью его открыли немногое

Пожалуй самый основной факт, который открывает самонаблюдение — это то, что можно назвать неуловимостью мышления. Чрезвычайно трудно поймать себя на той или другой мысли: как только улавливаешь ее, она начинает уже изменяться, притом чаще всего в определенном направлении, именно становится более развитой. То, что было, как я отчетливо заметил, было не суждением и не умозаключением, но, как только я направил на него внимание, оно становится вдруг тем или этим. Исследователи давно уже заметили это, и это — один из аргументов против самонаблюдения: оно так же плохо улавливает разнообразие мышления, как смотрение в зеркало — разнообразные выражения лица. Обыкновенно обобщают это явление на все переживания, но это неверно: посредством самонаблюдения я могу очень хорошо уловить воспоминание-репродукцию или образы. Значит неправильно утверждать, что это — всеобщее явление. Это специфическая особенность только некоторых психологических процессов, в первую очередь мышления. Мышление все время находится в развитии, все время то эволюирует, то инволюирует, и на этот процесс развития мышления влияют даже казалось бы самые малейшие причины. Пожалуй в этом отношении нет ничего в наших переживаниях более чуткого к влияниям, чем мышление.

Но больше всего на мышление в этом отношении влияет общение. Немецкий писатель И. Клейст в статье о мысли и говорении утверждает, что мышление внутренне принадлежит процессу речи, развивается совместно с ней и определяется, так сказать, в ходе ее. Несколько утрируя, он утверждает: «Мысль появляется в разговоре» (l’idée vient en parlant). Но если это — утрировка в несколько идеалистическом духе, то несомненно правилен его тезис, что слушатель, даже если он молчит, заставляет одним своим присутствием додумывать, договаривать, т. е. оформлять и окончательно развивать мысль.

Это положение Клейста очень верно. Наша внутренняя речь — недоразвитая, недоконченная речь: это как бы фрагменты речи, перманентно во всех отношениях недоканчиваемая речь. Пожалуй для меня, для самого субъекта, такая речь вполне достаточна: я понимаю и такую свою речь. Наше мышление про себя точно так же обычно чаще всего недоразвитое, недоведенное до конца своего развития мышление: это как бы кусочки мысли, кусочки суждений и умозаключений, недоговариваемых, недоканчиваемых.

Но человек — общественное существо, и даже когда я один, я сплошь и рядом не один: то пишу (а мы пишем всегда для когонибудь, даже свои дневники), то веду мысленные разговоры и т. д. Но в повседневной жизни мы не часто бываем одни. Мы разговариваем с другими, рассказываем и доказываем им, слушаем их и возражаем им. И даже когда нет разговора, мы часто находимся в состоянии приготовления или готовности к разговору. Но в обществе мы не только разговариваем. Прежде всего и самое главное то, что в обществе мы ведем нашу деловую жизнь. Даже когда дома мы свободны от непосредственного труда, мы так или иначе готовимся к нему. Все это и подобное ему очень сильно влияет на наше мышление.

Это влияние состоит в том, что наше мышление доразвивается. Мне кажется, что если бы посредством какого-нибудь гигантски усиливающего микрофона можно было бы сделать так, чтобы наши мысли зазвучали вовне, то слушатели получали бы порою впечатление чего-то вроде «Ideenflucht», может быть менее элементарного, чем у типичных маниакальных больных, но все же похожего на то, которое мы наблюдаем в нетипичных, более слабо выраженных случаях «Ideenflucht». Чрезвычайно быстрое и изменчивое течение мыслей, малопонятное для постороннего своими скачками и недооконченностью рассуждений и суждений, то и дело переходящее в кусочки фраз и даже в отдельные слова, поразило бы слушателей.

Но в обществе и для общества мы так говорить и мыслить не можем. Мы должны договаривать слова и фразы. Мы должны говорить понятные (не только в языковом отношении) мысли. Наш разговор, там, где это не рассказ-воспоминание или императив и вопрос, есть рассуждение. Наша «речь», все равно измеряется ее продолжительность минутами или часами — рассуждение. Рассуждение — наиболее развитая форма мышления. Когда мы думаем про себя, особенно в тех случаях, когда это мышление минимально связано с деятельностью, протекающей в обществе или для общества, мы рассуждаем не часто, и по форме это весьма фрагментарное рассуждение. Но в обществе или для общества мы обыкновенно рассуждаем, говоря или думая. Наша «речь», произносимая для других, есть очень развитое рассуждение, т. е. очень развитое мышление.

Наше мышление в своем развитии социально обусловлено. Мышление в максимальной изолированности (психологической) от общества, — неразвитое, так сказать, зародышевое мышление.

В курсах психологии и лингвистики нередко называют внутреннюю речь зародышевой речью, начатком речи. Но точно так же и наше мышление «про себя и для себя» является зародышевым мышлением, начатком мышления, поскольку оно не приближается к социальной жизни.

Конечно, когда говорится о социальном общении, имеется в виду не простое нахождение среди людей. Заключенный в одиночную камеру революционер психологически может интенсивно общаться с обществом. Больше того, выше уже отмечалось, что, когда человек пишет, он обыкновенно пишет для кого-нибудь, и в этом смысле письменная речь — очень социальная речь, но пишет он за столом в своем кабинете. Письменная речь делает общение свободным от ряда физических ограничений. Но эта в высшей степени социальная письменная речь в то же время максимально развитая речь и максимально развитое мышление. Устная речь так же эллиптична по сравнению с письменной речью, как внутренняя речь эллиптична по сравнению с устной речью. Но то же также относится и к мышлению: максимально эллиптично внутреннее мышление, и максимально развито с логической точки зрения письменное рассуждение, а устное является как бы промежуточным звеном, ближе стоя, правда, к письменному. По крайней мере мне приходилось слушать жалобы стенографисток на «трудность записывания» вследствие некоторой эллиптичности мысли и неудовлетворительной грамматичности (особенно синтаксической) тех, кто говорит не «книжной», а «разговорной» речью: пусть аудитория слушает ее с полным удовлетворением, стенографистке тем не менее приходится при записи «сглаживать» ее.

6. От мышления к памяти (припоминание). Наше рассмотрение проблемы «Мышление и память» было бы неполным, если бы мы не разобрали вопроса, как мышление, достигая известной ступени развития, начинает оказывать все большее и большее влияние на память. Это влияние проявляет себя и в запоминании и в припоминании. Очень хорошо выявляют это опыты над испытуемыми различных возрастов, так как в разные возрасты различно отношение между мышлением и памятью. Но это же хорошо выявляют также опыты даже над одними и теми же испытуемыми при условии дачи им текста различной трудности для осмысления.

Чем младше школьник и чем неразвитее он, тем более он склонен даваемый ему для запоминания («хорошенько выучи») материал запоминать только памятью. Это проявляется тем, что он при запоминании стремится запомнить решительно все, охотно пользуется повторениями и делает при запоминании специфическое очень своеобразное «усиление запомнить», которое носит скорее всего характер физиологического усилия. Его запоминание в наиболее типичных случаях превращается в так называемую зубрежку, или, как обычно называют ее в психологии, механическую память. Иначе ведет себя более взрослый и более развитой. Он запоминает не «все», а выборочно, при запоминании не склонен напрягать «усилие запомнить», но зато мышление его энергично уча-

ствует в запоминании, всячески осмысливая заучиваемый материал, открывая и устанавливая в нем связи и спрашивая, контролируя, насколько правильно заучено.

Но еще ярче проявляется влияние мышления при припоминании. Чем младше и чем менее развит испытуемый, тем более проявляется следующее: если он забыл, он делает «усилие вспомнить», которое, судя по проявлениям его, имеет скорее физиологический характер, и если это безуспешно, этим дело кончается. Забыть данный пункт для него значит совершенно забыть его. Но иное мы видим у более взрослого и более развитого: для него забыть данное далеко не всегда значит совсем забыть его. Он умеет вспоминать в том смысле, что умеет при помощи мышления восстанавливать забытое. Этот процесс восстанавливания состоит в том, что, пользуясь имеющейся у него системой понятий, он как бы спускается от самого общего понятия «что-то» через посредствующее понятие до известного пункта, когда уже оказывается в состоянии реинтегрировать в известной мере заученный материал, точнее, последний реинтегрируется в некоторой степени сам, автоматически. Так например испытуемый забыл данные ему числа, но он вспоминает: «числа... трехзначные... нечетные... больше пятисот... большие единицы» и т. д., пока не дойдет иногда до такого момента, когда вдруг вспомнит: «кажется, 937... да, 937». Уверенность, насколько я мог установить это при экспериментировании, в данный момент («да, 937»), обусловливается уже чувством — специфическим чувством знакомости.

Из того огромнейшего количества аффективных и сенсорных впечатлений, которые мы получаем, много впечатлений мы забываем, так как деятельность памяти состоит не только в запоминании, но и в забывании. В конечном результате этого процесса запоминания-забывания остается как полузабытое «общий смутный контур», как любят говорить испытуемые о своих сильно забытых образах-воспоминаниях, или самое общее понятие в случае памяти-рассказа («помню только в самых общих чертах»).

Но имеющему дело с понятиями мышлению это часто бывает не только достаточно, но и необходимо, поскольку «первая отличительная черта понятия — всеобщность». При оперировании с общими понятиями мышление часто только затруднялось бы конкретными частностями. «Богаче всего самое конкретное и самое субъективное. Но «мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное — от истины, а подходит к ней». Но общее «только и есть ступень к познанию конкретного, ибо мы никогда и не познаем конкретного полностью. Бесконечная сумма общих понятий, законов etc. дает конкретное в его полноте». «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»122. Но в переходе от абстрактного мышления к практике нередко бывает нужно вспомнить конкретные частности, с которыми при практической деятельности приходится иметь дело. И мышление восста-

навливает их, казалось бы, уже забытые, оперируя своими общими понятиями и рассуждая. О развитом взрослом можно сказать, что он вспоминает, как и запоминает, не только (пожалуй даже не столько) памятью, но и (пожалуй даже в большей мере) мышлением.

7. Теория генерических чувствований (sentiments génériques) и ее критика. Проблема так называемой логической памяти.

Несмотря на то, что деятельность памяти состоит как в запоминании, так и в забывании, как раз проблема запоминания обыкновенно привлекала внимание исследователей, а проблема забывания, наоборот, оставалась в тени. Если не считать проблемы количественного учета забываемого материала, которая главным образом составляла содержание соответствующих экспериментальных работ, и проблемы патологии памяти (амнезии), которая еще и сейчас не вышла из стадии грубо эмпирического собирания фактов и малообоснованных гипотез, то проблема остается и в наши дни мало выясненной: формы и условия забывания, сущность и значение забывания, эти вопросы еще ждут глубоких исследований, а пока их касались скорее мимоходом главным образом французские психологи (Тэн, Рибо, Бине, Дюга). Внимание этих исследователей привлекала в особенности проблема значения забывания. Неправдоподобно, чтобы такой повседневный факт, как забывание, имел бы чисто отрицательное значение. Уже Рибо указывал пользу забывания, с помощью которого человек подымается над бесчисленным количеством конкретных деталей, и так облегчается возможность обобщения. Дюга энергично формулирует роль забывания следующим образом: «Забывание не всегда отрицание или противоположность памяти; оно может быть условием ее, как диссимиляция — условие жизни... Вспоминать значит выбирать среди явлений прошлого, собирать одни и устранять другие, т. е. следовательно систематически забывать все то, что находится и должно оставаться вне настоящей эвокации (évocation présente)»123.

Однако был один исследователь, который, как раз исходя из изучения забывания, построил свою теорию памяти. Это польский психолог Абрамовский. Он утверждает, что обычное состояние всего прошлого, за исключением воспоминания о данном моменте, представляет собою неопределенное чувство всей массы забытого, и это — та латентная память, криптомнезия, или подсознательное, которая постоянно сопровождает все факты нашего сознания. Абрамовский утверждает состояние особого «генерического чувства» («родового чувства») известных групп забытых фактов, организованных вокруг какого-нибудь события или символа. Оно фигурирует в смутных аффективных воспоминаниях, образующих содержание наших грез и отчасти наших художественных произведений. Эти коллективные генерические чувства, смесь криптомнезичееких эквивалентов фактов, объективно координированных, составляют «большие потенциалы нашего подсознательного», играющие важную роль в психопатологии и образующие базу для ассоциаций нормальных идей. Наиболее простой крип-

томнезический факт есть генерическое чувство чего-либо забытого, проявляющееся в припоминании чувством отсутствия, недостачи, а в узнавании — сопротивлением неправильному внушению или чувством «déjà vu». Оно является также источником галлюцинаций памяти и парамнезий.

Эти проявления аффективной памяти образуют «бессознательное» — аффективную и аинтеллектуальную форму сознания. Но есть активная и выявленная память, которая, по Абрамовскому, является восприятием простых или коллективных генерических чувств, составляющих криптомнезию. Это мнезическое восприятие аналогично, по Абрамовокому, восприятию внешних вещей. Как в последнем можно различать интеллектуальную и аффективную сторону, так и во «внутреннем восприятии», т. е. в воспоминании, следует различать интеллектуальную часть воспоминания, переменную, частичную и эволютивную — умственный образ или слово, и аффективную часть, примитивную и стойкую, на которой основывается мнезическая ценность воспоминания124.

Теория Абрамовского не только слабо разработана, но и запутана, а нередко и прямо неверна. Конечно неправильно отождествлять подсознательное, латентную память и аффективную память: все это далеко не одно и то же, так как например заученное наизусть грамматическое правило может являться содержанием латентной, а не аффективной памяти, а подсознательное, если пользоваться этим термином, может относиться не только к памяти, но и к восприятию. Не надо также смешивать роли умственного образа и слова в воспоминании: их роль различна. Словом, ни в целом, ни во многих деталях теория памяти Абрамовского неприемлема. Но в ней есть и ценные мысли, извлекши и соответствующе исправив и переработав которые, можно несколько двинуться вперед в выяснении явлений памяти.

Память одной своей стороной соприкасается с движением и чувством, а другой — с мышлением, и то, что обычно называют бессознательной памятью, это преимущественно привычка и аффективный опыт. Даже забываемые образы, как мы видели, могут стираясь оставлять лишь аффективный след. Я даже колеблюсь, не следует ли ввести термин «мнестическое чувство» или сохранить менее притязательный термин «аффективный опыт». Но совершенно уверенно я отклоняю «генерические чувства» как очень неясный и могущий вызвать путаницу термин. Никаких таких чувств нет: есть только чувства знакомости или чуждости, да и то пожалуй не как специфические своеобразные чувства.

Но если нет «родовых чувств», то есть родовые понятия, именно они играют огромную роль в той памяти, которая соприкасается с мышлением, — в так называемой логической памяти. Термин «логическая память» — один из самых неопределенных терминов в современной психологии вплоть до того, что одни (например Уиппл) этим термином обозначают содержание запоминаемого («мысли»), а другие (например Барт) — способ запоминания (не механический, а через установление логических связей). Вряд ли

было бы производительно заняться выяснением терминологии. Целесообразно заняться соответствующими реальными фактами. Первый из этих фактов — запоминание и воспроизведение только «смысла». Такая память может быть настолько недословной, что в воспроизведенном тексте не будет ни одного слова из подлинника. Процесс запоминания состоит в значительной мере в замене понятий подлинника высшими, равнозначащими или низшими понятиями. Это есть процесс переработки запоминаемого в понятиях. Детали этого процесса неясны еще, но то, во что исходит запоминание с течением времени, т. е. забывание, есть в конечном итоге замена более общими понятиями.

И с этих более общих понятий обыкновенно начинается обратный процесс — думающее воспоминание. Как мы видели, оно начинает с более общих понятий и постепенно специфицируется, пока не дойдет до известного момента, когда уже становятся возможной автоматическая реинтеграция. Чем развитей и координированней система понятий у данного субъекта, тем лучше при прочих равных условиях думающее воспоминание его.

Таким образом в процессе думающего запоминания и воспоминания понятия играют огромнейшую роль. Они дают возможность запомнить и вспомнить наиболее существенное, самую суть явления, забывая все несущественное, случайное. Память становится мышлением, и воспоминания — не просто воспоминаниями, а мыслями пользующегося ими субъекта. Проблема логической памяти в том виде, как она обычно ставится в экспериментальной психологии, например хотя бы у Уиппла, лишь стушевывает этот процесс превращения памяти в мышление и воспоминаний в мысли.

8. Заключительные замечания. Обосновываемая в данном исследовании теория памяти рассматривает различные виды памяти как различные ступени развития памяти. Точно так же с точки зрения развития рассматривается и вопрос об отношении памяти и мышления как вопрос о переходе памяти в мышление. План изложения был прогрессивным, т. е. изложение шло от низших ступеней к высшим. Но конечно можно было бы выбрать и противоположный план изложения — регрессивный, т. е. итти от высших ступеней к низшим: мы могли бы начать с мышления и от него постепенно спускаться к простой привычке.

Исследование (не изложение) на самом деле таким именно путем велось. Я исходил из мышления, как его обнаруживает, во-первых, мое самонаблюдение, во-вторых, экспериментирование, когда эксперимент, казалось бы, должен вызывать особенно интенсивную работу мышления (искание, решение задач, объяснение), в-третьих, анализ продуктов мышления (письменная продукция). И здесь я сразу же натолкнулся на парадоксальный с первого взгляда факт: не все то, что огульно называл я мышлением в начале исследования, на самом деле оказалось мышлением, если под мышлением понимать ту работу мысли, которую обычно назы-

вают «думанием» и котрую, уточняя термины, можно назвать рассуждением. Испытуемый часто решал задачу «не задумываясь», «не рассуждая», сразу, почти автоматически, как привычную задачу. Так же давал нередко он и объяснения, привычные или уже известные ему. В ряде таких случаев в учебниках психологии принято говорить об умозаключениях по аналогии, но на деле и тот факт, что все это производилось сразу, и показания самих испытуемых говорили за то, что здесь не было даже умозаключения по аналогии, потому что не было вовсе умозаключения. Здесь играла главную роль память. Мое собственное самонаблюдение также показало мне, что многие мои мысли в сущности не что иное, как воспоминание. Наконец, читая самые распространенные виды письменной продукции — письма, легко заметить, какое большое место в них занимают рассказы-воспоминания и рассуждения, являющиеся на самом деле лишь репродукциями прежних рассуждений. Но то, что поразило меня в особенности, это — что сочинения учеников, даже юношей, — в большей части воспоминание различных случаев из жизни или прочитанного и выученного, и даже там, где авторы проявили творчество, большую роль играло подражание, т. е. репродукция.

Можно было бы ограничиться общеизвестным положением о связи различных функций друг с другом: мышление — не изолированно работающая деятельность, оно связано с другими деятельностями и в том числе, разумеется, с памятью. Это бесспорно. Но остановиться на простом констатировании связи показалось недостаточным. «Все идеи заимствованы из опыта, отражения — верные или искаженные — действительности» (Энгельс). Это положение наталкивало подойти к вопросу о связи между мышлением и памятью с генетической точки зрения. Мышление — не априорная деятельность и не может возникать из пустого интеллекта. Проблема генезиса мышления слишком превышает мои силы, и я ограничил себя лишь частицей этой огромной проблемы. Я обратился к возрасту, когда особенно интенсивно образуется мышление, к детскому возрасту и сосредоточился особенно на том детском возрасте, в котором легче всего увидеть роль памяти в развитии мышления. Это возраст учения, школьный возраст. Результаты исследования развития мышления в школьном возрасте изложены в другой моей работе. Но здесь важно сказать, что та память и те воспоминания, на которые я натолкнулся в этом своем исследовании, весьма мало походили на то, что обычно изучают под названием «память» последователи Эббингхауза. Эта память-рассказ очень тесно смыкалась с мышлением. Поэтому ею я преимущественно занялся.

Проблема памяти-рассказа не могла не привести меня к проблемам «память и речь» и «речь и мышление», а также к проблеме взаимоотношения памяти-рассказа и памяти-репродукции. Весь фактический материал убеждал в том, что человеческая память преимущественно вербальная память, т. е. пользующаяся словом, и даже когда вспоминали мои испытуемые школьники

в том возрасте, в котором эйдетизм очень распространен, даже когда они вспоминали не читанное или слышанное, а виденное, никакими способами мне не удавалось открыть мало-мальски значительную роль образов. И тем не менее, если можно так выразиться, на заднем фоне вербальной памяти все время маячила образная память, то как бы совершенно стушевываясь, то, наоборот, становясь более заметной. Эксперименты в скором времени показали, что образы имеют тенденцию появляться главным образом тогда, когда слабеет вербальная память, при воспоминании о сильно забытом или редко повторяющемся.

Образы — только эпизоды в памяти взрослого при обычных условиях. Поэтому течение их можно изучать лучше всего экспериментально. Экспериментальное изучение течения зрительных образов ярко показало изменчивость репродуцированных образов, их склонность трансформироваться. Отсюда легко было перейти от проблемы памяти к проблеме воображения: зрительно-образная память оказалась видом воображения.

Воображение, которое в обычных курсах психологии занимает немного места, в моем исследовании выросло в очень важную функцию: там, где мышление или вербальная память еще недостаточно развиты, где они затруднены (мысль изобретателя при затруднении, полузабытое воспоминание), выступает на сцену воображение, и оно же играет огромную роль в восприятии при узнавании. Но проблема восприятия, с одной стороны, и проблема творческого воображения, с другой, — такие огромные проблемы, которые почти целиком выходят за пределы данного исследования.

Идя дальше в область полузабытого, я пришел к проблеме аффективной памяти. Еще раньше произведенное мною исследование первых воспоминаний детства убедило меня, какую огромную роль играет то, что я называю аффективным опытом, в нашей жизни, хотя сплошь и рядом этот опыт не осознается нами. Явление «выветривания» (забывания) аффективного опыта при сохранении соответствующих движений привело к автоматическим движениям, и так я дошел до них, но не занялся ни так происшедшими автоматическими движениями, ни иным путем происшедшими (например привычные движения), потому что это все слишком далеко от мышления, хотя и может служить ему. Мышление в своей работе конечно пользуется автоматизмом, и например математик, производя вычисление, вычисляет часто почти автоматически, но это значит, что в эти моменты он вычисляет, не думая, и задумывается он не в эти моменты, а тогда, когда затрудняется в вычислении или осмысливает вычисленый результат.

Есть также связь между мышлением и аффективной памятью, на которой основано аффективное узнавание бывшего и нового, опасного и т. п. Как магнитом, притягивается мышление к новому, неприятному, опасному, но с тем, как мы видели в опытах с воображением, чтобы устремиться к желательному, тем или иным

способом преодолеть нежелательное. Связь мышления с аффективной памятью — одна из связей мышления с нашими жизненными интересами. Но такое мышление еще очень субъективное мышление, отражающее не так действительно реальное, как скорее желательное.

«Уже верное отражение природы чрезвычайно трудно; оно оказывается продуктом продолжительной истории опыта... В сфере общественных явлений отражение еще более трудно». «В понятиях человека своеобразно (это NB: своеобразно и диалектически!!) отражается природа», «Та реальность, которая не соответствует понятию, есть просто явление, субъективное, случайное, произвольное, не истина»125.

Проблема образования понятий, огромная и очень трудная проблема, конечно не могла быть одной из тем данного исследования. Но то, что являлось одной из центральных проблем этого исследования, — память исследовалась как раз с той точки зрения, насколько она помогает верному отражению действительности. Оказалось, что зрительно-образная память, являющаяся лишь одним из видов воображения, сохраняет и воспроизводит случайное (например экстраординарные случаи), притом весьма несовершенно и с большим искажением. Память-фантазия (phantasia) не оказалась с этой точки зрения высшим видом памяти. В этом отношении значительно выше ее вербальная память, память-слово.

Но и в этой памяти не вербальная простая репродукция — самое совершенное, так как не она сохраняет и воспроизводит существенное в полученных впечатлениях. Та память, которая такова, самым тесным образом смежается с мышлением, то и дело переходя в него. И последнее, чем закончилось наше исследование, это вскрытие той огромной роли, которую играют понятия при запоминании и припоминании в повседневной жизни развитого взрослого человека. В процессе так называемой логической памяти понятия играют решающую роль при запоминании и припоминании существенного, сущности воспринятых явлений.

Так был проделан в исследовании, выражаясь словами Гераклита, «путь вниз» и «путь вверх». Но для читателя было бы чрезвычайно утомительно беспрестанными повторениями такое изложение, которое репродуцировало бы оба эти фактически пройденные пути. Нужно было поэтому остановиться на каком-нибудь одном из них. «Путь вниз», идущий от весьма сложных явлений продуктов высшего развития, был бы наиболее труден для изложения и пожалуй менее убедителен, поскольку на каждом шагу приходилось бы выставлять предположения, подтверждение которых то и дело получалось бы гораздо позднее высказывания их. Проблема и без того чрезмерно трудна, и решение ее и без того в ряде мест кажется спорным, подлежащим дальнейшей проверке. Вот почему при изложении был избран «путь вверх», идущий от более простого и меньшего числа предположений. Этот путь еще тем предпочтительней в изложении, что читателю не так уже

трудно сопоставлять конструируемые исследователем ступени развития с тем, что он может видеть в действительности, наблюдая онтогенетическое развитие ребенка, в чьем раннем детстве так много автоматизма и репродуцирующей подражательности, чей дошкольный возраст характеризуется яркими проявлениями воображения, а школьный — учением, в котором осуждается зубрежка и на первый план выдвигается осмысленное учение, учение для разумного действия.
Но тем не менее и в изложении нельзя обойтись без «пути вниз», но используем мы его для своеобразных целей. Ряд психопатологических явлений представляет собой в значительной мере явления деградации, когда данная функция как бы спускается на низшую ступень развития. Мы уже имели случай цитировать «рассмотрение сумасшествия как существенной ступени развития» Гегелем. Но сумасшествие в свою очередь, как и всякая болезнь, представляет собою процесс, имеющий более легкие и более тяжелые формы. С этой точки зрения ряд психопатологических явлений, как бы демонстрирующих собою «путь вниз», может быть использован в заключительной главе нашего изложения для проверки некоторых выставленных в нем положений. Менее всего имеем мы намерение входить в полное рассмотрение приводимых нами болезненных явлений: рассмотрение их строго ограничивается лишь темой «Память и мышление». Как изменяется отношение между ними, когда сознание деградирует у психически больного?

X. ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХО-ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОВ

1. Регрессия от мышления к памяти. Если развиваемая в этой книге теория правильна, то в случае деградации при психических заболеваниях должен иметь место момент, когда память начинает превалировать над мышлением. В самом ли деле так бывает? Такое превалирование памяти над мышлением легко замечается в тех случаях, когда на первый план выступают те виды памяти, которые наиболее отличны от мышления, именно воображение, аффективная память и привычные автоматические движения, в том числе и речевые. Труднее заметить это в случае вербальной памяти, репродуцирующей и особенно рассказывающей. Память-рассказ так близка к мышлению, что на практике чрезвычайно трудно отличить ее от мышления. С другой стороны, и в мышлении на этой еще сравнительно начальной стадии его деградации не так легко подметить его дефекты, подмену его памятью. Наконец эти случаи так обычны и так еще в них мало отклоняется поведение больного от обычного поведения, что не сразу решаются квалифицировать их как патологические.

Тем не менее такую пока еще не очень значительную регрессию от мышления к памяти можно подметить в поведении даже легких психопатов, особенно если наблюдать это поведение не во время кратковременного клинического общения с ними, а повседневно в бытовой жизни. Надо сознаться, что в бытовой жизни многие такие психопаты — несносные собеседники, могущие замучить своими бесконечными разговорами все об одном и том же, то и дело пересказываемом с очень большими и притом несущественными подробностями.

Характерная особенность ряда таких психопатов, что они «не могут забыть». То, чего они не могут забыть, — иногда какое-нибудь поразившее их почему-либо событие. Они не могут думать ни о чем другом. Впрочем было бы неточно сказать, что они «думают» о данном событии, так как мышление не развивается даже по поводу его: оно скорее неподвижно, как бы «застряло» на этом событии, которое «не выходит из головы», т. е. персеверирует.

В одной из предыдущих глав говорилось, что объяснение на ранних этапах развития его состоит в сведении неизвестного к известному и является скорее делом памяти, нежели мышления. Но в объяснениях ряда подобных психопатов поражает нередко универсальность их объяснений, состоящая в том, что они все сводят к своей персервирующей мысли, все объясняют ею. Неред-

ко в быту их зовут за это мономанами. Научно выражаясь, мы назвали бы их персеверирующими интерпретаторами.

«Не выходить из головы» может не только какое-нибудь событие, но и какое-нибудь пустяковое обстоятельство, например какие-нибудь запоминающиеся случайные фразы или какие-нибудь малозначительные заботы. В нашу задачу не входит рассмотрение, почему это бывает. Для целей данного исследования достаточно констатировать это как факт и отметить, что мышление бывает бессильно в подобных случаях преодолеть подобные персеверации, забыть которые не удается никаким отвлечением мыслей.

При знакомстве с рядом психопатов, особенно депрессивных, меня неоднократно поражало, какое огромное место в их жизни занимают воспоминания. О некоторых из них можно сказать, что они как бы ушли в воспоминание и прошлое отняло их у настоящего и будущего. Даже у депрессивных подростков я находил, исследуя их свободные цепные ассоциации, гораздо больший процент слов, данных вследствие воспоминаний о сравнительно дальнем прошлом, чем у их нормальных сверстников.

Многие случаи регрессии от мышления к памяти проходят почти незаметными: не так удивляет, как скорее надоедает данный субъект со своими воспоминаниями, бесконечными разговорами об одном и том же и персервирующими интерпретациями.

Расхождение между мышлением и памятью чаще всего замечает сам больной: его мышление еще достаточно критично, чтобы обнаружить неуместность тех или иных воспоминаний, особенно когда эти воспоминания проявляют тенденцию к персеверации. Он воспринимает эти воспоминания как такие, от которых желает, но не может избавиться. Но не только так называемые навязчивые воспоминания таковы. В конце концов огромная часть всех вообще навязчивых идей не что иное, как навязчивые воспоминания. Что это так, достаточно вдуматься в показания больных: «Как только лег, вспоминаю, не оставил ли открытым газ», «вспоминаю, что надо сделать то-то», и т. д. Мышление говорит о нелепости, но память упорствует в напоминании.

В главе «От памяти к мышлению» мы видели, что «может быть», т. е. предположения и проблемы, гипотезы и проверка их появляются лишь на известной стадии развития: только когда субъект знает и помнит ряд возможностей, могут быть такого типа рассуждения. Забываемость, как еще указывал Пиаже, играет очень большую роль в неумении детей решать условно-разделительные силлогизмы. Представим теперь обратный случай: преувеличенное функционирование памяти. Тогда будет чрезмерное, логически неоправдываемое количество «может быть», чрезмерное количество предположений и проверок. Но так и бывает у тех психопатов, у которых их поведение то и дело определяется «может быть»: «а может быть я позабыл сделать то-то», «на всякий случай» (т. е. опять «может быть»), «надо еще раз встать

и проверить» и т. п. Подобные психопаты, вечно осаждаемые сомнениями и всяческими предположениями, то и дело производящие всевозможные проверки этих предположений, достаточно общеизвестны.

Не надо понимать меня так, что все дело у них только в регрессии от мышления к памяти. Я хочу лишь доказать, что наряду с разными другими патологическими явлениями у них есть несомненно и эта регрессия. Снижение нервного уровня у них проявляется также и в том, что память начинает занимать столь большое место, что этим нарушается логически правильная работа мышления. Насколько мне известно, до сих пор мало обращалось внимания на тот факт, что интеллектуальная деградация в этих сравнительно легких формах психических заболеваний — в сравнительно обычных неврастенических и психопатических явлениях проявляет себя так же, как регрессия от мышления к памяти.

2. Регрессия к воображению. Если роль памяти в вышеразобранных явлениях обычно мало подчеркивалась, то более глубокая деградация мышления в воображение, аффективную память и автоматизм, наоборот, настолько била в глаза своей эксцентричностью, своим несоответствием здравому мышлению, что стала общеизвестной истиной в психопатологии. Поэтому здесь мы можем бытъ очень кратки. Вместо того чтобы повторять общеизвестные факты, я постараюсь осветить их с точки зрения развиваемой в этой книге теории. Воображение с точки зрения этой теории есть явление более элементарное, чем мышление или даже высший вид памяти — память, понимаемая как память-рассказ. Поэтому в патологических случаях, когда на авансцену выступает воображение, согласно нашей теории, одновременно должно происходить ослабление этого высшего вида памяти.

Еще во времена Пинеля и Эскироля была уже ясна огромная роль воображения в образовании бреда, а в нашем веке Дюпре разработал целую «патологию воображения в связи с делирозными состояниями»126. Он различает три вида делирозных состояний: галлюцинаторный бред, интерпретирующий бред и бред воображения, бредовую мифоманию (délires d'imagination, mythomanie délirante). Профессор Дюпре и его ученик Логр показали, что наряду с галлюцинаторным и интерпретативным механизмом может выступать при образовании довольно большого числа систематизированных хронических делириумов имагинативная деятельность. У воображающего нет галлюцинаций, он не создает вовсе или создает мало интерпретаций, и однако он очень сильно бредит; он рассказывает другим и себе самому романы, с которыми связывает безоглядочную веру. Речь идет чаще всего о бреде величия (романы плаща и шпаги, любовные, изобретательские и т. п.), редко о бреде преследования».

Но Дромар показал в своей работе о бреде интерпретации, что способ мыслить интерпретантов чрезвычайно напоминает организацию примитивного мышления как в филогенетическом, так и в онтогенетическом ходе развития. Ссылаясь на «Логику чувств»

Рибо, где доказывается, что примитивные рассуждения создаются из имагинативных элементов эмоционального происхождения и что только с течением времени рациональная концепция мира заступала место имагинативной концепции, а мышление утрачивало субъективный характер, становясь все более объективным, Дромар находит, что то же воображение играет основную роль у интерпретантов. «Их психология повидимому превращается в общем в настоящие явления регрессии». Создаваемые интерпретантами мифы, огромная роль в их бреде символов, образов, весьма фантастических «аналогий» и т. п. вполне утверждают в том, что бред интерпретантов в основном продукт воображения127. Отсылая за детальным обоснованием этого тезиса к работе Дромара, я подчеркну лишь, что регрессия в воображение означает также в данном случае некоторое ослабление высшей памяти. Если у более легких психопатов и неврастеников, о которых шла речь в предыдущем параграфе, благодаря преувеличенно большой роли памяти имеется чересчур много «может быть», которые не выходят из их памяти, никак не могут быть забыты ими, несмотря на все доводы логического рассуждения, и требуют проверки действием, то у интерпретанта, да и вообще у деliранта эти «может быть» совершенно забыты. Поэтому у него не предположения, а утверждения, не нуждающиеся в проверке.

Только поразительное упорствование в предвзятых теориях может отрицать, что здесь дело в ослаблении памяти. Делирант, только что подаривший мне миллион, тотчас же просит у меня десять копеек на трамвай. Что это? Недостаток восприятия? Нет, он великолепно ощущает, что у него в кармане нет денег. Может быть он не осмыслил свою бедность? А как бы он мог у меня просить денег, если бы не осмыслил, что у него их нет? Больше того: он жалуется мне, что родные не дают ему денег. Как же тогда можно говорить, что он не осмысливает? Нет, он просто не связывает возможности дарить миллион, не имея и десяти копеек. Но дадим ему эту связь, укажем ему на эту невозможность. Обычно он ответит на этой какой-нибудь новой выдумкой, как это делает малютка, заявивший, что он может летать, когда вы укажете, что у него нет аэроплана. Но я добивался в разговоре с подобным делирантом иногда, что он как бы соглашался со мной, сконфуженно улыбаясь, в смущении замолкал и т. п. Но что меня всегда поражало, это то, что он буквально тотчас же забывал это. Как ребенок, он неспособен к условно-разделительному силлогизму: «Я или миллионер, или нищий. Если я миллионер, я не нуждаюсь в десятикопеечных подачках, а если я нищий — я выпрашиваю их. Я выпрашивал их значит...». Он, как и ребенок, не может все это вместе помнить, и забывает то одно, то другое. Кстати сказать, если внимательно присмотреться к бытовому поведению таких делирантов, то забывчивость их можно констатировать не только здесь, но и в ряде других областей жизни наряду с сохранившейся низшей памятью, например памятью-привычкой.

Третий вид бреда, по классификации Дюпре, — галлюцинаторный бред. В быту о переживающих например зрительные галлюцинации иногда говорят: «он в беспамятстве». Это выражение содержит в себе много истины: находящийся в белогорячечном бреду конечно в беспамятстве в том смысле, что все высшие виды памяти деградировали, и никто конечно не скажет о нем, что он «в твердой памяти». Представьте, что у моих испытуемых в опытах с течением зрительных образов исчезло отношение к этим образам так, как оно исчезло у меня в рассказанном в одной из предыдущих глав эпизоде во время пневмонии. У них забыты различные «может быть», т. е. исчез вопрос о возможности и невозможности. В противоположность тем неврастеникам, у которых сомнение и потребность проверки чрезмерно гипертрофировались, представьте, у этих испытуемых совершенно исчезли сомнения, а значит и потребность проверки. Несомненно, находясь в таком «беспамятстве», они отнеслись бы к своим образом как к галлюцинациям, так как и галлюцинанты нередко сознают, что это «мысленное видение», «не так вижу как стол», «внутреннее видение» и т. п.

3. Регрессия к аффективной памяти и привычным автоматическим движениям. Здесь можно быть очень кратким, так как эти явления общеизвестны. Особенно психоанализ сделал многое для выяснения того, что фобии, непонятные антипатии, симпатии и т. д. объясняются из биографии больного. Здесь мы имеем, с одной стороны, амнезию данного события во всем том, что касается высших видов памяти, а с другой — аффективную гипермнезию по отношению к этому событию.

Нет оснований ввиду достаточной выясненности вопроса останавливаться на нем. Но одно обстоятельство следует подчеркнуть. Фобии и т. п. явления в единственном числе встречаются скорее у более здоровых. У сильных же психопатов мы имеем обыкновенно обилие подобных явлений. Вот психопатка А. Б. Я гуляю с ней. Она боится итти по высокому мосту, хотя нет никакой опасности упасть. Она не любит клуба в данном учреждении, так как он под землей, и ей кажется, что нехватит воздуха. На вокзале она нервно закричала, когда оказалась в углу, и вдруг путь из этого угла загородили на несколько минут лавкой. Если считать, что фобии, как это доказывает психоанализ, объясняются из биографии больного, то следует сказать, что мы имеем дело с гипертрофированной, я бы сказал, расторможенной аффективной памятью, с аффективной гипермнезией.

Еще меньше можно останавливаться на регрессии в автоматичные движения, объясняемые из биографии больного: так много было высказано уже раньше авторитетными исследователями убедительных предположений о таком происхождении многих подобных движений и поз, например у схизофреников. Наряду с выпадением высших функций мы видим здесь повышенную сравнительно с тем, что наблюдаем у нормальных людей, репродукцию прежних движений.

В заключение я еще раз должен предупредить, что психическая болезнь — явление очень сложное, и я максимально далек от того, чтобы сводить ее к вышеописанным явлениям регрессии от мышления к низшим стадиям памяти. Я хотел только доказать, что в этом сложном явлении имеет место и данное частное явление, которое до сих пор трактовалось скорее как ряд отдельных симптомов, а не система их.

ИТОГИ

Больше ста лет назад Гегель писал: «В учении о духе и в систематизации интеллекта положение и значение памяти и понимание ее органической связи с мышлением составляет один из самых трудных пунктов, до сих пор мало обращавших на себя внимание». Эти слова сохраняют свое значение и до сегодняшнего дня: и сейчас проблема «Память и мышление» — одна из самых трудных в психологии, и сейчас она мало обращает на себя внимания. Такое состояние проблемы не случайное. Эмпирическая психология, находясь под влиянием эмпирической философии, пренебрегала изучением мышления и не видела в нем его своеобразия, сводя его к тем же законам ассоциации, которым, по ее мнению, подчинена и память. Мышление как деятельность sui generis изучалось главным образом идеалистами, которые, отрывая мышление от памяти, тем самым делали свое изучение мышления бесплодным. Так мышление то почти отождествлялось с памятью, то резко отрывалось от нее. Экспериментальная психология, фактически стоящая на точке зрения ассоциационизма, со времени Эббингхауза свела изучение памяти главным образом к изучению запоминания бессмысленных слогов. Менее всего это могло пролить свет на действительную человеческую память. Максимум, что это могло дать, — некоторое знание образования вербальных привычек. Неудивительно, что когда перешли к изучению образования привычек, то получили приблизительно те же закономерности. В результате становилось все более и более популярным сближение памяти с привычкой. Тем самым память очень сильно отдалялась от мышления. Но как раз в то время, когда, казалось бы, память почти отождествилась с репродукцией и привычкой, появилась работа Жане, резко противопоставляющая память репродукции и привычке. Память приписывалась только человеку, да и то не в самые первые годы его жизни, и не реинтеграция, а рассказ и т. п. объявлялись типичными проявлениями памяти. Но если предыдущее направление чрезмерно расширяло память, считая ее чуть ли не свойством организованной или даже всякой материи, то не является ли память у Жане скорее мышлением, чем памятью?

Все эти контроверсы автор считает результатом недиалектического подхода к решению проблем. Он находит правильным считать различные виды памяти различными ступенями развития. Автор развивает генетическую теорию памяти. Согласно этой теории, моторная память (память-привычка), аффективная память,

образная память и вербальная память — четыре последовательных с точки зрения развития ступени памяти, «уровни» ее, из которых каждый имеет свои специфические законы, хотя имеются и общие законы. Правомерность своей теории автор обосновывает данными неврологии и генетической психологии как филогенетическими, так и онтогенетическими. Высказав и обосновав свою генетическую теорию памяти, автор переходит к проблеме «Память и чувство». На материале собранных им воспоминаний, относящихся как к недавним событиям, так и к давним, в том числе на материале первых воспоминаний детства, автором устанавливается, что в первую очередь забываются эмоционально индиферентные события, а дольше всего помнятся неприятные события вопреки тому, что обычно утверждают, основываясь на лабораторных экспериментах, где вообще не применяются ни очень сильные неприятные стимулы (очень сильная боль, сильный испуг и т. п.), ни измеряемое годами время сохранения в памяти. Автор устанавливает, что пережитое чувство с течением времени имеет тенденцию переходить в менее диференцированное чувство того же рода и возбуждается не только данным стимулом, но и сходным с ним. Так автор определяет аффективную память как повышенную, но менее диференцированную возбудимость аффективной нервной организации соответствующими стимулами вследствие предыдущего действия подобных стимулов. Разбирая дискуссию об аффективной памяти, он не только отстаивает существование аффективной памяти, но придает так называемому аффективному опыту огромное значение, считая, что на нем основывается наше аффективное отношение к явлениям до их действия на нас, наша осторожность, фобии, симпатии и антипатии «ante hoc», а также первичное — аффективное — узнавание (знакомое и чуждое).

Отсюда автор переходит к проблеме появления и течения зрительных образов. Если под воображением понимать вообще оперирование образами, то надо признать воображение явлением не высшего нервного уровня, судя по тому, что образы легче всего возникают не при вполне бодрствующем сознании. Легче всего возникают зрительные образы эмоционально сильных (притом неприятных), зрительно ярких, очень длительных и подвижных впечатлений. Произведенное автором экспериментальное изучение течения зрительных образов показало, что хотя первоначально имеют тенденцию возникать образы отрицательно-эмоционально-сильных впечатлений, но в своем течении образы развиваются не в неприятные (тогда они темнеют или прерываются), а наоборот. Течение образов есть сложный процесс трансформации образов, осложненный мультипликацией их и реинтеграцией. Так как репродуцированный образ лишь в очень исключительных случаях полностью персеверирует, а скорее, наоборот, трансформируется, сильно видоизменяясь, то этот процесс больше всего подходит под название непроизвольного фантазирования. Автор считает, что точная память филогенетически и онтогенетически раз-

вивается позднее фантазирования. Он оспаривает ассоцианизм и особенно учение об ассоциации по сходству, считая, что это учение затемняет происходящий в действительности процесс частичного и постепенного изменения образа. Ассоциацию образов по смежности он рассматривает как явление реинтеграции. Произведенные им опыты дают полное объяснение течению образов в гипнагогических состояниях.
Автор считает чрезмерно широким определение памяти как отношение к прошлому: ни привычка, ни аффективная память, ни персеверирующая репродукция образов, особенно ольфакторных, но также иногда и оптических, не говоря уже о фантазировании, под это определение не подходят. Это определение подходит лишь к некоторым категориям более развитой памяти. Приступая к изучению зрительно-образной памяти как таковой, автор путем различных экспериментов выясняет роль образов в припоминании. Оказывается, что образы играют наибольшую роль в припоминании сильно забытого. Здесь автор устанавливает по отношению к забыванию закон деградации памяти из высшего вида в низший: от сильно забытого репродуцируются только образы, а в случае еще большего забывания — только аффективное отношение, а от «выветрившихся» из аффективной памяти чувств остаются только некоторые уже неаффективные движения. Наиболее ярки образы экстраординарных, а не заурядных впечатлений. Образы последних очень смутны, общи, так сказать, смутно-контурны. Это — образы-схемы. Образы первых ярки и при известных условиях могут развиваться в образы-символы, оперирование которыми характерно для творческого воображения. До сих пор память и воображение фигурируют как непроизвольные функции. Только когда они соединяются с речью, делается возможным для человека постепенно начинать господствовать над ними. Вербальная память и вербальное воображение — высшие ступени развития памяти и воображения. Так автор переходит к проблеме «Память, воображение и речь».
Пользуясь обширным лингвистическим материалом, автор приходит к заключению, что речь развивалась из труда, и первоначально говорящий был скорее репродуцирующим действие или показывающим актером, а слушатель скорее видел подобную речь. Речь вначале была лишь придатком к подобному репродуцирующему действию, но постепенно она заменяла его, становясь как бы словесной репродукцией, словесным отражением. Анализируя примитивные рассказы по стилю, а также лингвистически, автор выявляет огромное значение репродукции и повторения в этих рассказах. Он приходит к заключению, что вначале вербальная память была репродукцией.
Но такой вербальная память была только вначале. Автор считает значение опытов Эббингхауза очень ограниченным и маложизненным (репродукция бессмысленных звуков). Менее всего подобные опыты могут дать законы репродукции представлений. Так как эти мнимые законы формулируются на основании опы-

тов с репродукцией бессмысленных звуков и т. п. и в терминах ассоциационизма, они не соответствуют действительности. Автор доказывает это, экспериментально выясняя сущность вербального запоминания. Сущность его — запечатлевание вербальных навыков, в легких случаях — однократное, в трудных — повторное. Автор критикует выводы Торндайка относительно значения повторения. Вербальная память — повышенная возбудимость запечатленных вербальных навыков. От нее надо отличать рассказ об имеющихся образах (образная память плюс рассказ по образам). Экспериментально показывается, в чем разница рассказа по репродуцированным образам от вербальной репродукции наглядно воспринятого. Вербальная репродукция наглядно воспринятого имеет тенденцию к сжатости, краткости, последовательности и сравнительной стойкости. Вербальная репродукция словесного материала, поскольку в ней не фигурирует вышеописанная деградация памяти, сводится к опусканию непривычного и репродукции привычного или теми или иными способами превращенного в привычное. Так как вербальная память благодаря языку существует для других и сильно питается из речевого общения, то развитие вербальной памяти, этой специфически человеческой памяти, социально обусловлено. Под действием социальных влияний вербальная репродукция все больше и больше стремится быть верной и краткой, т. е. репродуцировать существенное. Но память, репродуцирующая только существенное, уже соприкасается с мышлением. Глава о вербальной памяти заканчивается разбором взглядов тех авторов (Жане, Выгодский, Бартлетт), которые относят проблему памяти к социальной психологии. Соглашаясь в этом с ними, автор считает, что человеческая память имеет историю, определяемую общей историей человечества, и пытается установить основные этапы истории человеческой памяти.

Вербальная память как репродукция существенного теснейшим образом соприкасается с мышлением. Но проблема «Память и мышление» затемняется теми исследователями, которые отрывают мышление от речи. Автор считает, что возможна речь (автоматическая) без мышления, но менее возможно мышление (логическое) без речи. Генетические корни речи и мышления общи. Этот общий корень — труд: и речь и мышление развились из труда. Первоначальная речь была скорее действием. Первоначальные интеллектуальные операции были действиями и лишь постепенно действительное действие заменялось мысленным: действительное разбивание — мысленным анализом, действительное действие сложения — мысленным сложением.

Разбирая проблему «Мышление и речь», нельзя конечно обойти проблему внутренней речи. Автор считает неправильным искать начало ее в метаморфозе громкой речи говорящего. Более вероятно выводить начало внутренней речи из общения слушателей с говорящим. То обстоятельство, что внутренняя речь больше всего страдает при сенсорной, а не моторной афазии, и эксперимент, демонстрирующий невозможность во время внимательного

слушания говорящего внутренней речи иной кроме повторения, подтверждают это предположение. Отсюда вывод, что внешняя и внутренняя речь развивались одновременно, как одновременно развивались и речь и мышление в процессе социального общения, производственных отношений. Выросший на необитаемом острове Адам не говорил бы и не рассуждал бы.

Речь — та область, где память и мышление теснейшим образом соприкасаются настолько, что подчас трудно решить, что в речи принадлежит памяти, а что — мышлению: то и дело одно переходит в другое. Автор на основании лингвистического материала доказывает, что самые ранние слова имели чрезвычайно общее значение, и потому уже с самого начала слово было подходящим средством для мышления в понятиях. Но именно с образования понятий начинает свою деятельность мышление, и автор полемизирует с теми, кто считает первичной деятельностью мышления суждение. Он подчеркивает роль памяти в образовании общих понятий, предостерегая однако от переоценки этой роли. Память играет только некоторую роль в этом вместе с рядом других функций, притом скорее на ранних стадиях образования понятий, когда они еще логически несовершенны. Тем самым подчеркивается качественное своеобразие мышления. Точно так же, анализируя начатки рассуждающего мышления, умозаключения, автор на основании экспериментального исследования развития умозаключений у детей выясняет роль памяти в образовании суждений по аналогии, а также в развитии предположений — проблематических суждений и гипотез, становящихся возможными лишь на известном уровне развития памяти. Но он же указывает, как мышление посредством действия или эксперимента идет дальше памяти, тем самым снова подчеркивая качественное своеобразие мышления даже на этих самых ранних этапах рассуждения и теснейшую связь мышления с действием. Мышление — высшая, притом новая стадия развития интеллекта, опирающаяся на память, но в то же время качественно отличная от нее.

Предостерегая от полного отождествления внутренней речи и мышления, автор на основании данных самонаблюдения устанавливает, с одной стороны, место во внутренней речи воображения и памяти, а с другой — что во внутренней речи мышление нередко существует в неразвитом виде. Только в тех случаях, когда внутренняя речь и «мышление про себя» являются подготовкой к социальной речи и к деятельности в обществе, например участию в общественно-производительном труде, они начинают интенсивней развиваться. Но в своем вполне развитом виде как логически рассуждающее и доказывающее мышление выступает в социальной речи — устной и особенно в письменной.

Достигшее известной ступени развития мышление начинает в свою очередь воздействовать на память. Основываясь на экспериментальных данных и полемизируя с некоторыми теориями, относящимися к проблемам забывания и логической памяти,

автор показывает, как на высшей стадии развития памяти, при достаточно развитом мышлении, происходит запоминание и припоминание при помощи понятий (так называемая логическая память) и как таким образом запоминаемый материал становится мыслями запоминающего субъекта.

В заключение с точки зрения развиваемых в «книге положений дается объяснение некоторым психопатологическим явлениям. Именно показывается, как по мере деградации интеллекта начинает выступать порою взамен мышления или даже вопреки ему память, начиная с высших форм ее и кончая воображением, эффективной гипермнезией и привычными автоматическими движениями, при одновременном ослаблении высших форм памяти. С этой точки зрения разбираются некоторые явления навязчивых или переоцененных идей, бреда, фобий, галлюцинаций, автоматизма и т. д.

Развиваемая автором генетическая теория памяти позволяет без особого труда связать ее с популярным в неврологии учением о генетически различных нервных уровнях, начиная с подкоркового и идя дальше к большим полушариям — их ольфакторным, оптическим и речевым уровням.

SUMMARY

More than one hundred years ago Hegel wrote: «In the study of the mind and in the systemization of the intellect, the place and significance of memory and the understanding of how it is organically bound up with thinking, presents one of the most difficult problems. Till now little attention has been given to it». These words are still true today. The problem of «Memory and Thinking» remains one of the most baffling of psychological problems with little attention paid to it. But this is not accidental. Empirical psychology, under the influence of empirical philosophy, neglected the study of thinking, did not recognize its singular and original position and narrowed it down to the same laws of association, to which, they considered, memory was subordinated. For the most part it was the idealists who studied the problem of thinking as an activity sui generis. They separated thinking from memory and their work brought no results. Thus thinking was practically identified with memory or else sharply broken away from it. Experimental psychology (which, in fact, followed the point of view of associationists), from the time of Ebbinghaus narrowed the problem, for the most part, to the study of remembering nonsense syllables. This threw little light upon the activity of human memory. The most that it could do would be to contribute some knowledge in regard to the formation of verbal habits. It is not surprising, therefore, that when the question of studying the formation of habit was returned to, the very same results were found. Thus, more and more, memory and habit were generally conceived as closely related. In this way memory very definitely estranged itself from the problem of thinkind. But just at the time when it seemed as if memory was identified with mere reproduction and habit formation, there appeared the work of Janet, who sharply opposed this point of view. He held that memory was true only for man. But if the former line of thought excessively widened the conception of memory and considered it almost a property of organized organic material, then does it not seem that in Janet memory is more nearly thinking than memory?

The author considers all the controversies the result of a nondialectical approach to the problem. That’s why the author considers the various aspects of memory as different steps in its development. He then suggests a genetical conception of memory, including motor memory (formation of habits), affective, eidetic

and verbal memory — four consecutive steps. From the point of view of development they are phases of «levels of memory», each of which has its own laws and principles, although there are general laws that hold good for all four of the levels. To proove this theory, both for phylogony and ontogony, the author presents facts from genetical psychology and neurology. Having formulated and explained this genetical theory of memory, the author approaches the problem of «Memory and Feeling». The author holds, that in the recall of new or old material (including the first impressions of childhood) emotionally indifferent events are first forgotten; that unpleasant events are most easily remembered. This is contary to the view generally held, based upon laboratory experiments where very strong and disagreable stimuli are not given (severe pain, fear etc.) and where the period during which stimuli are remembered is generally nor very long. Evoked feelings, the author goes on to say, after a period of time, tend to pass over into similar but less differentiated feelings and are provoked not only by the same, but also by related stimuli. Affective memory should be regarded as a heightned state of affective excibility through corresponding stimuli as the action of some preceding similar stimuli. The author not only defends the point of view that affective memory exists, but also attaches significant meaning to so-called affective experience which he regards as the basis of our affective reaction to phenomena «ante hoc»: the base of our cautiousness, phobias, likes and dislikes, «ante hoc». Affective recognition (familiar and unfamiliar), the author holds, is similarly based upon affective experience.

From here the author goes on to the problem of the appearance and course of visual images. If by imagination is meant images and if we consider that images appear most readily when our conscience is not quite awake, then it must be admitted that imagination is a phenomenon of a more low level of the nervous system. Visual images of emotionally strong and disagreable, bright, very long and mobile impressions appear very readily. An experimental study of the course of visual images, that the author undertook, showed that images of emotionally strong and disagreable impressions tend to appear first, and that in their course these images developed into more agreable ones (otherwise they darken break up). The course of images presents a complex process of transformation of images, made still more complicated by multiplication and reintegration.

Just as the reproduced image, as a whole, perseverates in exceptional cases only, and just as it is subject to transformation and variation, just so can this process be best called one of involuntary imagination (fancy). The author holds that, from the phylogenetic and ontogenetic points of view, memory develops later than imagination. He disagrees with the associationists and especially with the theory of the association of like images, holding that

this obscures the process of partial modification of the image, which takes place in reality. He maintains that the association of contiguous images is a phenomenon of reintegration. The author's own experiments helped to explain the course of images in hypnogogic states.

The autor maintains that the conception of memory as a mere relation to the past, is narrow one. Habit, affective memory, perseverative reproduction of images, especially that of olfactory images (and of optical images as well) — to say nothing of fancy — cannot be explained by such a conception of memory.

By means of experiments in visual imagery the author explains the role of images in recall. As was previously stated, images play a most important role in the recall of forgotten material.

For «forgetting» the author suggests a law of the gradation of memory from a higher to a lower level. Material forgotten early in life reproduces itself in the form of images; something more forgotten reproduces itself as mere affective reaction. Feelings that have dropped out of our affective memory leave only certain non-affective reactions. Outstanding impressions have the strongest images; the ordinary images are very vague, general, schematic and have no definite outlines. The images of very strong impressions are bright and can, under certain conditions, become symbols, the use of which is characteristic of creative imagination.

Till now, memory and imagination were regarded as involuntary functions. Only when they were linked up with speech was man able to control them. Verbal memory and verbal imagination are the highst steps in the development of memory and imagination. The author goes on to a problem of «Memory, Imagination and Speech».

Making use of linguistic material the author concludes that speech in all probability developed from work, action. Originally, speaking man was more a man who reproduced of action, he was more an actor and those who listened to him were more like spectators than auditors. Speech was subsequently added to these actions and gradually action became substituted by words, which reproduced action.

By analyzing primitive stories for their style and language the author shows the great value of reproduction and repetition in such stories, and comes to the conclusion that verbal memory originally existed in the form of reproduction.

The author considers that the work of Ebbinghaus with nonsense syllables has been over emphasized; he considers these experiments very limited in their scope and of no real significance in actual life. Experiments of this sort, he feels, are least of all able to establish laws of reproduction of ideas. The author proves this by means of an experimental analysis of the nature of the recall of verbal memory. The latter consists in imprinting verbal habits. In simple cases this can occur from the very beginning. In more comlicated cases it follows after some repeti-

tion. The author criticizes Thorndike's conclusions relative to the importance of repetition. Verbal memory should be regarded as a heightened state of excitability of imprinted verbal habits. This kind of memory should be distinguished from verbal reports of images (memory for images+verbal report of the images). The difference between a verbal report of reproduced images and a mere verbal reproduction of material directly perceived, is shown experimentally. Verbal reproduction of material directly perceived tends to become concise, short, successive and relatively stable. A verbal reproduction of material — if the degradation of memory that was discussed above does not figure in it, — takes the form of reproduction which omits unusual material and which reproduces only the usual or that material which was transformed to a usual form by some means or other. Since verbal memory, thanks to speech, exists for other people, and is maintained through verbal intercourse, human memory is therefore socially conditioned. Because of the social influences, verbal reproduction tends to be short and precise; that is to reproduce only essential material, and memory therefore comes into close contact with thinking. The chapter on «Verbal Memory» closes with an analysis of the various conceptions offered by Janet, Vygotsky and Bartlett who include the problem of memory in the realm of social psychology. The author agrees with such a conception but is of the opinion that human memory has a history all its own, and in a general way is determined by the history of mankind.

Verbal memory in reproducing essential material is thus closely allied to thinking. However, the problem of «Memory and Thinking» is obscured by those investigators who cut off thinking from speech. The author believes that speech without thinking is possible, while thinking is impossible without speech. They both have a common genetic root, namely, action or activity. Both speech and thinking developed from work, as was mentioned above. Speech was more like action in its early stages. Intellectual activity originally consisted chiefly of just such actions and it was only gradually and after some time that thinking in the form of «thought-action» came into prominence.

In analyzing the problem of «Thinking and Speech» the question of inner speech cannot be avoided. The author is of the opinion that it is incorrect to think of inner speech as a kind of deriviation from overt speech of man. There is more probability in the assumption, he feels, that inner speech is the result of the social intercourse between hearers and speaker. This supposition is confirmed both by the fact that inner speech is more affected by sensory aphasia than by motor aphasia, as well as the fact, shown through experiment, that there is no other inner language aside from that of repetition during attentive listening. Thus, it may be concluded, that inner speech developed in much

the same way with respect to overt speech as thinking and speech developed; both were processes which resulted from social intercourse. If Adam had developed on an un inhabited island he would not have spoken, nor would he have reasoned.

Memory and thinking become very closely allied in speech and often it cannot be known, what phase of the speech belongs to memory and what to thinking. Based upon a good deal of linguistic material the author attemps to show that man's very first words had a very general meaning, and that for this reason the word became from the very beginning the appropriate means for thinking through concepts. As soon as concepts were formed, thinking began. The author disagrees with those who consider that judgement is the first in the process of thinking. He emphasizes the rôle of memory in the formation of general concepts, but feels that this rôle of memory should not be overemphasized. Memory plays only a very definite rôle in the entire process, and on a level similar to many other functions and it appears, preeminently during the early period of the formation of concepts, at the time when the latter are logically imperfect. The author also examines the rôle of memory in the formation of concepts that are based on an analogy. Based largely upon experimental work in children's reasoning, the author analyses the initial steps in the process of reasoning and of the conclusions that are derived from the reasoning. He also made a study of the role of memory in simple conjecture, in judgement, and in the reasoning out of a hypothesis, phases of thinking, that come only after a certain development of memory. He then points out that by means of «activitys» thinking can go much further than memory, thus again emphasizing the qualitative significance of thinking, even at these very first steps in the process of judgement; he also emphasizes the close relationship that exists between such activities and thinking. Following memory and based upon it (but at the same time qualitatively different from it), thinking attains a new and much higher level in the development of intelligence.

Cautioning against the identification of inner speech with thinking, the author, by means of self observation, notes the place occupied in inner speech by imagination and memory; he also notes the fact that thinking often exists but in an undeveloped form, in inner speech. In only those instances where inner speech and «Inner Thinking» are preparatory activities to social speech and to social activity (i. e. participation in social productive work) do they begin to develop intensively. But it is in oral and especially in written speech, socially activated, that thinking appears in its final form, — in the form of logical judgement and proof.

Having reached a certain degree of development, thinking begins, in its turn, to act upon memory. Based upon experimen-

tal data, the author suggests new aspects of the problem of forgetting and logical memory, aspects which run counter to certain generally held theories. He shows how at the highest degree in the development of memory, when thinking has sufficiently developed, man forms recollections on the basis of concepts. The author thus indicates how recalled material are thus transferred into thoughts.

In conclusion, explanations are offered for certain psychopathological phenomena, from the point of view of the thess defended in this book. The author attempts to show how in cases of degradation of the intellect memory begins to assume a forward position, sometimes taking the place of thinking and often definitely reacting against the normal process of reasoning. Memory in such cases first appears in its higher forms and finally ends in imagination, affective hypermnesia, and habitual automatic movements; then follows a marked weakness of the higher processes of memory. From this point of view certain phenomena such as obtrusive and overrated ideas, delirium, phobia, hallucination, and automatism, are discussed.

The genetic theory of memory that the author develops in this book, ties up well with the popular theory of the genetically different nervous levels, that begin in the subcortical area and that pass into the hemispheres, — at the olfactory, optic and speech levels.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В переводе цитат придерживаюсь текста издания Ross: Aristotle, De sensu and de memoria, 1906. Определение памяти, 451a, 16—19. Следующая цитата 450a 14. Сравнение с картиной 450b 24—451a 3.
2. 449b, 16; 449b 31. Ср. Ross, стр. 247—248.
3. 451b 19—25; 452a 29.
4. 453a 11—16.
5. 453a 16; 453b 8; 449b 8—9; 450b 1—11.
6. Ленин, Конспект лекций Гегеля по истории философии (цит. по Ленину, «Философские тетради», 1934, стр. 292).
7. Ср. там же, стр. 293—295.
8. Plac. IV. Anal. post. II, 19, 99b 35 след. Ср. Metaph. II. 980b 25: «Другие живут воображениями и памятями, причем обладают немного опытом, а человеческий род — и техникой и рассуждениями: из памяти у людей возникает опыт».
9. Plotini Eneades, изд. H. Müller, 1880, t. II, p. 99—103.
10. Ленин, К вопросу о диалектике: «Диалектика, как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближение к действительности (с философской системой, растущей в целое из каждого оттенка) — вот неизмеримо богатое содержание по сравнению с «метафизическим» материализмом, основная беда коего есть неумение применить диалектику к Bildtheorie, к процессу и развитию познания» («Философские тетради», стр. 328).
О том, что «подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт» — см. Ленин, Конспект книги Аристотеля «Метафизика» (там же, стр. 336).
11. Ленин, К вопросу о диалектике: «Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное überschwengliches (Ditzgen) развитие (раздувание, разбухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный. Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть («вернее» и «кроме того») дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека» («Философские тетради», стр. 328).
12. Цит. по Ческису, Томас Гоббс, 1924, стр. 82, 87, 86.
13. Лок, Опыт о человеческом разуме, пер. Савина, 1898, стр. 125.
14. Там же, стр. 124
15. Monadologie, 26, 28.
16. Ческис, Томас Гоббс, стр. 88.
17. Hobbes, Leviathan, ed. Molesworth, 1839, p. 71. «Human nature», то же издание, 1840, стр. 27.
18. Ср. Гегель, Введение в философию, пер. Васильева, 1927, §§ 129—163; «Энциклопедия», §§ 440—464.
19. Бэн, Психология, пер. Белкина, т. I, 1902, стр. 241—245.
20. James, The Principles of Psychology, 1901, I, p. 598.
21. Leidesdorf, Lehrbuch der psychischen Krankheiten, 1865, S. 53.
22. Ebbinghaus, Grundzüge der Psychologie, 1905, I, § 60.
23. Там же, стр. 634.
24. Уотсон, Психология как наука о поведении, 1926, стр. 277.

25. Semon, Die mnemischen Empfindungen, 1909, 370—372.
26. Janet, L'Evolution de la mémoire et de la notion du temps, 1928, p. 205, 219, 221, 223, 224, 225.
27. Бехтерев и Щелованов, к обоснованию генетической рефлексологии (сб. «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы»), 1925, стр. 125—126.
28. Erhard, Rätzelhafte Sinnesempfindungen bei Tieren, «Natur u. Technik», 1924, B. 5.
29. Hemphelmann, Tierpsychologie, 1926, S. 165.
30. Там же, стр. 77.
31. Энгельс, Естествознание в мире духов (Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 465).
32. Keller, Bekanntheits und Fremdheitseindruck («Zschr. f. Psychologie» 1924, S. 96).
33. Ср. мою работу: «Das Problem der ersten Kindheitserrinnerung» («Arch. f. d. gesamte Psychologie», 1929, B. 71).
34. Фрейд, Психопатология повседневной жизни, пер. Медема, 1925, стр. 44.
35. Ebbinghaus, S. 666.
36. Mc Geoch, «Psychol. Bull.», 1934, p. 393.
37. Cason, The Learning and Retention of Pleasant and Unpleasant Activities («Arch. of Psychol.», 1932, p. 96). Ср. его же работы в «Psychol. Rev.», 1932, 39, 440—466 и в «J. Exper. Psychol.», 1933, 16, 455—461 (там же статья Юнга).
38. Привожу формулировку, данную в «Animal Intelligence», 1911.
39. Rexford, Outline of the Conditions under which Learning occurs. («Psychol. Rev.», 1932, 39, p. 174—183).
40. Thorndike, The Fundamentals of Learning, 1932.
41. Kuo, The Nature of Unsuccessful Acts and their Order of Elimination. («J. Comp. Psychol.», 1922, 2, p. 1—27).
42. Schlolle, über die Bevorzugung unvollendeter Handlungen («Zschr. f. Psychol.», 1930, 117, S. 1—72).
43. Дарвин, О выражении эмоций у человека и животных, гл. XII.
44. «Journal f. Psychol. and Neurol.», 1920, 23.
45. Блонский, Психологические очерки, 1927, стр. 21, 29—30.
46. Т. XIV, стр. 392.
47. Ribot, Problèmes de Psychologie affective, 1910, и «Аффективная память». Ср. «Психология чувств», т. I, гл. XI. См. также Dugas, La memoire des sentiments («Journ. de Psychologie», 1930), 237—257. В работе Дюга очень важно подчеркивание непроизвольного характера памяти чувств и приведение примеров сильного влияния на нее запахов (и вкусов). Для характеристики современной дискуссии см. Signoret, Sur la mémoire affective (тот же журнал, 1935, стр. 251 и след.)
48. Блуменау, Мозг человека, 1925, стр. 319.
49. Henning, Der Geruch, 1924, S. 290 (ср. 1 стр. и 18 passim).
50. Dumas, Troubles Mentaux et Troubles Nerveux de Guerre, 1919, p. 49 и след.
51. Henning, Der Geruch, 1924, S. 291—292.
52. Philippe, L'image mentale, 1903, p. 13.
53. Харциев, Элементарные формы поэзии (сб. «Вопросы теории и психологии творчества», 1907, стр. 183).
54. Там же, стр. 196.
55. Там же, стр. 178.
56. Scnilder, Medizinische Psychologie, 1924, S. 150.
57. Гегель. Введение в философию, пер. Васильева, 1927, стр. 178.
58. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Соч., т. VIII, стр. 45, 56, 33, 73,
59. Ленин, Конспект книги Гегеля «Наука логики», «Философские тетради», 1934, стр. 187, 105, 176.
60. Идея, что развитие памяти идет от стихийного функционирования ее как природной, естественной силы, к господству над ней, принадлежит Выготскому (Выготский и Лурия, Этюды по истории поведения, 1930, стр. 79 и след.). Мне этот процесс представляется проходящим ряд стадий. Воспоминание, т. е. произвольное репродуцирование — начальная стадия господства человека над памятью.

61. Со времен Гербарта и Вундта психология подчеркивает роль «апперцепции» в восприятии. При этом, как я показываю в другой работе («Развитие мышления у детей школьного возраста»), с возрастом роль апперцепции увеличивается. Но основную массу в апперцепции составляют репродукции, причем субъектом они обычно не осознаются как таковые и смешиваются им с перцепциями. Чем больше знаний, тем больше репродукций при восприятии, тем возрастает роль «апперцепции».
62. Philippe, op. cit, p. 61.
63. Там же, стр. 67, 68, 71.
64. Ленин, Философские тетради, 1934, стр. 336.
05. Philippe, op. cit.
66. Гегель, Энциклопедия, § 462.
67. Приводимые примеры заимствованы из статьи «Образ» в «Литературной энциклопедии», т. VIII.
68. Гегель, Введение в философию, § 158.
69. При разборе руководился анализом текста, данным Мичельсоном в книге Boas, Handbook of American Indian Languages, v. I, 1911, p. 869.
70. Boas, op. cit., p. 810.
71. При анализе руководился словарем основ у Westermann, Die westlichen Sudansprachen, 1927.
Различие тонов я учитывал лишь до известной степени, так как тон в свою очередь зависит от значения и не есть нечто постоянное, в чем можно убедиться из этого же словаря.
72. Положение о чрезвычайно общем значении первоначальных слов энергично обосновывалось Марром. Ср. Марр, По этапам развития яфетической теории, 1926 (знаменитая статья «О происхождении языка»).
73. Ср. Марр, цит. соч., стр. 321 и след.
74. Энгельс, Роль труда в процессе очеловечения обезьяны, Соч., т. XIV, стр. 454—455.
75. Meinhof, Die Sprache der Duala in Kamerun, 1912, S. 76.
76. Там же, стр. 74.
77. Boas, op. cit., p. 206.
78. Dirr, Theoretisch-praktische Grammatik der ammanitischen Sprache, S. 93.
79. Marré, Die Sprache der Hausa, S. 72.
80. Приведенные рассказы я взял в переводе Хаиме де Ангуло (калифорнийский), Фробениуса (негритянский) и Свантона (тлинкитский).
81. Ср. Royen, Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde, 1929, S. 798—805.
82. Vendryes, Le Langage, 1921, стр. 162 и след.
83. Ср. например Müller, Abriss der Psychologie, 1924, S. 18.
84. Там же, стр. 18 и 21.
85. Ср. Rosanoff, A study of association in children, «Psychol. Rev», 1913, 20; «A study of association in insanity», «Amer. J. Ins. an.», 1910, 67.
86. Ebbinghaus, Grundzüge der Psychologie, 1905, B. I, S. 653.
87. Pauli, Zur Methodik der Gedächtnispsychologie («Arch. f. d. ges. Pyschol.», 1932, B. 85, S. 70).
88. Ebbinghaus, op. cit.
89. Thorndike, The Fundamentals of Learning, 1932.
90. «Psychol. Rev.», 1932, 39, p. 174—183.
91. Гегель, Энциклопедия, § 410, прибавл.
92. Bartlett, Remembering, 1932, p. 61.
93. Это же утверждает и Bartlett в своей недавней статье в «Scientia», 1935.
94. Bartlett, op. cit., 61.
95. Там же, стр. 93.
96. Там же, стр. 94.
97. В последнем смысле «рационализация» очень популярна у фрейдистов.
98. Маркс и Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 20.
99. Bartlett, op. cit., гл. VII—VIII.
100. Об этом подробнее в моей работе «Развитие мышления у детей школьного возраста» (печатается).
101. Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 434 и 20.

102. Ленин, Конспект книги Гегеля «Наука логики», «Философские тетради», стр. 202.
103. Jessen, Physiologie des Denkens, 1872.
104. Ленин, цит. соч., стр. 188.
105. Выготский, Речь и мышление, 1934, гл. IV.
106. «Zschr. f. d. gesamte Neurologie u. Psychiatrie», 1924, B. 92.
107. Например см. Cuyer, La mimique, 1902.
108. «Диалектика природы», Соч., т. XIV, стр. 430.
109. Pick, Uber das Sprachverständnis, 1909.
110. На ранней стадии развития сознания, где еще отсутствует развитое отношение, говорящий и слушающий думают одно и то же, даже приблизительно одинаково относясь к нему. Поэтому на этой стадии слушать значит соглашаться, «слушать» значит «слушаться». Таково поведение малюток, гипнотизируемых и т. п. Но с развитием сознания у слушателя может быть отношение иным: говорящий и слушающий думают одно и то же, но по-различному относясь к нему. Мои эксперименты показали такие ранние формы опровержения: 1) повторение плюс отрицание («гулять нет»), 2) повторение с вопросом или вопросительным тоном («А почему «нельзя гулять»?), 3) повторение недовольным, насмешливым и т. п. тоном.
111. Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 20—21.
112. Гегель, Философская пропедевтика, § 159.
113. «О действии условных раздражителей сравнительно с безусловными», см. в «Handbook of General Experimental Psychology», ed. Murchson, 1934, статью Hull, стр. 424 и след.
114. Энгельс, Роль труда в процессе очеловечения обезьяны, Соч., т. XIV, стр. 455.
115. Burnham, The Normal Mind, 1925, p. 195.
116. Trombeti, Elementi di Glottologia, 1923, p. 213.
117. Ленин, цит. соч., стр. 128.
118. Пиаже, Речь и мышление ребенка, 1932, стр. 343.
119. Энгельс, Диалектика природы, Соч., т. XIV, стр. 599.
120. Там же, стр. 49.
121. Гегель, Энциклопедия философских наук, ч. 1, Логика, пер. Столпнера.
122. Ленин, Философские тетради, стр. 221, 166, 285.
123. Dugas, La mémoire et l'oubli, 1917.
124. «Journal de Psychologie», 1910—1912.
125. Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 377. Ленин, Философские тетради, стр. 290.
126. Dupré, Pathologie de l'imagination et de l'émotivité, 1925, p. 90 etc.
127. Dromard, Le délire de l'interprétation («Journal de Psychologie», 1911).

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор В. Домрачев Техредактор Р. Шапиро
Сдано в производство 30/VI 1935 г. Подписано к печати 27/IX 1935 г.
ОГИЗ № 1511. Формат 62-94/16 $13^{1}/_{2}$ п. л. 45472 зн. в п. л.
Тираж 10.000 экз. Цена книги 3 р. 50 к., переплет 50 к. Уполномоченный Главлита Б-12789.
18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Варгунихина гора 8. Заказ № 909.